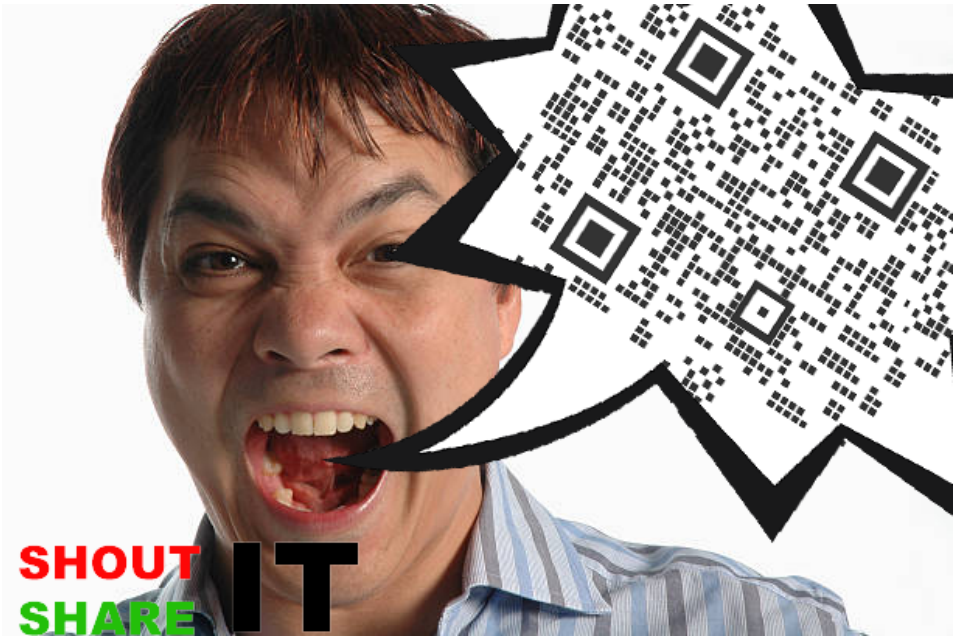
Людмила
БОЯДЖИЕВА

КУМИРЫ

Истории Великой Любви

Анна Ахматова

Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Дикая девочка» — так называли Ахматову в детстве. «Потомок ордынского хана» — так называла она сама себя. Много мужчин, много увлечений, всегда поклонники. Проанализировав многочисленные воспоминания современников и сопоставив факты, Анна Ахматова предстает капризной, холодной и эгоистичной. Если в гармоничной, глубокой ее поэзии сверкают россыпи драгоценной уникальности, то в Анне Андреевне как человеке, увы, главенствуют банальные черты далеко не самой умной, умелой, великодушной и нравственной женщины. Сумела ли поменяться вслед за своей великой поэзией и Анна Всея Руси, оценил ли в конце концов ее сын запоздалую жертвенность невнимательной матери? Кого из своих мужей она действительна любила, а кто был лишь фоном ее необычности. Какие отношения были у Анны Андреевны с Гумилевым и Модильяни? Обо всем этом в новой книге Людмилы Бояджиевой, которая очень неоднозначно подошла к образу великой поэтессы.

- Людмила Бояджиева
  - Пролог
  - Часть первая
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
  - Часть вторая
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8

- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11

- Часть третья
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
- Часть четвертая
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
- Часть пятая
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
- Часть шестая
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
- Часть седьмая
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
- Эпилог

Людмила Бояджиева
Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»

Забудут? — вот чем удивили!
Меня забывали не раз.
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла, и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

Анна Ахматова

Пролог

Судьба Поэта всегда трагична. Особую, мистическую материю, называемую стихосложением, питает кровь вскрытых жил. И еще нечто, весьма приблизительно определяемое как вдохновение, поцелуй Музы, дар.

Голос подлинного поэта — всегда крик. Даже в шепоте, даже в утешении, даже когда звук утихает — это не затишье покоя, а предсмертные муки, жить с которыми нет мочи. Одуванчики, крапива и прочая лебеда, составляющие строительный материал поэта, не менее значительны, чем похоронные венки усопшего генералиссимуса или ворох осенней листвы над бездыханным телом бездомного бродяги. Они — величавые или жалкие — всего лишь сырье в руках плакальщика всемирной скорби, своей собственной скорби, для которой Я — вся Вселенная.

В творениях поэта мы ищем драматизм, роковые изгибы сюжета, битвы страстей, в корчах добытые избавления от страданий. Поэт и его голос для нас едины. В судьбе поэта, как ни в какой иной, мы ищем почерк высших сил, тяжкую десницу рока. Она, под стать его дару, непременно выписана крупными мазками, замешана на опасных и дерзких чувствах, озарена светом нежнейшей лирики, редкого, изысканного романтизма. Приправа тайны, острота избранности создают завязку интриги под названием «жизнь замечательного человека». Мощь «голоса» убивает банальность, заставляет забыть о бытийном соре, из которого он вырвался.

Но чем пристальней вглядываешься в личность великую и уникальную, тем больше возникает вопросов: откуда взялась энергетика и особая стать поэта, загадка его творческой сути, всего того, что поднимает «певца» над бытием толпы «безголосого» люда? Каким был наш герой? Как поступал в горе и в радости? Смел или труслив, лжив или честен? Кто вел его по жизни, кто вдохновлял — Бог или дьявол?

В конце концов — похож ли он на нас, из того ли теста слеплен или таинственно инороден?

И вечной загадкой остается вопрос: идентична ли личность творца производимому им «продукту»? Совпадает ли человеческая суть с сутью поэтической? История искусства дает самые разные ответы: велик как творец, но мелок как личность. А бывает и так: огромная личность, наделенная слабым, а то и фальшивым голосом.

Анна Ахматова — величина в литературе незыблемая.

Восстановление ее образа путем слияния в единое целое личностного начала и порожденных ею «песен» чревато натяжками. Фальшь подретушированной «ахматианы» отстраняет живую личность — не дотягивающую до уровня рожденных ею «песен». «Эффект Сирано Де Бержерака» (когда рот открывает один, а слова за него произносит другой, прячущийся в кулисах) постоянно присутствует при попытке соединить личность живой Ахматовой — женщины, человека, с ее поэтическим образом, поднятым на котурны.

Воспоминания восторженных поклонников представляют нам фигуру безукоризненно монументальную в суровых борениях с величайшими трудностями. Но вот беда — не выпала великой Ахматовой судьба шекспировского размаха. Вместо архитектоники мощных сюжетов — общечеловеческие горести, тонущие в соре бытового хлама, навязанного и историческими обстоятельствами, и особенностями ее личности — капризной, холодной, эгоистичной. Если в гармоничной, глубокой ее поэзии сверкают россыпи драгоценной уникальности, то в Анне Андреевне как человеке, увы, главенствуют банальные черты далеко не самой умной, умелой, великодушной и нравственной из женщин.

«Позвольте, — скажут многие, — поэт первой величины, личность грандиозной мощи! А уж трагизма горькой судьбине Ахматовой не занимать». Но тут сплошные оговорки, выступающие при более пристальном рассмотрении и не дающие сюжету подняться на уровень истинной трагедии — она лишь звучит в стихах…

Муж расстрелян — но Анна Андреевна в это время не вдова Гумилева, а жена другого. Да и потеря близких в годы кровавого террора — удел миллионов. И оценила Ахматова Гумилева постфактум — в свете мученической кончины. Второй муж в тюрьме — так ведь третий куда милее. А кроме этих — вращающихся вкруг «царицы слова» спутников, «помогателей» — еще и юные рыцари в поэтических доспехах, до последнего смертного дня несущие вахту. Единственный сын, воспитанный бабушкой, попадает в опалу в кровавые тридцатые. Грудью встает Анна Андреевна на защиту Левушки, бьется у порога тюрем семнадцать месяцев, а он так и не сумеет полюбить мать-мученицу, оценить ее подвиг.

Да, Ахматова была с народом в тяжкие годы войны. Но из блокадного Ленинграда ее в первые же дни обстрела вывезли в тыл, в жаркий Ташкент, где она существовала относительно благополучно в окружении свиты преданных доброжелательниц, как и полагается народной героине. Чуть не всю жизнь

бедствовала, скиталась по чужим углам, скудно жила, в гонениях и страхе неволи — как весь народ, к несчастью, жил. Только немного лучше, потому что умела быть нужной — влюбленным в нее мужчинам, поклонникам таланта. А сколько раз предавалась властями анафеме? Сколько раз, ломая себя, «в ногах валялась у кровавой куклы-палача»? И опять не одна — со всеми, да и не за себя билась — за сына.

И вот происходит удивительное: чем больше страданий выпадает на долю Анны Андреевны, чем туже затягивается петля вокруг певучего горла — тем пронзительней голос, мудрее «песни». А вместе с «песнями» вырастает и она сама. Созданный литературный образ, постепенно формируя личность, дотянул ее почти до уровня сочиненного поэтического фантома. В последней трети жизни Анны Андреевны слияние почти завершилось — монумент Анны всея Руси был отлит (опустим издержки возраста и гипертрофированной амбициозности).

Ахматовой было отпущено много лет жизни — больше, чем кому-либо из поэтов Серебряного века. Если другие уходили, не успев договорить, внести коррективы в личный портрет, зачастую на первый взгляд неприглядный, подправить «шероховатости», как казалось, в собственных торопливых шедеврах, то Ахматовой было дано время, чтобы повзрослеть, постареть, помудреть, многое переосмыслить, переписать, перепосвятить, выстроить сюжет собственной судьбы сообразно приличествующему великому поэту образу. Она постаралась запечатлеть себя в вечности с соответствующей своему представлению о классике монументальностью.

Но как спрятать целую жизнь от любопытствующих глаз, ищущих истоки уникальности? Как подменить безупречной бронзой буйное произрастание живой плоти? Да и надо ли?

Часть первая

…Что никого не сделала счастливым,
Но незабвенною для всех была.

Анна Ахматова

Глава 1
«Любовь покоряет обманно». А.А.

Ахматову не забыли. Без малого столетие ее стихи не сходят с уст. Если говорить о поэтах Серебряного века, то земная жизнь Анны Андреевны оказалась самой долгой, а земная слава ее — едва ли не самой стойкой и неоспоримой. Помимо ряда мощных стихов гражданственного звучания из ее обширного наследия и сегодня помнят, знают, любят именно то, что сделало Ахматову «великим певцом великой любви». Венец «Музы плача», которым увенчают Ахматову в годы народных бедствий, тяжек и значителен своей музейной нетленностью. Но живет, покоряя и вдохновляя миллионы, неслабеющий голос ее пронзительной «Музы любви».

Стихами чаще всего говорят люди, испытывающие потребность выразить полноту чувств, непередаваемую прозой, тонкость не поддающейся формализации мысли. А потому поэзия — стихия влюбленных, вступающих по воле неведомых сил на иную, более высокую ступень мировосприятия. Десятки, сотни стихов Ахматовой по существу — бесконечные вариации поэтического осмысления сменяющих друг друга влюбленностей, разочарований, обид, разрывов и новых увлечений. Тем более странно, что Анна Андреевна — мастер тонко улавливать настроения высшей сложности, шестым чувством ощущавшая уникальный строй отношений мужчины и женщины, — не умела любить. Речь идет не об увлечениях или влюбленностях, а о вселенском безумии Великой любви, доступном, как и любой другой дар, избранным.

«За всю свою жизнь *любила* только один раз. Только *один* раз. Но как это было!» — Темные веки опускаются, вздымается грудь, встревоженная воспоминаниями давней тахикардии страсти.

Признание сделано. Любила-таки, хоть и раз. Но кого? Когда? На эти вопросы величественная седовласая дама отвечать отказывалась. Напротив, сделала все возможное, чтобы запутать следы, ведущие к свято хранимой тайне. Но про единственную любовь периодически упоминала. Закинув голову на подушку, прижав ко лбу ладони, с мукой в голосе признавалась: «И путешествия, и литература, и война, и подъем, и слава — всё, решительно всё — только не любовь… как проклятье!.. И потом эта одна-единственная — как огнем сожгла всё, и опять ничего, ничего…» На этом месте откровения неизменно обрываются. Ни слова лишнего даже своему другу и биографу Лукинскому про ту

единственную, что спалила дотла, оставив в душе пустошь пепелища. Да была ли она? Не морочит ли ненавистным биографам голову «главная чаровница Петербурга», «Северная муза», одна из самых изысканных мастеров любовной лирики Серебряного века? Была ли у Ахматовой, окутанной сонмом увлечений (вымышленных или реальных), единственная, все заслонившая, ценою в жизнь, любовь?

Если присмотреться внимательно к чреде романов Анны Андреевны, то столь пожароопасного чувства, о котором упорно упоминает она, не отыщешь. Что-то и в самом деле горело, дымило, полыхало поэтическим дурманом, но выжечь душу дотла… Вряд ли кто-то из избранных спутников поэтессы может этим похвастаться. Были увлечения, много, щедро дарящие вдохновение, влюбленности, опаляющие нервы, но скорее чадящие, чем испепеляющие, щедро превращающие золу чувств в урожай стихов. Выделить среди однообразных увлечений и охлаждений единственную, незабываемую, «все спалившую» Любовь никому пока не удалось. Так решила Ахматова, тщательно шифруя в преклонные годы адресатов своих стихов — ранних и поздних, всех. Пусть каждый, кому она дарила иллюзию великой любви, считает себя единственным.

Ведь какая услада для последнего часа:

> …И умирать в сознанье горделивом,
> Что жертв своих не ведаешь числа,
> Что никого не сделала счастливым,
> Но незабвенною для всех была.

Это ее дар, ее сила — быть незабвенной. Разве сравнить с быстро портящимся продуктом — ускользающим туманом счастья (которым она, как сама признается, одаривать не умела) нетленный знак избранности, пометивший вдохновителей ее Музы? Известно, что любвеобилие творцов часто объясняется необходимостью «подкармливать» свежей кровью эмоций свою Музу, подбрасывать ветки в костер вдохновения. Отгорев же и выразив пережитое языком искусства — нотами, красками, словами, творческие «вампиры» теряют интерес к «отработанному» материалу. Ахматова умела зажигать, не горя сама, умирать и воскресать в каждом новом чувстве, как опытная актриса в финале «Дамы с камелиями». Потому так богат перечень личных драм — сыгранных и исследованных с мудрой отстраненностью инструментарием Слова.

Конечно же, многое меняет время. Если лирика молодой Ахматовой напоена чувственностью — пронзительной,

отмеченной печатью высокопробной страсти, то в зрелые годы она отказывается от многих любимых и самых горячих строк, переписывает куски четверостиший, изменяет посвящения и названия стихов, освобождая свое наследие от телесного, личностного, автобиографичного. Помудревшая и остывшая поэтесса принялась переписывать историю жизни наново, не заходя за протокольные рамки информативности, слегка расцвеченной подсказками встрепенувшейся в допустимых пределах памяти. Любовную же лирику, достаточно откровенную, сопроводила непременными оговорками: «только не подумайте: ничего такого у нас с ним не было!» Похоже на реплику из анекдота о преждевременно вернувшемся из командировки муже. Надо понимать, что поэтические пассажи о страсти — плод фантазии.

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви,
Как я знаю эти упорные
Несытые взгляды твои!

или:

Ты только тронул грудь мою,
Как лиру трогали поэты,
Чтоб слышать кроткие ответы
На требовательное «люблю!».

или:

Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы быть иной
Пред горьким часом наслажденья…

Очевидно, что поэзия — не протокольная опись, но именно ее правде веришь больше и безоговорочней. Да и попытки пожилой поэтессы скрыть былые увлечения достаточно наивны. О близких отношениях Северной музы с мужчинами знали многие, в том

числе — муж и те, кто рассчитывал на место главного героя ее *единственного* романа или хотя бы побочного.

Не станем тревожить дознанием «донжуанский список» Ахматовой. Несомненно главное: именно муж Анны Андреевны, Николай Гумилев, один из крупнейших поэтов Серебряного века, личность выдающаяся — центральная фигура в ее жизни, перенасыщенной судьбоносными связями. В истории их многолетних отношений (семь лет до брака, четыре года супружества, четыре от фактического разрыва до юридического развода) — невероятная смесь крайних нелепостей и высоких чувств, мелочных счетов, щедрых даров, благородной дружеской выручки и элементарного предательства. Пара не дает возможности разобраться: кого и зачем тут водят за нос? Чувство недоумения преследует постоянно: что это было? Какой вид порочной зависимости скрывается за мучительными взаимоотношениями?

Они встретились гимназистами, расстались за три года до гибели Гумилева и все это время, переживая жизненные сюжеты далеко не возвышенного жанра, мистически (к чему оба были склонны) верили в особую значимость их союза, видели «записи в небе древнем и высоком» о неразрывной прочности связывающих уз.

Отбросив малопривлекательную шелуху житейских неурядиц, отметим факт: союз Ахматовой и Гумилева знаменателен для обоих участников. Ранняя поэзия Гумилева чуть ли не целиком напоена и вдохновлена чувствами к «неневесте» (так называл Анну Николай) (противоречивыми, бурными, экзотическими). Практически, в стихах, посвященных Анне, он вырос как поэт. Путь Анны Ахматовой, ее «взросление» как мастера слова, человека мира современной поэзии, ее выход на арену литературного Петербурга во многом — дар Гумилева. Таков итог чреды страданий, обид, надежд, восторгов, оговоров, лжи, коротко именуемой в народе «грязным бельем».

Ахматова всеми силами противилась процессу «большой прилюдной стирки», проклиная заочно всякого, кто посягнет на исследование ее бытия. Сжигала дневники, личную переписку, стихи — устно и письменно создавала легенды большой наивности и маленькой правды. К созданию «ахматианы» (так стали называть сформировавшуюся версию биографии Ахматовой) причастны многие, ретушировавшие величественный портрет, отбрасывая детали, в легендарный образ не вписывающиеся.

Увы, индивидуальность такого масштаба не имеет шансов остаться в стороне от разного рода любопытствующих глаз. Мы

лишь постараемся, в меру своих возможностей, совершить неизбежное, запрограммированное скрытностью самой поэтессы действие: домыслить детали, отсутствующие в очертаниях грандиозной фигуры по имени Анна Ахматова.

Глава 2
«…И ее атласистая кожа Опьяняла снежной белизной». Н.Г.

Их роман вовсе не похож на классические истории о влюбленных гимназистах девятнадцатого — двадцатого веков. В нем не найти тенистых аллей, цветущего шиповника, горячечных слез и беззаветной юной, жаркой страсти в овине под шумящей грозой. Зато, восполняя дефицит лиричности и романтизма, с избытком присутствуют сюжетные нелепости, смехотворные и трагические повороты, затянутости, невнятности мотивировок. Будь у сего романа автор, по его сочинению отчаянно прошлась бы рука редактора, не решившегося отправить всю историю в корзину лишь потому, что словно нарочито запутанный текст имеет гриф эксклюзива. Так что, пусть даже вопреки нагромождению фактов или отсутствию оных, выстроить сюжет и заполнить пробелы все же придется. Фантазия беллетриста зацементирует щели, поддержит разваливающиеся куски повествования. Ведь желание узнать больше об Анне Андреевне — живой и разной — не должно быть убито ни ложью, ни скукой. Хотя придерживаться обоих принципов порою невозможно.

Роман Анны Горенко и Николая Гумилева начинался вовсе не как роман. Скорее как нелепая история из лицейского быта. Неприглядный, чрезвычайно амбициозный гимназист с ходу влюбился в девицу не от мира сего. Мечтатель, фантазер с неординарной психологией волею рока (никак не иначе) в первый же момент угадал (и ошибся) в бледной молчунье с опасным взглядом себе пару — лунатичку, гордячку, начиненную мистицизмом и скрытыми амбициями. Четырнадцатилетняя Анна и восемнадцатилетний Николай встретились в самый канун Рождества 1903 года. Невидимые наручники, заготовленные где-то в высших инстанциях, сомкнулись на отроческих запястьях. Отныне они были скованы одной цепью, имя которой — Судьба.

В Сочельник под арками Гостиного Двора, разукрашенными гирляндами бумажных фонариков и вязками серебряной канители, стояли четверо: братья Гумилевы — Коля, гимназист седьмого класса Царскосельской гимназии, и старший Митя, кадет морского корпуса, а также дамы — Валя Тюльпанова, знавшая Митю через общую учительницу музыки, и ее задушевная подруга и одноклассница по Царскосельской Мариинской гимназии Аня Горенко. Изящный снежок присыпал алмазными

крошками форменные шинели кавалеров, картузы с отогнутыми заушниками, узкие пальто дам с лежащими на плечах пушистыми воротниками… Носы прятались в мех, а над ним любопытством и смехом искрились девичьи глаза. Впрочем, такие глаза были только у невысокой ладненькой Вали. У нее и ленты на шляпке казались ярче, и мех пушистей, и сапожки переступали нетерпеливо — так и тянули пройтись в туре вальса, ведь на площади военный оркестр разливал елей «Сказок Венского леса».

То и дело приходилось сторониться: сверкнув вращающимися зеркальными дверями, к саням выбегали празднично одетые дамы и господа с ворохом подарочных упаковок, обхваченных атласными лентами. Извозчики лихо свистели вожжами. Вздымая пушистые бразды, проносились с гиканьем тройки: «А ну посторонись!» В этот канун Рождества всем было весело. Чем-то ванильно-сладостным? А казалось — прямо с небес, в придачу к снежной россыпи, к свершившемуся чуду Рождества.

— А мы за игрушками на елку приехали! — протараторила Валерия, которую все звали Валей. — Эта стройная красавица — моя подруга, Анна Горенко. Вместе учимся и живем в одном доме. Горенки прямо под нами квартиру снимают.

— Так мы все царскосельские — соседи! — обрадовался кадет. — Николай, правда, гимназией Царскосельской недоволен. Атмосфера гнилая. Уровень преподавания ниже некуда.

— Это верно! — согласилась Валя. — В женской тоже — такие дурацкие порядки завели! Лично мне — ничего, подходит. Но Анну, к примеру, совсем затравили.

— Что за дикости! — Корнет коснулся кожаной перевязи палаша. — Я готов заступиться, если мадмуазель не имеет достойного защитника.

— Благодарю вас, но у меня прекрасный старший брат и бравый отец. И вообще, Валя сильно преувеличивает. Ничего такого ужасного нет, — ровным голосом произнесла светлоглазая.

— Зачем ты скрываешь? Затравили! — настаивала Валя. — Не подумайте, господа, учится Анна хорошо, дисциплину соблюдает, с воспитателями вежлива.

— Так, может быть, за кгасоту стгадает? — молвил, картавя, длинновязый гимназист, на продолговатой голове которого фуражка смотрелась комическим архитектурным излишеством.

— За лунатизм! — таинственно сверкнув глазами, сообщила Валя. — Кто-то выдумал, что Анна ночами ходит по коридорам дортуаров и пугает учениц. Они ж все на привидениях помешаны!

— И не выдумали! Хожу ночами, когда полнолуние, к окну, что в конце коридора. Там луна фонарем стоит и меня тянет. А

этим клушам, если такие трусихи, нечего подглядывать! Жевали бы свои бисквиты под подушками… — Анна равнодушно рассматривала витрину с нарядной елкой и всяческими новогодними чудесами.

— Лунатизм — это вид легкой психической аномалии, вовсе не опасной. Часто с возрастом он проходит. — Николай знал абсолютно все о вещах, касающихся загадочных и мистических сторон реальности. — Только лунатика окликать нельзя — он сразу очнется от своего полулетаргического состояния, и может произойти непоправимое!

Валя сдержала смешок: лучше бы этот умник помалкивал. «Непопгавимое!»

— В детстве отец брал меня на руки и уносил в постель, если я шла за луной. И что тут такого? Я не собираюсь оправдываться — луна моя подруга. — Лунатичка с вызовом взметнула ресницы, и у картавого аж дух захватило — льдистый лунный холодный свет окатил его, точно он в прорубь бросился. Будто кто-то прошептал над его отмороженной головой заклинание, а из крепкого тела, державшегося всегда прямо и твердо, вытащили хребет. Николай вдруг сник, обмяк, и его косоватый надменный взгляд засветился собачьей преданностью.

То, что щеголь Гумилев околдован, заметили все. Валя постаралась замять неловкость:

— Пока мы тут секретничаем, лучшие игрушки разберут. Я хочу сладостей купить, люблю, когда на елке вкусненькое и красивенькое! — Румяная девушка с состраданием глянула на высокого длиннолицего Николая. Вот уж «принц на белом коне»! Бледен, выпуклые рыбьи, чуть косящие глаза, а в них такое чувство мужского достоинства и собственного превосходства — держитесь, девицы! С разбегу втюрился, с первого взгляда! И, видать, теперь не отвяжется. Такой будет до могилы бороться за честь стать паладином, рабом своей госпожи. Повезло Анне! — прыснула Валя в воротник, зная о сердечных делах своей подруги и понимая, что Николаю ничего здесь не светит.

Анна, молчаливая, мраморноликая Анна, упорно притаптывала снег носками ботинок, не поднимая смоляных ресниц. А этот, косоватый, так на ней глаза и забыл — отвести не может. Не расколдовался даже перед прилавком сверкающих игрушек и всю дорогу, пока они с братом провожали подруг до дома, молчал… Разговор поддерживала Валя:

— Говорят, вы, Николай, стихи пишете? Старший брат Ани Андрей очень поэзией увлекается. Вам непременно надо познакомиться! В наше время невозможно считать себя интеллигентным человеком, если не знаешь поэзии. Анна очень

любит Державина, Некрасова, Анненского…

— Перестань смешить. Это в детстве было, когда мне мама наизусть читала — книг у нас в семье почти не держали. Но зато в семь лет я сама выучилась складывать буквы по азбуке Толстого и сразу за «Братьев Карамазовых» взялась. А потом Тургенева, Блока у Андрея стала таскать.

— С Достоевского прямо-таки начали! — Николай восхищенно налег на «л» в слове «начагги»!

— Начала, да только не дочитала ни одного романа до конца. Интересно было и ужасно трудно. Затягивает, но подавляет как-то. Прямо чувствую, что если не брошу читать — заболею. Не могла выдержать всех этих мучений, этого горя, этих обид. Может, у меня нервы слабые?

— Даже у будущих морских офицеров для Достоевского нервы слабоваты оказываются! Не тянут мои друзья его сочинений. А наш полковник вообще сего автора читать запрещает!

— В лицее атмосфера более либеральная. Ну а на директора, Иннокентия Анненского, мы прямо молимся! — вставила Валя. — Все его стихи наизусть учим.

— Анненский у Николая занятия по русской словесности ведет. Он его особо привечает. Говорит: «талант». В любимчиках держит, — похвастался корнет.

— Это ты, Дмитрий, хватил, — смутился Николай. — Беседуем частенько о поэзии…

— Эрудиция для таких бесед нужна огромная… — вздохнула Валя. — Книги интересные надо больше читать.

— Ну, если барышням и в самом деле не безразлична российская словесность, мы открываем для вас нашу библиотеку, — объявил Николай. — Уверяю: лучшая русская и французская поэзия собрана знатоками Гумилевыми! Ждем вас с визитом. Между прочим, Николаю есть чем вас удивить.

Да, он умел удивлять, быть не как все, хотеть нечто особенное. Экстравагантность для Гумилева — норма. Ну, у кого в его классе был цилиндр? А зверинец дома? А полное облачение индейского вождя? Причем не в шкафу — Николай носил любимые одежды.

Николай Гумилев родился в Кронштадте в семье морского врача в 1886 году. Учился в гимназии в Тифлисе, но вскоре был вывезен родителями в Царское Село в только что купленный дом на Московской улице. Дитятей уже проявил себя смельчаком, пытливым искателем, фантазером. Правда, буквы «р» и «л» давались ему плохо, а один глаз из-за врожденного астигматизма

немного косил. Но прекрасный рост, доброта во взоре и удивительные речи — рассказы о заморских странах — привлекали к юноше всеобщее внимание. Однако мог ли такой герой растопить ледяное сердце Лунной девы Ани Горенко?

Знакомство подруг с братьями Гумилевыми продолжилось. Андрей, старший брат Анны, вскоре подружился с Николаем на почве книголюбия и стихосложения. Николай глотал книги запоем, особенно приключенческую литературу: Жюля Верна, Майн Рида, само собой, знал наизусть чуть ни всего Пушкина, Лермонтова и сам писал стихи. Но сверстники по гимназии крутили у виска пальцем и закатывали глаза от его сочинений — того, мол, парень, с извозчика свалился. Символическая поэзия, адептом которой был Гумилев, с ее фантастическими и аллегорическими сюжетами вызывала у этих драчунов и насмешников приступы гомерического хохота. А его самого мало что интересовало, кроме поэзии и дальних странствий по неизведанным континентам. Латынь и математика здесь только мешали. За двойки по этим предметам Гумилев был оставлен в седьмом классе на второй год. Да еще год проболел и провел на домашнем обучении. Вот и попал восемнадцатилетний верзила в одноклассники к ребятам помельче. Дабы компенсировать урон достоинству мужчины и денди, Николай обзавелся цилиндром и держался с дурашливыми однокашниками со спокойной независимостью существа высшего ранга. Мечтатель-путешественник не сомневался: мир, который он непременно откроет, хранит величайшие тайны Вселенной. А те, кто затеял сейчас травлю, будут посрамлены — «посгамлены!» (как торжественно, указуя перстом в самых отчаянных невежд, пообещал он).

— Ох ты! — Валя Тюльпанова неуверенно шагнула в распахнутые двери. Пригласив подруг в гости, Николай демонстрировал им свои владения. Комната юного фантазера изображала подводное царство. В центре — грот с фонтаном, выложенный раковинами, а на стене, украшенной глубоководным пейзажем, словно увиденным из окна «Наутилуса», Русалка прятала в водорослях свой искристый хвост. Длинные черные волосы змеились в густой синеве колышущихся вод.

— Ой, что-то на Анну больно похожа… — оторопела Валя.

— Не очень удачно вышла. Но когда я смотрю вот отсюда, из кресла, прищурясь, сквозь дым сигары, вижу такие чудеса… Вот послушайте. — Николай сел, закинул ногу на ногу и начал читать длинную сказку в стихах про колдунью-ундину… Раскуренная сигара ароматно дымила. Стихотворец не отрывал взгляда от

Анны, присевшей на банкетку у грота так, что брызги фонтана осыпали ее распущенные по плечам волосы. На талии «исследователя глубин» тесно сидел широкий кожаный ремень с чехлами для ножей и ремешками для планшетов.

Стихи оказались длинными и в общем-то интересными, в особенности тем, что в главной героине угадывалась Анна, хоть и была она подводной царицей.

Я люблю ее — деву-ундину,
Озаренную тайной ночной.
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской…

Дома у Вали Тюльпановой потом делились впечатлениями. На круглом столике, накрытом крахмальной кружевной скатертью, стояли синяя ваза со свежими хризантемами и коробка конфет — особая, трехэтажная. И цветы, и конфеты — презент Гумилева дамам за визит и участие в обсуждении стихов.

— Смешной мальчик. Грот с фонтаном устроил. Ты заметила мою позу? Изогнулась точь-в-точь как его Ундина…

— Да он сам обомлел. С конфетами и книгами выбежал — метал перед тобой поэтов, словно из сокровищницы. Теперь ты начитанная станешь. Не сомневаюсь, он самое лучшее выложил. Ох, и закрутились дела!

— И ничего не закрутилось. Он мне совершенно безразличен. — Анна достала из вазы желтую хризантему и покрутила у носа. — А желтые цветы, говорят, к разлуке…

Разлука не случилась. Через два года в той же комнате подруги в который раз обсуждали прочно застрявшего в их жизни Гумилева и ели подаренные им Анне конфеты.

— Вот Николай Степанович к тебе прилип — за уши не оттянешь. — Валя, симпатизировавшая Николаю, подмигнула: — Стихами засыпал!

— И конфетами. Сам — страшный сладкоежка и нас развращает.

— Да у него и стихи такие — гурманские. — Валя нараспев прочла:

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,

Расточал рубины волшебства…

Что-то там про рыб тра-ля-ля — не помню. А потом опять про тебя:

А царица, тайное тревожа,
Мировой играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.

Вдумайся: чувственность какая — «атласистая кожа». Словно кончиками пальцев по шее проводит… — Валя изобразила упоение, томно опустив ресницы.

— Да у него просто «атласная» в размер не влезла! И вообще — очень длинные стихи. — Анна постаралась скрыть удовольствие от описания ее красот. — По-моему, надо больше реализма.

— Да там дальше вполне реально про «маленькую грудь»! Твою! — насмешничала Валя. — А это уж даже слишком — «мировой играя крутизной…»

— Выдумывает он все. Грудь мою не видел. И крутизны тоже… А недавно кольцо подарил золотое с рубином. Только оно в щель завалилось — пол рассохшийся.

— Доску поднять надо. Вещь дорогущая! — Валя закатила глаза от наслаждения, причмокивая: — Шоколад с пьяной вишней — обожаю!

Анна конфет не трогала — по части еды, и особенно сладостей, энтузиазмом она не отличалась.

— И отлично, что завалилось. Не надо мне таких дорогих подарков… — Анна покрутила бахрому скатерти. Помолчала. — В жены меня зовет. Намеками. Уже третий год.

Валя, пробовавшая уже помадку с фисташками, едва не подавилась:

— А гимназия как же?

— Скоро получит выпускной диплом, я тоже заканчиваю. Как думаешь, стоит?

— Думаю… — Валя наморщила лоб, будто стояла у доски с трудной задачкой. — Ну давай рассуждать трезво. Не красавец. Но оригинален, из хорошей семьи, и талант большой — если уж сам Анненский внимание обратил. Упрямый, настойчивый… Такой непременно весь свет объездит.

— Прелестно! А мне-то что прикажете делать? — Анна усмехнулась. — Чемоданы за ним таскать?

— Как ты не понимаешь? Путешествовать с мужем! Это же так захватывающе!

— Чрезвычайно! Через пустыню на верблюдах, а потом в каком-нибудь вигваме на костре котлеты из змей жарить! Или в Африке крокодилов кормить… Он в стихах даже страшно сказать что себе предрекает. Послушай:

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей, мертвой земле.
Пусть высоко на розовой влаге
Вечереющих горных озер
Молодые и старые маги
Кипарисовый сложат костер.
И покорно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп,
Чтоб смотрел я с последнего ложа
С затаенной усмешкою губ.

И это только начало стихотворения! Кипарисовый костер ему нужен, представляешь?! Нет, ты вдумайся, Валька, он же пророчит собственную смерть! Это же самоубийство! Этого делать никогда нельзя. — Глаза Анны потемнели. — Поверь мне: слово обладает магической силой. Я чувствую. Когда они во мне начинают бурлить, даже страшно. Не я их хозяйка — они мной командуют!

— Да, зря Николай так пророчествами разбрасывается. Скажи ему непременно!

— Он знает и потому играет с судьбой, как пьяный гусар с заряженным пистолетом. Потому и рвется к опасностям. Рисковый, отчаянный. И пижон!

— Хорошо, пусть в Африку едет, — согласилась Валя. — Там опасности жуткие со всех сторон и полная варваризация туземцев. А тем временем жизнь искусства в Питере разворачивается. Жена тут, а муж там. Не зря же он тебя уже третий год таскает по культурным событиям — то на вечер в ратушу, то на концерт Айседоры Дункан, то на студенческие вечера. Даже модный спиритический сеанс у Бернса Майера не пропустил! Я аж обзавидовалась.

— Чепуха все это. Фокусы. Но дамы валились в обморок, когда дух Наполеона постучал. Я сразу: бух — изобразила впавшую в транс, чтобы еще страшнее было! Сижу, как изваяние, не мигну! Кавалеры от страха кинулись свет зажигать.

— Все тебе хиханьки да хаханьки, Анька! Человек твой культурный уровень в области искусства поднимает. Образовывает идеальную спутницу жизни.

— Да он меня как трофей демонстрирует. Везде мною хвастается. Я умею форсу поддать, ты же знаешь, — платье надену черное, гладкое, медальон бабушкин серебром тусклым мерцает. Да и рост в туфлях с каблуками-рюмочками самый представительный. Иду, подбородок вздерну, а ресницы опущу — все аж расступаются: шамаханская царица. Присяду небрежно — спина прямая и вполоборота к обществу, вроде скульптура застывшая. Чувствую — полируют тело восхищенные взгляды!

— Еще твоя бледность мраморная роль играет, взгляд рассеянный и молчаливость впечатление неизгладимое производят… Вот бы мне так научиться…

— Тебе совершенно не надо. Другая индивидуальность — веселушка, милая, круглолицая. А у меня лицо словно в эллинские времена высечено. А под молчаливостью подозревается лавина страстей и богатое внутреннее содержание. Главное, всякому ясно: колдунья! С таким-то взглядом — насквозь всех вижу. — Анна подняла глаза на Валю, чуть прищурилась.

— Ой, не шути так, аж мурашки по коже.

— Дураков пугать люблю. А ты умная.

— Только породы другой. Ты, Анька, — героиня, а я субретка. Ну и отлично. Героиням всегда труднее приходится. Их непременно в финале душат или режут… Как тебе этот крепдешин? — Валя любовалась отрезом легкой материи, набрасывая его то так, то этак — Настоящий Китай — красотища! Представляешь меня на танцевальном вечере в обновке?

— Не представляю. Я не танцую и обучаться не собираюсь. Танцы не посещаю. Кривлянье, смешное кокетство. И вид у всех — просто идиотский!

…Странное для юной девушки высказывание, но Анна в самом деле пренебрегала танцами и всеми молодежными увеселениями, связанными с этой забавой. «Кривлянье» — верно. Кто может представить Ахматову на танцполе? Разве что в королевском менуэте. А иное… Она точно знала: это не ее стихия, не ее стиль. Статуи не танцуют. А главное — легкости, задорного куража, необходимого в танце, у нее днем с огнем не отыщешь. Как и слезливой сентиментальности. «Гордость, обособленность, чужеродность, отдельность» — вот наиболее подходящие к ее статичной грации определения.

— Ладно, к чертям танцы. На твою свадьбу с Николаем сошью платье такое фасонистое! Впереди все закрытое,

коротенькое, а сзади непременно фалды пущу!

— Что ты мелешь, Валька? Ведь знаешь, в кого я влюблена. И это, между прочим, на всю жизнь. Умру от безответного чувства во цвете лет. — Анна вздохнула, а в брошенных на колени длинных руках с точеными кистями было столько скорбной выразительности, что Валя растрогалась, шмыгнула носом. Но тут же перешла в наступление:

— Вот уж нашла предмет для пожизненного преклонения! Нет, ничего не скажешь — хорош! Верно, хорош. И фамилия звучная — Голенищев-Кутузов! Да и серьезен, и лета зрелые. Я вообще считаю, что девицы непременно должны выбирать мужчину постарше, опытного, многое в жизни испытавшего.

— Выбирать… — Анна скривила в усмешке жесткий рот. — Это он меня выбрал.

— Ха, даже и не подумал ухаживать. Кивнет при встрече — и вся лирика.

— Выбрал — значит, отметил светом своей персоны, заклеймил. Один Бог знает, зачем это свершилось. Только о нем и думаю.

— Ничего у вас не выйдет. Вот увидишь. Я в сердечных делах разбираюсь. Окончу гимназию, присмотрю человека непременно солидного, степенного — и под венец.

— А я с Владимиром Викторовичем сочетаюсь… Звучит-то как: Анна Голенищева-Кутузова, супруга дипломата!

Эта влюбленность Анны, почти целиком придуманная, похоже, и возникла для того, чтобы стать препятствием между ней и слишком уж навязчивым любителем приключений. Предмет ее чувства едва ли догадывался, что является избранником Горенко и соперником Гумилева. Гумилев же соперника уважал и от ревности страдал.

Студент третьего курса факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета Голенищев-Кутузов был кумиром девиц, несмотря на свою сдержанность и отсутствие повадок ловеласа.

Элегантен, хорош собой, немногословен, величественен — типичный правительственный советник. Он был близко знаком с мужем старшей сестры Анны Сергеем Владимировичем фон Штерном. Но это знакомство, увы, никаких преимуществ Анне не давало. Роман разворачивался в ее воображении, и даже ясновидение, предрекающее развитие отношений вплоть до брака, дало сбой: Анна через Сергея получила лишь портрет красавца и никогда о нем больше не слышала, хотя и посвятила ему множество стихотворений. Окончив академию, Владимир Викторович был отправлен на дипломатическую службу, и следы

его потерялись.

Но не к университетскому красавцу стоило бы ревновать Анну. Уж слишком похоже на банальные девчачьи мечты. Анна же была взрослой всегда. И не терпела банальности. Скорее можно предположить, что «Снежная дева» совершала тайные прогулки в один темный дворик на Фонтанке, где в комнате под крышей проживал бедный студент — ни дать ни взять Желтков из купринского «Гранатового браслета». Он обожал Анну до полного онемения. А она… Его узкая больничная железная кровать, возможно, знала что-то. Но кровати, к счастью, не дают интервью. Даже санитарам, уносившим мертвое тело с красным «цветком» на груди. Черноволосая искусительница исчезла, написав трогательные стихи:

Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль…
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.

А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.

Когда Анна допишет эти стихи, каким числом датирует, кому посвятит — останется в тайнике любимых ею загадок. Во всяком случае, Гумилев решил, что стихи посвящены ему. Анна не стала разочаровывать. Ведь их так много — идущих откуда-то сверху «песен». Так много мужчин, жаждущих ее внимания. А стихи часто рождаются и без конкретики — сами по себе, «из сора» впечатлений и перебродивших или лишь забрезживших чувств.

Но все интимные тайны Ахматовой — пустяки, милое жеманство стареющей грешницы в сравнении с тайной тайн — природой ее мощного, словно с чужого плеча, поэтического дара. Анна Горенко хоть и высока ростом, сложна характером, но мельче, проще той личности, того мастера слова, который свободно и широко заявляет о себе в ее стихах. Надо оговориться: Ахматовой — той, от которой заикался Андрей Тарковский, на которую молились тысячи читателей, она станет во второй

половине жизни, в те самые времена, когда история, сломав ее судьбу, начнет строить новый легендарный сюжет под названием «ахматиана». Но и с самого начала поэтический голос Анны Горенко был невероятно мощен. Так где же источник этой силы? Благословением какой феи приморская босоногая девчонка в короткий срок превратилась в «Леди любовной поэзии», «Королеву слова», а затем и в «Совесть земли русской»? Когда это началось, как?

Глава 3
«Как и жить мне с этой обузой, А еще называют Музой». А.А.

В Анне Андреевне Горенко вообще было много странного, а она, странности обожая, создавала мифы вокруг своего имени, происхождения, редких способностей. Убедительно рассказывала случаи собственного ясновидения, предсказывала мрачные события, скрещения судеб, читала чужие мысли. Еще подростком искала с помощью прутика воду — места для рытья колодца.

Относиться к этим рассказам можно по-разному. Логичней предположить простейшее: особенности девочки сильно преувеличены задним числом — почему бы не наделить запредельными способностями саму «Королеву поэзии»? Во всяком случае, в сачках исследователей ее творчества и жизненного пути остался улов фактов, подтверждающих дар ясновидения Анны Андреевны, умение притягивать нужных людей, попадать в необходимые места в нужное время, и прочие сверхвозможности. Естественно предположить, что немало деталей и фактов, уникальности не подтверждающих, уплыло сквозь ячейки поискового сачка — уж очень часто она промахивалась.

Но как отнестись к дару приворота, хоть как-то объясняющего такое количество «жертв», иссушенных страстью к «колдунье»? А к умению превращаться из бледной, долговязой худышки с тяжелым взглядом в загадочную, манящую «царевну-лебедь»? («Когда надо, я могла выглядеть уродиной или красавицей».) Конечно, искусство преображения — сочетание особой инфернальной женственности с умением «сделать себя». Анна Андреевна обладала прекрасной памятью, смекалкой, всегда тонко оценивала реакцию собеседника — угадывала его мысли, намерения. Не хуже, чем в туалетах и шляпах, с умом и вкусом разбиралась она в нюансах стильного поведения неординарной дамы. Обостренное эстетическое чутье помогало Анне выстроить образ уникальной женщины, «первой красавицы Серебряного века» — именно в тех канонах, которые требовала эстетика тех лет. Вамп, Лилит, Пандора, Клеопатра — ее основные обличия. Мудрая, гибкая змея — ее постоянный образ. Мистический полумрак тайны — любимое освещение.

А Дар? Алмаз можно шлифовать, но страз не превратишь в драгоценность никакими усилиями. Хотя придать фальшивке

сходство с драгоценностью нетрудно. Значит, дело в компетентности и чутье эксперта? Стихи Анны Андреевны оценивали по самому высокому счету далеко не равнодушные к ней мужчины, первоклассные знатоки поэзии и поклонники ее женских чар. Возможно, стремительный выход молодой Ахматовой на арену большой поэзии не сложился бы столь удачно без определенной поддержки. И хотя не все ее наследие равнозначно по качеству (что в принципе и невозможно), нельзя не признать: лучшая его часть относится к истинным ценностям. Она не позволила себе зарыть эти ценности в землю, смириться с участью безвестности и непризнанности, на которую зачастую обречены крупные дарования. С детства простоватая девочка последовательно выковывала из себя Анну Ахматову. Без глянца воспитания и эрудиции она открыла в себе Дар — некий особо чуткий сенсорный механизм, позволявший улавливать не слышные обычному уху отзвуки вселенской музыки, симфонию невнятных зовов, подсказок, настроений.

Ничего удивительного нет в том, что девушка с претензиями на особость (и в себе эту особость остро ощущавшая) испытывала необходимость подчеркнуть собственную значимость. «Не от мира сего» — сказано про Анну Горенко: замкнутую, своевольную молчунью, предпочитающую дружбу с морем и рыбаками светским девическим развлечениям — танцам, домашним спектаклям, флиртам. Она обладала редкой гибкостью, тонкой — в два обхвата — талией, своеобразной внешностью — схожей с образами греческой иконописи, гривой длинных шелковистых смоляных волос. Происхождение — дворянское, образование — эпизодическое, состояние по милости кутилы отца — ускользнувшее. Притязания — огромные.

Методы совершенствования понятны: сообразительная девушка быстро усваивает манеры модной эстетики, шлифуя свои природные данные. Эффектные позы, загадочная молчаливость, гибельная печать во взоре… В сочинительстве помогает склонность к подражанию хорошим поэтическим образцам. Но откуда взялся *Поэт*? Писем писать Анна не умела, резвостью в прозе не отличалась, училась скучно и посредственно, читала мало — в семье всего две книги, Державин да Некрасов. Художеством не увлекалась, музыку не понимала, голоса и слуха не имела. Кроме того — полное отсутствие женской домовитости: умения готовить, шить, желания создавать уют, чистоту. Все это вместе явно противоречит распространенному мнению: «уж если человек талантлив, то талантлив во всем». Откуда же, из каких потаенных глубин, с каких неведомых высот явился этот «песенный дар», сделавший вполне посредственную девицу

Поэтом среди Поэтов?

Анна Андреевна Горенко родилась 11 (23) июня в дачной местности Большой Фонтан под Одессой. Как утверждала она сама, играя с переменой стилей, — в ночь на Ивана Купала, что само по себе указывает на некую причастность к мистическим силам. Она была второй дочерью тверской помещицы Инны Эразмовны Стоговой и отставного инженер-капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко.

Домик в Большом Фонтане, расположенный у пыльной дороги, ведущей к морю, — далеко не вилла, даже не дача с белой балюстрадой. Но и он — повод сказать гордо: «рождена у самого синего моря». Впрочем, малышка провела там, на улице под названием Хрустальная, меньше года — семья переехала в Царское Село. Зато эпитет «хрустальная» будет звучать в обращенных к ней стихах на разный манер множество раз. Она не упустит этот утонченный подарок судьбы: «родилась на улице Хрустальной…» — куда теперь деваться, только в поэты! Позже, навестив место своего рождения, заросшее лопухами и крапивой, Анна сказала матери: «А вот здесь когда-нибудь будет висеть моя мемориальная доска». Возможно, пошутила — эта избушка не очень сочеталась с понятием «мемориальная доска». Но о высеченном на мраморе своем имени она уже думала. Мать взглянула на нее даже без усмешки: Инна Эразмовна редко выражала эмоции.

Черноволосая молодая женщина с огромными, распахнутыми голубыми глазами, мама Анны постоянно пребывала в глубокой задумчивости, а скорее — в бездумности, некой прострации. Доброты и наивности она была удивительной. Вдова богатого помещика, вышедшая замуж за бравого капитана, она позволила ему промотать состояние в восемьдесят тысяч, заложить имение и, по существу, пустить семью по миру. А семья немалая — задумчивая фея произвела на свет шестерых детей, не имея ни к воспитанию потомства, ни к ведению домашнего хозяйства никаких склонностей. Да и рожала, как видно, по инерции и христианскому долгу — все свершалось само собой. В определении своего места в жизни она терялась. В юности, оглядевшись по сторонам, наткнулась на кружок народовольцев. Не задумываясь, пожертвовала ячейке киевских террористов деньги. И вовсе не потому, что разделяла их взгляды и жаждала крови государя-батюшки, а по доброте и правилу: если просят, надо давать. Повзрослев, сохранила от народовольцев пристрастие к «революционной моде»: белым блузкам и черным юбкам, а в преклонные лета и вовсе одевалась в какие-то несусветные салопы.

Супруг был хорош собой, жизнелюбив и чрезвычайно влюбчив. Удерживать его в семье Инне Эразмовне было, конечно же, не под силу, как и остановить расхищение им своего приданого. У нее и так все в доме разваливалось. Народу полно — прислуга, гувернантки, а порядку никакого. Каждый делал что хотел, даже ели члены семьи в разное время. Неуют, беспорядок, суета. И среди этого бедлама медленно передвигалось голубоглазое создание, погруженное в неведомые никому мысли. Природную потерянность и подавленность Инны Эразмовны усугубили частые смерти детей — в семье свирепствовал туберкулез. То ли страх очередной потери, то ли какой-то сомнамбулический вид прозрения грядущих бед держал мать семейства в состоянии притупления чувств и мыслей. Она все время прислушивалась к чему-то происходящему глубоко внутри, но не пыталась выразить ощущения, разобраться в них.

Вначале умерла четырехлетняя Рика, что повергло пятилетнюю Аню в шок. Затем в юном возрасте ушла в небытие красавица Инна, много позже старший сын Андрей принял смертельную дозу морфия, не смирившись с гибелью своей маленькой дочери.

И молчаливость, и сумрачность взгляда, и глубинный трагизм души Анна унаследовала от матери. Зато от отца — рост, величавость осанки, свободолюбие и напористость. Она точно знала, что не повторит судьбу мамы и тысяч женщин, пожертвовавших себя детопроизводству. А может быть, тихая отстраненность Инны Эразмовны, витавшей в облаках, и есть тот кокон «песенного дара» — сочинительства, который со временем проснется в одной из ее дочерей и превратится в крылатую Психею?

Анна сумела преобразить летопись семьи в повествование значительное и взять себе псевдоним якобы собственного предка — хана Ахмата. Она гордилась тем, что в ее роду сильна татаро-монгольская ветвь, и утверждала: Ахматова — фамилия бабки с материнской стороны, татарской княжны из некогда могущественного клана, основанного знатным чингизидом Ахматом. В своей биографии она пишет: «Хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, покончилось на Руси монгольское иго. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом». Анна сохранила семейный миф о прабабушке-чингизидке, от которой вроде бы остались драгоценности, и среди них — роковое черное кольцо, потеря которого чревата большими несчастьями. И именно от предков, от золотоордынских ханов, как утверждала она, перешел к ней дар ясновидения.

Однако прабабушка, урожденная Ахматова Анна Егоровна, и ее мать Прасковья Федосеевна были чистокровными русскими дворянками. Ни чингизидок, ни татарских княжон в роду этих Ахматовых не было. Как и особ греческих кровей, упоминаемых Анной для придания основательности фамильному древу.

Но разве имеют значение состав крови и генетическая наследственность существа уникального? Существа, если и имеющего некое высшее родство (возможно, как верил Гумилев, по линии реинкарнации), то с самыми высокими представителями человеческого рода. Девочка с малых лет вынашивала убежденность в собственной исключительности. И не на пустом месте. Ей не только удавалось сгибать свое гуттаперчевое тело, как прутик, бесстрашно заплывать к горизонту, толковать сны, предвидеть события, она ощущала присутствие в себе некой особой силы, требующей выражения. И способ выражения мог быть лишь один — запечатлевать звучащую в мироздании музыку в словах.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова,
И легких рифм сигнальные звоночки —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

«Продиктованные строчки», «просто» ложащиеся в тетрадь, — мощное призвание. Здесь уже ни рисовать, ни кидаться к фортепиано не приходится. Всепобеждающий зов — словно печать на лбу, клеймо судьбы, отметка в послужном листке — не оставляет выбора, забирает душу целиком. Записывай продиктованные строки — для того ты и явилась на землю. А все обостренные сенсорные механизмы для того и даны, чтобы суметь услышать в «бездне шепотов и звонов один все победивший звук».

Андрей Антонович Горенко, оставив морскую службу в чине капитана второго ранга, поселился сперва в Одессе, а вскоре перевез семью в Царское Село — его назначили на должность чиновника по особым поручениям в Департаменте государственного контроля.

Привилегированный городок сочетал роскошь летней царской резиденции с повседневной простотой. Парадная часть со старыми парками, водопадами, арками, античными статуями соседствовала с «жилой», в которой работали две гимназии, а по окраине тянулись улочки с двух- и одноэтажными домами мещан и чиновного люда.

Зеленое сырое великолепие парков, гроты, замершие нимфы, поляны — первые воспоминания Анны, мир, окружавший ее долгие годы. Как и море, он составил часть ее духовного мироздания. И конечно же неотъемлем от Ахматовой вечно присутствующий рядом юный лицеист Пушкин. В Царском Селе она постоянно ощущала неисчезающий пушкинский дух, словно навсегда поселившийся на этой вечно священной земле русской Поэзии.

Для Ахматовой Муза всегда — «смуглая». Будто она возникла перед ней в «садах Лицея» сразу в отроческом облике Пушкина, курчавого лицеиста-подростка, не однажды мелькавшего в «священном сумраке» Екатерининского парка, — он был тогда ее ровесник, ее божественный товарищ, и она чуть ли не искала с ним встреч.

В Царском жили широко и вольготно, квартиры были просторные, материально семья Горенко не бедствовала. Здесь Андрей Антонович — фат и сноб, держал часть ложи в Мариинском театре, куда несколько раз брал с собою Анну. Увы, лишь огорчая ее этими выходами. Девочку водили в раззолоченный театр, полный нарядных людей, в школьном платье! Какое унижение!

Дом никогда не радовал уютом, живущие в нем — заботой и лаской. Каждый существовал сам по себе. Воспитанием Анны особо не занимались. Редкую радость приносили чтения матери. В доме имелись только две книги, Инна Эразмовна знала наизусть с детства «Мороз Красный нос» Некрасова и оду Державина, которые иногда декламировала детям.

Чтение Анна освоила сама в семь лет по азбуке Толстого, а французскую речь ловила на слух, наблюдая занятия бонны с младшими детьми. Едва начав читать, она взялась за «Братьев Карамазовых». Романы Достоевского, Тургенева, сборники «проклятых поэтов» — Верлена, Рембо, Малларме — она брала у

старшего брата Андрея. Достоевского не потянула — бросила, а во французских стихах, на плохо еще понятном ей языке, уловила завораживающую, влекущую музыку.

Осенью 1899 года десятилетняя Анна — долговязая, бритая наголо после кори, молчаливая, — пошла в первый класс Царскосельской Мариинской гимназии. А в 1902 году родители определили ее в Смольный институт, где Аня получила голубое с пелериной платьице и возможность до конца жизни упоминать, что была «смолянкой».

Через год девочку пришлось забрать — воспитатели жаловались на лунатизм, смущавший других благородных девиц.

Лунатизм Анны — не выдумка, что подтверждает наличие иных аномальных способностей девочки, таких, как угадывание чужих мыслей, предсказания, толкование снов. Конечно же, в ней было нечто особенное. Главное доказательство сему — Синяя тетрадь. А в ней стихи и все тайны, которые Анна записывала с одиннадцати лет. А потом сожгла.

Глава 4
«Потому что я сам из пучины, Из бездонной пучины морской…» Н.Г.

Матери Гумилева представленная сыном девушка не понравилась. Смотрит исподлобья, улыбается, словно от зубной боли кривится, ничему не радуется, не удивляется. Хотя на семейное празднество приглашена, и все здесь вокруг нее да Коленьки хороводы водят, мир и достаток в семье демонстрируют, о детстве его рассказывают. Ведь как о сыне пеклись! Книги мальчик любил — с букинистом договорились, чтобы самые лучшие и редкие приносил. Библиотеку подобрали — не стыдно знатокам показать. С астигматизмом его носились, будто со смертельным недугом, почти исправили. А мужчину косоватость малая совсем не портит. Да и картавость — очень даже распространенная, от французов унаследованная черта. Сына во всем ублажали. Чуть увлекся зоологией — уже дома целый зверинец: белка, мышки белые, птицы, морские свинки. В море его потянуло — грот в комнате устроили, радуйся, сынуля, хоть и не миллионеры родители, обычные служащие, а развитию ребенка ни в чем не препятствуют. Умная и волевая Анна Ивановна Гумилева не мешала своеобразным интересам сына, уважала его особость, а «придурью» (как сказали бы в других семьях) восхищалась.

Глядя на все родительские заботы, Анна и улыбнуться толком не могла. Опека Коленьки раздражала ее, будто другому отдали ей причитающуюся ласку. Всё здесь ее злило: ухоженность дома Гумилевых, покой и благоденствие. Здешняя атмосфера так контрастировала с ее собственным, всегда полным равнодушия и неурядиц домом, что благополучный «маменькин сынок» Николай, часто бравирующий в стихах отвагой, лишениями, смертельной опасностью, ей опротивел. Избегала его с тех пор Анна, пробираясь домой обходными дворами.

Но Николай ее выследил, выскочил из подворотни, заговорил возбужденно, радостно о Париже, куда собирается вскорости отправиться, об Африке — континенте мечты, о сборнике стихов «Путь конквистадоров», деньги на публикацию которого в Париже дает мать.

Вдруг заметил отстраненное молчание Анны, нарочитую тоску в ее лице. Посерьезнел, взял тонкую, безвольную руку девушки и повел к своему любимому дубу. Здесь, на скамейке под могучей кроной, они часто проводили свои литературные и

философские «диспуты», сильно смахивающие на лирические объяснения.

Царскосельский зеленый старикан видел за свои триста лет немало влюбленных пар. Свидание Анны и Николая было из самых нестандартных и, в общем-то, непонятных. Вначале все шло как положено:

— Анна, Ундина! Запомни: на этом свете меня интересует только то, что связано с тобой. Ты — центр моей вселенной. Твое лицо — единственное на Земле! Будь моею женой! — Он стоял возле скамейки с букетом белых цветов и папкой стихов. Анна сидела на краешке скамьи вполоборота, красиво изогнув стан и устремив взгляд в густые ветви. Ее углубленное самосозерцание смущало своей загадочностью. Не разберешь: то ли раздумывает над сказанным, то ли и вовсе ничего не слышала, в других краях мыслями витает.

— Анна! Вы меня слышите? Вы станете моей женой, и мы уедем! Я покажу вам настоящий Париж!

— Что-о-о?! — Она словно вынырнула из дремоты. Из глубины темных зрачков вырвалась и окатила Николая враждебная сила. Анна вскочила, вытянулась во весь рост — гордый, оскорбленный обвинитель: — О каких путешествиях, господин Гумилев, вы говорите? О каких браках мечтаете? В своем ли вы уме? Что вы мне осмелились предложить сейчас? Жизнь семейной клуши? И когда? Кругом беда — стреляют, бросают бомбы, вешают. Туберкулез косит молодых… А вы вздумали «уехать путешествовать»! В Африке вас только и не хватало. Барские у вас замашки, покоритель неведомых стран. Вот и ищите себе супругу под стать — хозяйку скобяной лавки из Армавира! Или лихую деваху с ветерком в голове.

— К чертям бюргерш и скучные провинциальные дыры! Я увезу вас в Рим, в Париж, в Египет! — В порыве нетерпения он бил букетом о высокий ботинок.

— Видать, прибыли наконец обещанные мне орхидеи из Патагонии. — Усмехнувшись, она взяла измученный букет.

— Это георгины из нашего сада. Редкий сорт, «белый лебедь» называется. — Он приблизился к ней и крепко сжал плечи: — Красивая птица моя… Орхидеи я буду собирать для тебя сам! Я завалю тебя ими, Ева!

— Коленька… — Анна успокоилась. — Давай отложим этот разговор, ладно?

Николай отвернулся, долго стоял в нерешительности, сбивая прутиком с куста кисти кровавой бузины. Они рассыпались в траву рубиновыми бусинами. Наконец он решился — повернулся к ней, подошел вплотную, свистящим шепотом проговорил в

щеку:

— Анна, я прошу тебя ответить мне на один очень важный вопрос: непорочна ли моя Примавера?

— Что? — не сразу поняла она, стараясь высвободиться.

— У тебя были любовные связи? Девственница ты или грешница, Весна моя?

— Что-о?! С ума сошел! — Анна резко вывернулась из его рук, швырнула в удивленное лицо измятые цветы и быстро скрылась в аллее, повторяя с коротким смешком: — Покоритель мустангов ищет девственницу!

Вопрос о невинности девушки, достаточно условный в наше время, был наивен и в те годы веселящихся, игравших свободой десятилетий. Да кого это может волновать в бесшабашном хаосе рухнувших моральных догм? Пустяк! Но не для Гумилева, особенно если речь шла о его будущей жене. Маленький каприз оригинала, психологический пунктик — суровый сочинитель живописных сюжетов, брутальный покоритель диких континентов предпочитал девственниц, а уж в качестве супруги иного варианта не представлял. Лишь непорочная дева могла возбудить чувственность «конквистадора». А у Анны свой пунктик: морочить голову, дразнить тайнами, окружать себя загадочностью. Да и замуж за Гумилева она совсем не собиралась! Юные приключения Ани Горенко — тайна из тайн, которой никогда не суждено проясниться (синяя тетрадь сгорела, унеся с дымом первые стихи, первые любовные мечтания или нечаянные опыты сочинительницы, а главное — упоминание о той первой, единственной, опалившей ее любви).

Почему Анна не давала определенного ответа измученному Николаю? Боялась то ли потерять его, признав свою «порочность», то ли согрешить, поклявшись в невинности и тем самым осквернив себя ложью?

Шли годы, предложение руки и сердца от упрямого Гумилева следовали одно за другим, вопрос о невинности «неневесты» звучал все настойчивей, а она продолжала морочить голову Николаю, мучила, не отвергая и не приближая. На склоне лет, признаваясь в том, что очень не любит себя ту, юную, Ахматова сожалела о своем поведении в истории «сватовства». «В течение четырех лет я беспрерывно говорила Николаю Степановичу то, что «было», а потом, что «не было»… Это, конечно, самое худшее, что я могла делать».

Глава 5
«Прости, что я жила скорбя, И солнцу радовалась мало». А.А.

Летом 1905 года Анне исполнилось шестнадцать. Она закончила лицей. Родители развелись, отец ушел к другой женщине. Семья потеряла дом и была вынуждена скитаться по родне, живущей в южных городах России… Мир Анны рушился, но она могла представить все что угодно, кроме брака с Гумилевым. Уехала к тетке в Киев и даже писать ему не стала.

Через год, в 1906-м, двадцатилетний Гумилев, получив аттестат и средства от родителей на издание книги, уехал в Париж. Там он слушал лекции в Сорбонне и заводил знакомства в литературно-художественной среде. Предпринял даже попытку издания журнала «Сириус», в трех вышедших номерах которого печатался под собственной фамилией и под псевдонимом Анатолий Грант.

Однажды Анна получила посылку — изданную в Париже книгу «Путь конквистадоров» и номер журнала «Сириус». А в нем ее стихи за подписью «Анна Г.»:

На руке его много блестящих колец —
покоренных им девичьих нежных сердец.
(…)
Но на бледной руке нет кольца моего,
никому никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам никому никогда.

Взвизгнув, Анна швырнула журнал к люстре и прутиком перегнулась через спинку кресла, касаясь затылком ковра.

— Вот это да! Победила! И вовсе не танцорша! Поэт!

Гордость ее была уязвлена, когда Николай, посмотрев на чудеса гибкости своей Ундины, заявил: «Может, тебе лучше в танцорши пойти?» (К обращению на «вы» они прибегали в напряженные минуты, интимное «ты» между ними звучало ласкательно.) «А вам в заклинатели змей! — сквозь зубы

прошипела она. — Я сочиняла стихи с одиннадцати лет, но знала, что все это ерунда: море, закаты, чайки, принцы-утопленники, летучие парусники… Знаешь, что сказал отец, послушав эти сюсюканья? «Вы, Анна, мою фамилию не позорьте. Если вздумаете печататься, псевдоним возьмите». И я сожгла свою синюю тетрадку, в которую записывала эти никчемные детские сочинения. Отец был прав, за те беспомощные попытки мне стыдно. Но я буду писать все равно! И буду писать лучше всех!..»

Он пожал плечами: спор о женщине в поэзии был давнишний. В те годы стихи писали все, поэзией занимались поголовно — и передовая молодежь, которая сегодня увлечена рэпом, и те, кто зачитывался книгами, а ныне погрузился с головой в Интернет. Стихи — высшая степень утонченности, интеллектуального богатства. Их записывали в альбомы, в тетради, в журналы.

«Вы хотите стать одной из тех дам, что гладью вышивают сонеты собственного сочинения? И любят декламировать гостям нечто особо «душевное»?» — Николай завелся: это была одна из его больных тем — «всеобщее стихоплетство». «Конечно, непременно буду читать гостям! — согласилась Анна. — Особенно эффектно выходит мелодекламация — с музыкальным аккомпанементом. Коронный номер девиц-гимназисток — мелодекламация стихов Бальмонта, с подвыванием и душераздирающей тоской в голосе. Вот так, к примеру:

Заводь спит. Молчит вода хрустальная,
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.
Это плачет лебедь умирающий…

— Длинные руки изображали крылья умирающей птицы, голос рыдал.

Николай прервал пародийное выступление: «Глупое шутовство, Анна! Бальмонт — особый случай. Чистая поэзия души. Его не тронь! А вот сочиняющих нечто слезное барышень — на костер!»

Анна давно поняла, что Николай Степанович, приверженец суровой эстетики, не любил «дамских поделок». И что ей будет не просто убедить его признать ее сочинения.

И вот — он опубликовал ее стих! «Анна Г.» Какая еще «Г.»? Нет, она возьмет другой псевдоним, и не какой-то липовый — из личной родословной. Не замарает ваша дочь фамилию, господин капитан второго ранга в отставке. Никакой Горенки в поэзии не будет. И на мемориальной доске тоже. Ведь пожалеете, а?

Анна взвесила на ладони книгу, прибывшую в посылке вместе с журналом:

— Для путей конквистадоров не очень-то солидно, и тираж мизерный. Да и стихи слишком брутальные. Какое-то мальчишество! Снова дальние страны, отважные мужчины, завоеватели пленительных, жестоких женщин. Знаю, знаю! — усмехнулась она, закрыв книжечку. — Обольстительные стервы — его пунктик. Любовь к таким львицам конквистадор оплачивает жизнью. И ведь что интересно: это он меня такой представляет! И разумеется, в письме снова предложение руки и сердца — изнурительная осада! — Анна поставила книгу на этажерку рядом с многотомным «Агасфером» Эжена Сю. Когда-то здесь будут стоять и ее сборники. — А «конквистадор» поседеет, дожидаясь разрешения вопроса о девственности! — Анна хмыкнула: — Смешной!

В Киеве она поступила на высшие женские курсы, учиться на юриста. Стихам не учат. Они рождаются сами. Теперь она могла посылать письма Николаю в Париж, сопровождая их стихами. И он отвечал поэтическими посланиями и непременно призывом: «Выходи за меня. Ясно же — для нас другой дороги нет». Причем упорное соискательство руки и сердца Анны Горенко совершенно не было связано с успехами ее стихосложения. Если Николай и искал в Анне поэтического единомышленника, то теперь убедился: любителем женской поэзии он не станет.

Анна формулировала отказ расплывчато: мол, учебу нужно закончить, да и дела в семье плохи. Деньги надо зарабатывать. Полы и посуду своими руками мыть приходится. Бедная утонченная девочка! Если бы этот картавый «конквистадор» знал, мужчины какого ранга целуют ароматные руки черноволосой леди, когда увозят ее в самый дорогой ресторан над Днепром. Экипаж ждет в переулке, чтобы красотка могла выскользнуть из дома незаметно, закутавшись в черную накидку — не фланировать же по темным улочкам в тисненом бархате? А он уже ждет в напряженной темноте, и бородка, касающаяся ее руки под краешком отогнутой перчатки, надушенная, шелковистая. Нет, какая еще борода? Нежная, выбритая кожа артиста. И рот большой, мальчишеский. Жадный, страстный! Оцарапал губу о ее перстень, и в поцелуе вкус крови…

Ой, Анна, прекрати придумывать!

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

Когда будут написаны эти строки, признание о «слишком многих» не удивит Гумилева. Хотя за чтением последует оговорка:

— Это же стихи, Коленька. Фантазии. Так строфа легла. Ты поймешь, я была уверена. — Подобные оговорки прилагались почти к каждому стиху, взывающему к личным переживаниям, сугубо интимным ощущениям.

Гумилева поэтические опусы Анны не порадовали. Он решил, что это сочинение похоже на признание перезрелой кокотки. И лучше бы ей поменьше фантазировать: писать о реальном. Анна ответила, что фраза «слишком многих принимала» и впрямь навеяна подсмотренной в жизни сценой между седым господином и солидной дамой, ехавшими в фиакре.

С адресатом и временем написания стиха она после играла много. Посвящала его разным «опоздавшим», и они принимали признание со слезами умиления.

Глава 6
«И будет сладкая тревога Расти при имени твоем». Н.Г.

Я говорил: «Ты хочешь, хочешь?
Могу я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом твоим.

А я плачу за счастье много,
Мой дом — из звезд и песен дом,
И будет сладкая тревога
Расти при имени твоем.

И скажут: «Что он? Только скрипка,
Покорно плачущая, он,
Ее единая улыбка
Рождает этот дивный звон».

И скажут: «То луна и море,
Двояко отраженный свет, —
И после: — О какое горе,
Что женщины такой же нет!»

Но не ответив мне ни слова,
Она задумчиво прошла,
Она не сделала мне злого,
И жизнь по-прежнему светла…

Она свернула листок со стихами, засунула обратно в конверт. «Скоро целый ящик в столе наберется. Стенает, как девица… Какая-то слезливая любовь… Старше ее на три года, а совсем мальчишка. Только… Только такой не изменится. Про таких говорят — вечный ребенок. Замуж? И что мы с ним будем делать? Бесконечные дискуссии о поэзии и чтение новых шедевров… — Анна вздохнула: — Что за скука — эта любовь!»

Кажется странным, что Анна Ахматова — певица тончайших чувств высшего порядка, понимавшая сложнейшие нюансы в отношениях мужчины и женщины, — истинной, испепеляющей любви в бесчисленных своих романах не испытала. Не умела влюбляться, зато влюбляла в себя и создавала иллюзию у нового

возлюбленного, что он и есть номер один — главный герой ее жизни. Человек сильной воли, Анна Андреевна искусно использовала людей, а отработанный материал просто отбрасывала и забывала. Поэт могучего дара, она с блеском достоверности переносила на бумагу то, что порождала фантазия.

В преклонные годы вырвалась у Анны Андреевны странная оговорка: «Когда в 1910 году люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилева, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь…» Неожиданное признание для двадцатилетней благополучной девушки. «Большая и страшная жизнь» — разве в подтекст этой фразы, кроме известных нам не столь уж исключительных семейных невзгод, не входит нечто совсем иное, говорящее о превратностях женской судьбы, женском опыте, под известными фактами скрытом?

Судя по официальной биографии, большую и насыщенную женскую жизнь Анна прожила не до двадцати лет, а после — с 1910 по 1917 год, и это сломало определившийся путь, направило ее жизнь и поэзию в другое русло.

Но она говорит именно о страшной доле, выпавшей ей до двадцатилетнего возраста. А значит — с детства.

Глава 7
«А я была дерзкой, злой и веселой И вовсе не знала, что это — счастье». А.А.

Херсонес… Херсонес Таврический, или просто Херсонес, в византийское время — Херсон, в генуэзский период — Сарсона, в русских летописях — Корсунь, полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. В начале двадцатого века — излюбленное место российских отдыхающих. Синие бухты, развалины Старого городища, хранящего тайны истории, целебный воздух — приезжать сюда считалось хорошим тоном у тех, кому были не по карману курорты Средиземного моря.

Каждое лето семья Анны снимала дачу на берегу Балаклавской бухты. С семи до тринадцати лет «дикая девчонка» росла у моря. Жизнь вне моря была ожиданием, пустотой. Даже карандаш старшего брата, отмечавшего рост детей на дверном косяке, в эти месяцы удивленно останавливался на одной отметине: тело Анны замирало, как растеньице, затаившееся до прихода весны.

> Бухты изрезали гибкий берег, все паруса убежали в море,
> Я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне.
> В песок зарывала желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
> И уплывала далеко в море, на темных, теплых волнах лежала.
> Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом,
> И мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Херсонес — истинная любовь, тайна «колдуньи Анны», ловящей голоса веков, прозревающей картины давней истории в желто-золотистом отсвете пористого, пропитанного солнцем камня. Маленькая Аня шептала в камень с выеденным морем дуплом: «Я последняя херсонидка…» «Ты царица, царица», — вздыхало море откуда-то из глубины.

Едва приехав, Анна бежала к своему камню здороваться. И каждый раз море шептало все то же: «Херсонидка, царица».

Ей едва исполнилось десять — чуть обросшая после кори, с угловатыми движениями, молчаливая, Анна бросалась в воду, как в спасение. И становилась другой — царицей. Теперь за нее уже не сильно боялись и отпускали подальше. Кажется, всем стало ясно: море — ее стихия. Юркая и гибкая, как рыбка, девочка отдавала себя только ему. Море — друг. Не предаст, поддержит, а как чудесно ласкает и совсем не страшно накрывает с головой пенной волной, словно в жмурки играет. На таких пологих волнах с белым шипящим гребнем особенно приятно кататься — подплывешь к вершине и скользишь вниз по жидкому стеклу податливого склона. Плыть, плыть, перекатываясь с горки на горку, пока берег не станет узкой полоской. Тогда перевернуться на спину и качаться, слушая, как в ушах говорит вода. Если затихнуть и не шевелиться, то можно услышать музыку — особую, глубинную.

Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост…

…Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,
Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской…

Вынырнув, она перевернулась на спину, распласталась на качающейся зыби. Закрыла глаза, стараясь уловить переливы загадочной мелодии, которую напевало море, забравшись в уши… Вздрогнула — ее руки коснулось весло.

— Эй, малышка, тут крупные шхуны ходят, не заметят, что ты загораешь. Под винт попадешь — на куски порубит. А ну, придурошная, греби к берегу. — Парень сидел спиной к солнцу, очерчивающему темный силуэт с широкими плечами и взлохмаченной ветром головой.

— Спасатель нашелся. Я давно плаваю и все вижу и слышу. А если и не слышу, то ощущаю по запаху. Ты весь пропах рыбой и дегтем. И у тебя на руках якорь и еще буквы.

— Не мудрено, что рыбой за милю несет. Сгрузил на шхуну кефаль. На хозяина работаю, а он дерет три шкуры. — Сквозь слой воды он оценил длинное голубоватое девичье тело, светлый, в тени густых мокрых ресниц, взгляд. Глянула внимательно и строго — не определишь, сколько лет. Опасный взгляд.

— Чего смотришь? Уж не ведунья?

— Сирена. Моряков привораживаю. А кроме того — я последняя херсонидка.

— Это уже серьезно, — шутливо нахмурился парень, и Анна поняла: он не старше ее шестнадцатилетнего брата.

— Годков сколько тебе, сирена?

— Двенадцать, — соврала Анна. Цифра весомая, значительная. — И гадать умею. Это у меня от прабабки, татарской княжны. Хочешь, погадаю по руке?

— Ха, не рука, а одни мозоли. — Он обтер ладонь о рубашку и протянул к воде.

— Лучше я к тебе заберусь. Надо смотреть внимательно.

— Забирайся, покатаю!

Он помог ей, подтянув за плечи, перевалиться животом через борт и влезть в лодку. Зацепилась за гвоздь. Возле пупка, в разрыве мокрого ситца обозначилась ссадина. Он тронул ее пальцем:

— Заживет до свадьбы.

— И платье заштопается. — Сев напротив парня, Анна взяла крепкую ладонь, рассмотрела запястье. Прочла синие буквы под кожей «Мария». — Это твоя жена?

— Какая жена у нищего моряка? Да и нос у меня еще не дорос. «Святая Мария». Отец на старом суденышке плавал, затопили его уже, а имя осталось. Ты из здешних гречанок? С лица похожа, а говор городской, не местный.

— Моя семья здесь отдыхает.

— В платье плаваешь, как гречанка.

— Или как утопленница. — Скрутив, Анна отжала ситцевый подол. — Противно наряжаться, как эти принцессы на горошине, что вон в тех белых дачах живут. Расфуфырятся, как на бал, войдут по колено и визжат: «Поплавали!» У меня свои отношения с морем. Личные…

> «Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка,
> А я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это — счастье»,

— это она напишет позже. И верно: детство у моря — сплошное счастье, но о счастье не знаешь — им дышишь, живешь.

— Ты отчаянная.

Анна встряхнула короткими волосами, разбрасывая веер брызг.

— Трясешься, не хуже пса, — засмеялся рыбак. — Я думал, ты в шапке плаваешь!

— Это у меня волосы после кори так отрастают. Густые, как шерсть у Черноморда, который у причала промышляет. Рыбку, что ему кидают, прямо целиком заглатывает!

— Густые и шелковые. — Он потрогал ее волосы. — Ты со всеми целуешься? Губы вспухшие.

— Дурак, это от воды, и глаза красные. Ни с кем я не целовалась. И нечего меня трогать. У нас воспитание строгое. Вон отец машет, кулаки показывает. Испугался? Он не какой-то там рыбак — капитан второго ранга.

— В отставке — одет в штатское. Но усищи… Выдерет тебя как пить дать, да и мне достанется. Высажу-ка я тебя, русалка, на пирсе.

— Давай подгреби к тому камню — пусть здесь ловит свою морскую дочь. — Анна ловко вскарабкалась по уступам огромного пористого валуна, поднявшего из воды тяжелую медвежью голову недалеко от берега. — Взрослые вечно все портят…

Моряк посмотрел на ее узкий задик, обтянутый мокрым платьем, быстрые длинные ноги, почти плоскую, едва набухающую грудь и усмехнулся:

— Ну, расти большая. Может, еще и свидимся.

…И потом еще три лета она высматривала его в каждой лодке. Появился, когда ей исполнилось тринадцать — день в день!

Просто подошел сзади и тронул за плечо:

— Привет, херсонидка. Выросла — не узнать. Грива как у коня — до пояса.

— Высушивать косы не успеваю. — Она смотрела на него, и казалось, вот оно, счастье. Синее глаз в мире быть не может, и весь он такой, что только зажмуриться и броситься с высоты, а его загорелые руки пусть ловят. А губы… губы целуют.

Он смутился под ее взглядом, закурил самокрутку.

— А хочешь, я тебе старый город покажу? Приходи вечером к причалу. Мама не заругает?

— Я вполне самостоятельный человек. Месяц назад мне исполнилось шестнадцать, — снова соврала она.

…Прогулка по старому городу могла бы длиться вечность. А возможно, и длилась больше вечности — от самого херсонесского царствования.

— Есть хочу жутко. — Анна погладила впавший живот. Из харчевни рядом пахло жареной рыбой. Морскую рыбу ели херсониды, и ничего лучше до сих пор человечество не придумало.

— Пошли! Вот я дурень! Акулий клык — это Пашку так с

детства прозвали, когда зуб впереди поперек вырос, — лучший на побережье повар. — Голубой глаз подмигнул. — Потому что с меня денег не берет!

Жареная барабулька — самое вкусное блюдо в мире. Целую сковороду уплели и улизнули в темные узкие проулочки.

Ее новый знакомый знал здесь каждую нору. Казалось: это все его — тут родился, тут вырос. Рассказывал всякие древние истории. А может, и наплел с три короба. Про царицу Херсонского царства знал много. Только получалось, что поглотили ее волны — спасли от бесчестья, когда обступили крепость варвары. А любимый жених, царевич, погиб от меча злодея. Кровавая вода омывала его мертвое тело, да так и унесла в море — к невесте.

Поцелуй пах жареной рыбой и темным молодым вином, что принес им Клык в пыльной бутыли. Анна хотела вытереть губы ладонью и передумала:

— Пусть останется, как печать счастья. Я буду беречь ее всю жизнь.

Целовались прямо у моря, лежа на теплой гальке у перевернутой лодки. Она вытягивалась, закинув руки и отдавая ему всю себя. Как морю.

А он — таких больше не было. Не могло быть…

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись пред тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсу,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит

Их протянутой рукой.
Все сильней биенье крови
В теле, раненном тоской…

Она теперь не ходила — летала, и моряки сворачивали шеи. А ночью они снова были вместе с «царевичем». Заплыв на камень в километре от берега — на свой остров, лежали, смотрели в черное небо на теплом еще от солнца песчанике. Поцелуи моря и его — не разобрать, и не надо. Он — море. Море — его ласка.

Об этой истории Анна написала в заветной тетрадке. И никогда больше родители не привозили ее в Херсонес. Увезли на следующий же день от греха подальше.

Он искал ее в море и в городке. И еще долго, долго ждал, щурясь на сверкающую морскую гладь — не вынырнет ли из воды лаковая черная голова и не сверкнут ли из-под стрелок мокрых ресниц строгие глаза.

Глава 8
«Ты письмо мое, милый, не комкай До конца его, друг, прочти». А.А.

Переписка с Парижем шла регулярно. Радостные отчеты Николая о его завоеваниях Анна рвала и выбрасывала, с трудом подавляя завистливую горечь. Она переживала трудное время. Похоронила любимую сестру Инну, призрак туберкулеза подобрался ближе: теперь он охотился за ней. Она долго и тяжело болела бронхитом с осложнением, грозящим перейти в горловую чахотку. Испуганная мать весной увезла дочь в Севастополь в водолечебницу Шмидта, где, как говорили, весьма часто помогали при подобном диагнозе. И похоже, помогли. Девушка окрепла, чахотка отступила. Но безумный страх потерять жизнь засел глубоко внутри — словно ледышку проглотила, и она никак не может растаять.

В те темные месяцы предумирания, в ознобе приближавшейся смертельной болезни тело хотело жить, ох как оно хотело — юное и сильное, обреченное гнить в земле.

«Раздам, раздам всем. Молодость, силу, злую решительность…»

Она шла по вечерней набережной, ловила взгляды проходящих мужчин. Стройных и грузных, молчаливых и болтливых — ей все равно, лишь бы были жадные, голодные. Утолить, напоить собой, чтобы помнили, всегда помнили, когда ее уже не будет. Легко сказать… Верней — подумать.

…Проводив мать с остальными детьми в Киев, Анна осталась до осени жить одна в пустой теткиной квартире. Плавала, кормила полосатую тощую кошку купленными на базаре бычками, стирала пыль с глянцевых листов фикуса, читала французские романы, завалявшиеся в теткином комоде, грезила о любви. Получала письма от Николая…

Воображает из себя много, но забавный и умница. Влюблен до смерти. Издали он даже хорош. А вблизи его картавость и косящий глаз, его туманные речи и хватанье за руку в порыве чувств, затяжные прогулки с бесконечными монологами о поэзии — все это просто бесит! Разве так в романах? Когда «сердце останавливается, и ты готова отдать всю себя без остатка его губам, рукам…» «Стать женщиной в объятиях любимого…» От одной мысли дух захватывало. Довольно грезить о поцелуях загорелых херсонесских моряков. Жизнь, висевшая на волоске чуть не всю зиму, казалась хрупкой, быстротечной. Семнадцать —

возраст мистический. Особенно если в глубине души обитает страх, что этот твой год — последний. Дух и тело Анны как бы обособились. Мечты и фантазии обретали статус реальности. Ты уже не ты, а некое высшее существо, гибким шагом пантеры несущее свое юное, морем обласканное тело своему избраннику…

Соблазн следовал за ней, за бьющимся о щиколотки мокрым подолом, за босыми загорелыми ступнями. Талию в два обхвата овевал ветер, играя в смоляных волосах.

Такие девчонки в семнадцать лет — сплошное головокружение… Смуглая, вызолоченная загаром кожа, длинные ноги, гибкие длинные руки, узкое тело, облепленное цветастым ситцевым платьем. С балкона гостиницы он видел, как девушка отжимает длинные волосы, скручивая тугим узлом, а потом вольным взмахом головы отпускает их на волю соленого ветерка. Будто молодая норовистая кобылка гривой встряхивает!

Вокруг лампы гостиничного номера кружили мухи, ветер шелестел газетой, приколотой к южному окну. Жарко. И ни копья на бутылку вина! Денег от этой стервы, видать, не дождешься, хоть три раза в день на почту бегай. Хорошо, билет до Одессы в кармане. Надеть бы сейчас полосатое клоунское трико, подклеить сизый нос и выскочить на пустую площадь! Ничего, зрители набегут! Ведь у рыжего Боба есть волшебная дудочка, высвистывающая разные мелодии. А кобылка с черной гривой будет стоять в первом ряду и пялиться на его бицепсы. Нешуточные накачал, когда «работал воздух».

Она заметила, что он наблюдает за ней с балкона дешевой гостиницы, пристроившейся в том месте, где набережная давно уже превратилась в дикий пляж. Коренастый крепыш, ворот мятой, некогда белой рубахи распахнут, открывая крепкую шею… Ветер треплет широкие парусиновые брюки и рыжеватые, выгоревшие прядями волосы.

Вечером она снова пришла на это место. Плавала до горизонта, прямо к заходящему солнцу, резвилась в легких волнах. Он сидел на тумбе причала, скрывая лицо за листами газеты. Сильные руки в светлых волосках, ухватистые простонародные кисти. Явно косился в ее сторону, придумывая повод познакомиться. Хорошо же! Анна вышла из воды, потянулась, закинув руки, изогнулась петлей, прижав ступни к затылку. А потом перешла на «мостик» и шпагат — так, играючи. Солнце уже село, уйдя за край бухты, на берегу никого не было. Пусть глазеет. И даже приятно, что так и замер, не отрывая черных, глубоких и хищных глаз.

Она распласталась на теплой еще гальке. Камни хрустнули.

Кто-то сел рядом.

— Прошу прощения, мадмуазель, за беспокойство… — В тихом голосе еле заметен немецкий или прибалтийский акцент. — Разрешите представиться: Рыжий Боб. Я здесь работал и застрял по независящим от меня обстоятельствам. — Он зыркнул по сторонам как-то затравленно. — На шерсть мою глядишь? — Он протянул перед собой поросшие рыжим волосом руки. — Это знаешь отчего? — Глаза Боба стали хитрыми. Пригнувшись к Анне, он прошептал: — У нас говорят, что моя мамка, царствие ей небесное, зачала от гориллы… Чего смеешься? Очень даже научный факт. — Он поймал ее за руку: — Да постой, не уходи. Пошутил я. Дело-то тут совсем в другом…

Анна села, повернула к нему лицо и тут же нырнула в «омут его глаз» — так писали в романах. Она погрузилась в черные точки зрачков как привороженная. Заметила лучики морщинок, рыжие редкие ресницы, почему-то напомнившие о рыси, но вовсе не о гориллах. И тоску потаенную, спрятанную, такую — хоть в петлю лезь — тоже заметила.

— Дела идут плохо?

— Дело-то одно, наиважнейшее — ты. Зовут как?

— Анна. Лечилась в санатории. Скоро уезжаю.

— Руку! — Он встал, протянул ей ладонь и властно поднял. — Алле! Я уезжаю завтра. Сейчас ты пойдешь со мной. Гостиница рядом. Ничего не говори, я знаю, так надо. Не вздумай переодеваться — платье почти высохло. А это я захвачу, — он сунул за пазуху ее льняной прогулочный сарафанчик, расстеленный на камнях. — Ничего не говори — молчок!

Сердце бухнуло колоколом. Бежать? Но она подчинилась, словно давно ждала этого голоса и приказа: «Так надо!»

Натянула ремешки босоножек, держа его под локоть, одернула влажное, прилипающее к телу платье. Так и вошла в гостиницу. В пропахшем тушеной капустой полуподвальном ресторанчике пиликала скрипка, шаткая лестница вела наверх. Он сделал ей знак подождать и отвернулся к пробегавшему мимо с подносом парню. Что-то шепнул, снял с пальца и отдал узкое кольцо. Парень потер кольцо о фартук, прикусил на зуб и кивнул. Рыжий Боб подмигнул Анне, подхватил ее под руку, и она потеряла вес. Словно ветром сдуло ее в иное измерение, где и слова и чувства были другими: грех, страсть, наслаждение.

Принесенное парнем красное вино «Изабелла» навсегда запечатлелось в памяти как нечто исключительно важное, как знак судьбы.

Его мускулистые руки, плотное, потное тело оказались легкими, летучими, будто они оба парили в облаке.

— Не предупредила, киса… — Он закурил вонючую папиросу. Кинул измятую пачку на стол. — Да я и сам знал, что ты нетронутая. Знал, потому так меня скрутило — двое суток ни сесть, ни лечь, только жар в паху. Такие вот дела… Спи. — Он затянулся в последний раз, загасил окурок в тарелке с разводами засохшего соуса, отвернулся, натянул на голову простыню. И, успев шепнуть: — Это от мух, — захрапел.

Спать? В комнате, где еще не погасли синие вечерние сумерки? Свершилось. Она нашла Его, и этого похрапывающего самца ей суждено любить всю жизнь. Единственного. Потому что сделал ее женщиной? Тоже — событие!.. Странно. Чужой и нелюбимый. Хрюкает легонько толстыми губами. Кто-то сильно врет в этих романах.

Она смотрела на темную гладь воды за распахнутой балконной дверью и чувствовала, как опускается на побережье прохладная бархатная ночь. Вот он — единственный любовник — море! Курить здесь врачи всем запретили настрого. Да она и не собиралась — противно как-то. Глупости. Теперь все будет по-другому. Вытащила папиросу из мятой пачки, лежавшей на столе. Неумело прикурила, вышла на балкон, кашляя. Прикрыть чем-то наготу и мысли не было — от моря скрывать нечего. По ноге скользнула капля крови — жертвоприношение в обряде посвящения в женщины.

— Не спишь? — Он тронул ее за бедра, подкравшись сзади. Взял из ее руки папиросу, глубоко затянулся и откинул далеко в камни потускневшего светлячка. — Стемнело. Алле! — Подхватил ее на руки, набросив на ходу простыню, вихрем, одним махом, унес на берег и, твердо ступая по скользкой гальке, вошел в воду. Море приняло их как одно тело. Анна снова стала женщиной, и еще, и еще раз, превращаясь в настоящую, кипящую страстью Ундину. Вот они какие — слитые с мужчиной и с морем в акте наслаждения Девы моря…

На них смотрели высыпавшие крупные звезды. И еще парень, получивший от постояльца золотое кольцо — достаточную плату, чтобы стать глухим и слепым и не замечать, как двое, едва замотавшись в простыню, сбежали к воде. И словно пропали, растворившись в ее черноте. Лишь лунная дорожка дрожала мириадами блесток.

«Изабеллу» она больше не пила… Потому что утром он учтиво поцеловал ее руку:

— Если позволите, я напишу вам.

Солнце лежало на смятой постели, на разметанных волосах Анны. На истоптанном половичке стоял коренастый мужчина в смешных лаковых туфлях с загнувшимися носами, с потертым, в

облезлых наклейках иностранных отелей, чемоданчиком. Рыжие патлы приглажены, немолодое лицо чуть скривилось — то ли слезы, то ли смех, и вдруг… Анна ойкнула: по левой щеке ее Единственного к опущенному трагически уголку губ побежали слезы. А правая — с веселым рысьим глазом, смеялась оскалом пухлого рта!

— Ну вот, рассмешил! Запомни, у жизни всегда две стороны — одна плачет, другая смеется.

— Глаза не черные, а желтые, хищные.

— Я тебя рассмешил, так и запомни. Я отличный клоун.

— Клоун?

— Не столь важно, мадемуазель. Всегда кто-то клоун, кто-то зритель. Кто-то в центре манежа, а кто-то — толпа. Все. Побежал! Я уже опаздываю на мальпост.

Она как сомнамбула смотрела на лаковые носки его туфель. Потом вскочила, натянула льняной сарафан, расправленный на спинке стула, — он не забыл приготовить ее наряд.

— Проводы отменяются. Я напишу вам, мадемуазель. — Он сделал реверанс и открыл дверь. Анна бросилась наперерез, встала в проеме, схватившись за косяки.

— Сколько?!

— Что «сколько»? Ха! — Он подмигнул. — Похожа на распятие. Прости меня, Господи.

— Сколько я должна ждать? Ждать письма?

Он засмеялся, закинув голову, заходил под смуглой кожей кадык.

— Жди ответа, как соловей лета! Так пишут на открытках с голубками. — И поняв, что девчонка близка к обмороку от его шутки, потрепал ее длинные, спутанные волосы. — Думаю, из тебя выйдет толк. Я видел, как ты плаваешь и ныряешь с камня. В тебе есть кураж, есть стержень. Стержень — это главное! Ты не зритель — ты тот, кто в центре. Только не в моем цирке. Дела идут скверно. Луиза, моя гражданская, ждет второго. — Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза: — Отчаянная! Будут у тебя еще принцы, Русалочка.

И никогда, никогда больше… Никогда она не видела свою единственную любовь.

Только в тот же день у станции мальпостов мелькнула рыжая всклокоченная голова. Анна замахала руками молча — горло перехватило. Он пробежал окрест рассеянным взглядом, словно не заметил ее. Или вправду не узнал? А может, узнал и плакал потом всю дорогу одним левым глазом, повернутым к окну, чтобы не видели пассажиры, сидевшие рядом?

Неделю Анна ждала письма, с каждым днем теряя надежду.

Однажды жалкий обломок надежды превратился в шипящую злость. Поскорее сбежать, убить чары, заполонившие ее тело. Ведь в каждой частице того, что составляло Анну, жил он. Для нее самой не осталось места. Погоди же, мой единственный! Она сняла бельевую веревку с балкона, неумело, несколько раз переделывая, увязала петлю. Жаль, крюка для люстры нет — вместо него выгоревший облупленный медальон, изображающий резвящихся ангелочков. Забить надо в потолок гвоздь побольше. Подтащила стол, втянула на него табуретку. Мелькнула мысль: почему повешенный должен висеть непременно в центре? Ответила себе голосом рыжего: «последняя гастроль, герой в центре манежа». Встала на табуретку, прицелилась молотком к гвоздю. Пара ударов, и куски штукатурки посыпались ей прямо в лицо — ангел лишился половины щеки. К чертям трухлявый потолок, шаткую табуретку, противный, под синей плюшевой скатертью стол, похожий на гроб! Совсем ведь просто — острый нож и голубые ручейки вен. Она нашла его на кухне и протянула над раковиной со сбитой эмалью дрожащие руки. Спешила очень, но заметила: нож ржавый, пахнет рыбой, даже чешуйки к деревянной ручке пристали… Ее стошнило. Противно. Не так. Все не так. И душит что-то, подпирает, не вздохнуть… Жалко — себя жалко! Вот этих бьющихся жилок, этой загоревшей кожи, пахнущей его табаком…

Схватила синюю тетрадь — на белые листы хлынула волна слов, только успевай записывать. Отпустило. Вздохнула полной грудью. Писала всю ночь. Страниц не хватило, писала на голубых листках теткиного почтового набора и уснула, уронив на исписанную бумагу счастливое лицо.

А на рассвете, на том месте пляжа, где были они вдвоем, нагребла веток и сухих водорослей. Солнце всходило за холмом справа, мир был тих и нежен. Огонь блеклый, прозрачный, нехотя поедал тетрадь и листки. Кучка золы. Все. Это и есть смерть. Это и есть похороны. Похороны той Анны, которую никогда и никто не узнает.

Через полвека она вспомнит это аутодафе:

Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звездных стай осколки
И под тобою угольки костра.
Как ты молила, как ты жить хотела,
Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твое затрепетало тело,
А голос, улетая, клял меня…

Еще три года ежедневно ходила она на почту, как на кладбище надежды — не за письмом, а помянуть навсегда канувшего в благодать Вселенной Единственного…

Анна зажмурилась: сны становились явью, явь — снами и стихами. А быль или небыль — разве можно понять это про то, что сочинено не тобой, а продиктовано Свыше?

…Что рассказать Николаю? Как объяснить, что она никогда не сможет быть с ним такой, как он хочет? И не важно, кто был первым, а кто вторым, — все были другими. И не грех это вовсе, если к юному телу прикоснулась мечта.

«Пусть не запятнано ложе царицы, грешные к ней прикасались мечты…» — догадывается бескомпромиссный Гумилев. Прикосновение мечты уязвляло его гордость, истязало ревностью больше, чем имя конкретного соперника. Он-то знал, что мечта ярче и сильнее любой реальности.

Приближалась осень. Пора было возвращаться в Киев, учить латынь, законодательство, посещать эти нудные курсы, получать письма от Гумилева. Она станет прежней Анной. Никто не узнает, как бегала каждый день на почту, как вбивала в штукатурку гвоздь и стояла над раковиной с кухонным ножом. Только синяя тетрадь приняла исповедь о первой, испепеляющей любви к мужчине иного — бродяжьего племени. И еще стихи о том, что суждено этой первой любви стать единственной.

Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.

Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.

Закрой эту черную рану
Покровом вечерней тьмы,
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы…

И без того не отличавшаяся веселостью, она стала похожа на монашку, готовящуюся к постригу. О депрессии тогда рассуждали

мало. Говорили: «впала в меланхолию», «мается сплином».

Купив дешевых папирос, Анна надолго уходила к морю. Ветер уносил дым, трепал волосы. Но не осушал слезы — Анна не плакала. Уезжать совсем не хотелось. Будто здесь был дом, в который должен вернуться тот, кого всегда ждешь.

…Я с рыбаками дружбу водила.
Под опрокинутой лодкой часто
Во время ливня с ними сидела,
Про море слушала, запоминала,
Каждому слову тайно веря…

Глава 9
«Царица — иль, может быть, только капризный ребенок, Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда…» Н.Г.

Шли последние дни севастопольских «каникул». Анна твердо решила, что в воскресенье уедет в Киев. Море еще теплое и невероятно ласковое. Вода возвращала память о той ночи. Но уже далекую, покрывшуюся патиной забвения — как память о древней херсонидке, поглощенной пучиной много веков назад.

Однажды, отдыхая от заплыва, она еще издали увидела элегантного господина в белом костюме, соломенной шляпе, направлявшегося к ней. Вдруг вскипела и тут же умерла радость. Другой. Неся портфель и шаря тросточкой в крупной гальке, мужчина крутил шеей в высоком воротнике, словно пытаясь освободиться от зловещей удавки.

— Николай! — Она поспешила выбросить папиросу, поднялась, замахала руками. — Сюда…

Прибыв в Севастополь, Гумилев поселился в гостинице. Он направлялся в Париж, кроме того, вез Анне в подарок написанную только что пьесу «Шут короля Батиньоля».

Отъезд Анны в Киев пришлось перенести. Две недели Николай провел возле нее, не очень-то замечая ее рассеянную отстраненность. Он всегда был слишком сосредоточен на себе, чтобы замечать такие пустяки. Сделать ему предстояло многое. Первое: получить наконец согласие на брак, второе: преподнести в качестве подарка к обручению посвященную Анне пьесу, третье: заманить с собой в Париж. Непростые задачи. Время шло — прогулки, разговоры о литературе и литераторах. Николай обладал удивительно точным литературным вкусом, а его знание поэзии удивляло опытных знатоков. Анна слушала механически. Но «лекции» Гумилева касались того, что больше всего на свете интересовало ее, — стихосложения. Память работала с точностью магнитофона — все это еще пригодится ей.

И вот — кончились приморские каникулы. Николаю пора уезжать. Последний вечер должен был решить все…

Они уселись у воды на выброшенную морем корягу. Прямо у горизонта тонуло солнце, посылая всему миру, словно благословение, розово-золотой веер лучей.

Анна выглядела настоящей морской девчонкой — косы, не

успевавшие просыхать, пропахли морем, горбинка на носу блестела, как отполированное драгоценное дерево, кожа, вызолоченная загаром, светилась. Глаза на потемневшем лице стали совсем светлыми — серебряными, будто расплавленная тоска.

— Тебе идет печаль. Выглядишь стильно: туземный цвет кожи, лицо словно высечено из розового дерева. И эта гордая, неземной прелести фигура… — Он приглядывался к ней, не смея уловить нечто новое.

В белом парижском костюме последнего фасона — мятом и широком, в надвинутом на лоб соломенном канотье, Николай смотрелся странно рядом с этой растрепой.

Он приподнял рукав ее легкого, чуть не добела выгоревшего платья.

— Даже плечо загорело. Как это тебе удалось? Загорала «ню»? — Усмешка, похожая на ревность, мелькнула на его лице. Догадался?

— Вышло очень просто. Я выросла на море. Плаваю как рыба. Далеко, аж берега не видно. Лягу на воду и отдыхаю, потом верчусь волчком, взбивая пену так, что голова идет кругом, и не поймешь, где небо, где море… А эти светские клуши, — она кивнула на солярий для дам, приходящих из дач и санаториев, — принимают солнечные ванны в полных доспехах и чепчиках, потом зайдут в воду на три шага и приседают с кряканьем! Эта процедура называется «принятие морских ванн»!

— А как называется ваша процедура, Ундина?

— Свидание с морем! С пирса бросаюсь головой вниз, как в объятия, в столбе солнечных брызг. Полет — и рассекаю тугую ласковую воду… Если на камень попаду… Значит, так надо. Вытащат, похоронят.

— Что за глупые шутки! Я всегда знал: море — твое царство. Но выделывать такие штучки на людях… Мы не в шапито… — Он оглядел почти пустынный пляж. Две-три пары прогуливались по верхней тропинке. — На тебя же все смотрят, когда ты демонстрируешь свои трюки…

— Это не трюки… Это моя жизнь. — Анна вытерла рукой мокрый нос, из которого капала морская вода. — Я выросла на воде. Каждое лето — в море, каждый день — распухшие от воды глаза, и струйки воды из носа до ночи текут! По-моему, не слишком привлекательно! И кстати, никого это не интересует.

— Постой! А твой купальный костюм?

— Смеешься, Коля? Какой «костюм»? Вот это выгоревшее ситцевое платьице. Я прячу его после купания в камнях и переодеваюсь в сухое — вполне приличное. Благопристойно и

строго. Разве не заметил?

— По… по… погодите! — Он побагровел. — Пгаваете в этих госкутах, натянутых на гогое тего?! — Пораженный открытием, Николай грассировал с удвоенным усердием.

— Нет, в корсете на китовом усе! — огрызнулась Анна. — И в шлеме из резины. — Она пересела подальше от шокированного кавалера, словно боясь замарать его костюм, и посмотрела с интересом: — Не пойму, Николай Степанович, вам Ундина нужна или светская курица? Хотите, покажу сейчас всем желающим «змейку»? Вы же знаете, я могу.

— Постойте… Что за чушь! Гордая женщина, моя царица — целомудренна и неприступна! Аристократки не плавают голыми! Не развлекает толпу акробатикой! — От волнения его высокий лоб покрылся крупными каплями пота. Губы дрожали. Казалось, еще мгновение — и он ударит ее.

— Прекрати рассуждать, как деревенский старик, — холодно остановила пыл жениха Анна. — Забыл, что на дворе двадцатый век? Женщины носят брюки и летают на аэропланах! Роденом восхищается весь мир!

Николай крепко сжал узкое запястье Анны.

— Не заговаривайте мне зубы эмансипацией. Говорите прямо: кто был у вас до меня? К таким распущенным девчонкам липнут почем зря!

— Да, я — приморская девчонка. И горжусь этим. Не понимаю только, почему вы выбрали именно меня? Вон сколько достойных дам загорают в полном облачении и никого не соблазняют ситцевым платьишком.

— Анна! — он вскочил, сжал кулаки, — довольно сказок. Вы должны наконец все мне рассказать!

— Может, хватит об этом? Нелепые разбирательства для нашего свободного века.

— Я хочу сделать вас своей женой! А *моя* жена — это хрустальная, незапятнанная дева!

— О, как вы меня бесите своими домостроевскими взглядами! — Она вскочила, стряхнув с юбки горсть плоских голышей, собранных, чтобы забрасывать стежками в тихую воду. Хотела убежать, но засмотрелась на игру дельфинов: — Смотри, дельфины! Они играют стайкой. Однажды я плавала с ними. А за мной наблюдал один человек… Один очень смешной человек… Очень-очень… — Она рванулась и побежала вдоль воды, увязая в гальке: — Не верь — все выдумала!

— Послушайте же, Анна! Это серьезно! Сейчас вы наконец дадите согласие стать моей женой, и мы вместе уедем в Париж. А в подарок к помолвке я написал посвященную вам пьесу. — Он

достал папку с листками. — Вы себя здесь сразу узнаете.

Анна раскрыла листки и пробежала глазами список действующих лиц:

— Шут — это точно не для меня. Голубоглазый король… Ну, эту роль я найду кому поручить. А вот — Куртизанка! Меня описал? Не отпирайся, я твои игры давно раскусила. — Она легла на теплую гальку, раскинула руки, подняла глаза к небу: — Картина называется «Невинная куртизанка ждет очищения от грехов». Ты это ждал?

Он подошел к ней, заслонив косые лучи солнца:

— Прекрати беситься, скажи правду: да или нет? Только одно слово! Кто был твоим любовником?

— Да разве их перечислишь! — Она села, обхватила колени руками, вскинула ресницы с вызовом. — Волны целовали меня, на меня заглядывались загорелые моряки, меня ласкал соленый ветер, а море — о… разве мы с ним не были близки?

— Ты водишь меня за нос, чертовка, ведьма!

— Катись-ка лучше к невинным девочкам со своими соблазнительными куртизанками и пьесами! — Анна взметнула к небу странички пьесы, и ветер унес их в море. Словно белые розы, они качались на мелких волнах и, тяжелея, тонули.

Странна белая роза
В тихой вечерней прохладе…
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?

Глава 10
«О, убейте меня, о, повесьте, Забросайте камнями, как пса, задавите!» Н.Г.

В поезде, возвращаясь в Париж, Николай писал горячечно, опережая перестук колес и сердца:

> …Сбегающий сумрак, какая-то крикнула птица,
> И вот перед ней замелькали во влаге дельфины.
> Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
> Они предлагали свои глянцевитые спины…

Стихи назывались «Отказ» и завершались печальной зарисовкой оставленной на берегу «неневесты»:

> …Царица — иль, может быть, только капризный ребенок,
> Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда…

Все же он понял эту бессильную муку взгляда Анны. Хотя и вообразить бы не смог ее на табурете под вбитым гвоздем и не знал, что горькая и совсем близкая дорога, предназначенная ему, недавно была пройдена ею.

Итак — снова Париж. И к чему он ему теперь? Жить незачем. Вдобавок — ни гроша. Все деньги, выданные матерью, истрачены на поездку в Севастополь. Последняя чашка кофе за столиком на бульваре и — вперед! Красивая смерть в пучине волн, о такой только можно мечтать. Он перегнулся через парапет, бросая чайкам в Сене остаток круассана. По бурой воде скользили трамвайчики, оставляя на поверхности бензиновые разводы. Нет, смерть в такой воде может устроить лишь клошара.

Николай пешком направился в Нормандию, воображая, как прыгнет с утеса в синюю, бездонную бухту. Увы, Гумилева арестовали за бродяжничество и вернули в Париж. Там он занял денег у ростовщика и поехал… Куда же? Его, словно зомби, вновь манила к себе Анна, к тому времени вернувшаяся в Киев.

Она пришла с занятий на курсах и увидела перевернутое

лицо сидевшего за столом Гумилева. Вспыхнула от бешенства, швырнула на диван сумку с тетрадями, приняла боевую стойку: подбоченилась, выпятив правое бедро:

— Да вы что — взялись следить за мной? Поджидали меня дома, чтобы наконец узнать, кто я?! И как живу. Небогато, верно?

— Я тоже нищий.

— Это, пожалуй, повод, чтобы пожениться. Станем ходить с котомками и петь под окнами за ради Христа. Я буду делать «змейку» и предсказывать будущее. Или искать воду для колодцев. Прутиком — я умею! Со мной не пропадете!

— Вы снова мучаете меня… Снова не хотите сказать правду!

— Ах, это… — Анна села, забросила ногу на ногу, обтянув колено тонким синим крепом. Закурила дешевую папиросу. Лихо выпустила дым. — Хорошо. У меня был мужчина. Умный, тонкий, деликатный. И вот тут на руке наколка — якорь и женское имя. Бравый моряк. А потом еще, и еще один… Да стоит ли об этом?.. И к тому же я курю!

Николай превратился в соляной столб, и если бы в те дни была мода на разрывы сердца, умер бы на месте. Бледный, как полотно, упавшие руки… Анна не выдержала:

— Прекрати истерику! Никого у меня не было! Я выдумала якорь и моряка. Я не пойму, что тебе надо — кающуюся блудницу?

— Правду, — с пересохшим горлом просипел он. — Только ее я никогда не узнаю. — И он ушел, не оглядываясь. Прямой и немного деревянный, как всегда после встречи с Анной, раненный в сердце. Господи, в который же раз?

Но теперь — кончено! Терпение исчерпано. И юмор, и надежда, и вера в себя.

Тоска навалилась, сжимает грудь. Только не вспоминать ее вытянувшееся на камнях тело в мокром платьице… Не вспоминать никогда. Попросту — раствориться. Вот так: был, и нету…

Что он такое? Чистый фантом! Придуманное существо с начинкой крутого парня и в обличье денди. Мамин сынок, обожающий сочинять страшные приключения и душераздирающие истории. Этот нос, косоватость, картавость — да они с детства загнали его в угол, как зверька, заставляя щериться, воображать себя отважным капитаном в высоких ботфортах, с манжетами из брабантских кружев! Как лихо он рвал из-за пояса пистолет, усмиряя бунт на борту своей шхуны, какие красотки заглядывались на него в каждом порту! Порту, пропитанном опасностью и томлением. Он с дрожью отвращения проходил мимо бронзовых торсов работяг, ловя мускусный запах

натруженных тел. Он искал. Избороздив океаны, исколесив континенты — в горах и на волнах, в хижинах и во дворцах искал свою Еву. Он узнал бы ее сразу — Ева одна. И она предназначена только ему. Тогда, в Сочельник 1903 года, Рок свел его с ней у Гостиного Двора и сразу связал навеки! Теперь стало ясно: смысл жизни в этой светлоглазой колдунье. Приручить дикарку, околдовать своими рассказами, опьянить страстью… Правда, про последнее он знал мало. Теория сводилась к пронзительным стихам — они так и лились. А практика — не стоит и упоминать. Ближние решили: Николай влюблен до умопомешательства, причем пожизненно. А он знал только головокружение и дрожание рук, охватывающее вблизи нее, знал свет ее лица, преследовавший всюду. И еще — клокочущую, неусмиримую ярость при мысли о том, что она — не Она! Что обознался, ошибся, не для него она рождена на свет, не ему предназначена. Он бился о загадки Анны, как об стену, изнемогая, теряя силы, гордость, последнюю веру в себя. Безумие охватывало все больше, не давая дышать, думать… Все. Точка. В дешевой гостинице на окраине Парижа закончится эта история.

Он освободит себя от нее — выметет «мусор», проветрит комнаты, заживет с чистого листа! Двадцать один — не конец света.

Николай вскочил, распахнул окно, дохнувшее автомобильной гарью.

«Королева или капризный ребенок» — билось в висках… И ее узкое тело, призывно распластанное на камнях… Черт! Черт! Черт! Освободиться не удалось. Анна приворожила его. Яд оказался смертельным.

Сев за шаткий столик дешевого гостиничного номера, на шершавом листке с грубым вензелем «Отель «Парижский гость» он написал:

На камине свеча догорала, мигая,
Отвечая дрожаньем случайному звуку.
Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.

Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
Об обрывках давно миновавших событий,
И шептал: «О, убейте меня, о, повесьте,
Забросайте камнями, как пса, задавите!»

…Несколькими днями позже за столиком парижского кафе элегантный молодой мужчина, довольно известный поэт Гумилев,

рассказал своему визави, полноватому господину с кудрявой шевелюрой, литератору Алексею Толстому, презабавный случай. Длинную, печальную, художественно окрашенную в небесные тона историю. Историю своей смерти.

Итак, он приговорил себя к смерти. Путь выбрал самый простой. Ушел, продираясь сквозь кусты, подальше в лес, ощупывая постоянно нагрудный карман пиджака, хранивший заветный пузырек. В нем Николай уже год носил кусок цианистого калия, способного свести счеты с жизнью в предельно короткий срок.

— Я снял воротник и высыпал яд на ладонь. Знал, что как только брошу его с ладони в рот, мгновенно настанет неизвестное… Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всех сил к губам… Помню шершавый вкус яда… И стал ждать угасания. Но оно не наступило… Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом я приподнялся и огляделся. Увидел, что сижу на траве наверху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валяются воротник и галстук…

— Осечка! — отметил Толстой. — Поздравляю. — Насмешливыми, внимательными глазами он наблюдал за собеседником. Потом он напишет: «Гумилев говорил глуховатым, медленным голосом. Прямой, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский с нежной и ласковой улыбкой…

Теперь окидываю взглядом его жизнь. Смерть всегда была возле него, думаю, его возбуждала ее близость. Он был мужественен и упрям. В нем был налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами…»

Глава 11
«А сердцу стало страшно биться, Такая в нем теперь тоска…» А.А.

Ахматова упрямство Николая знала хорошо. Над его мужеством, живописуемом в пышно декорированных стихах, она посмеивалась. И поняла: теперь она верит в бабьи выдумки под названием «приворот»…

В киевской квартире царила вечерняя прохлада. Анна лежала на продавленном диване, уставившись в потолок. Отвалившаяся местами лепнина, тени от веток каштана в голубом дыму папиросы. Время обтекало тело, как волны. Тик-так, тик-так — баюкали часы… Полетели… Сейчас она походила на свою мать или на ту юную лунатичку, которую выслеживали воспитатели в коридорах лицея. Куда унеслись ее мысли? Кто мог знать?.. Да и сама она часто путала сны с явью, а явь с видением, как в лунном трансе. Свои мысли, чужие… Да чужие ли? И видения, видения… Кто присылает их — память, фантазия, Муза?

Окутало воздухом, который она никогда не спутала бы ни с каким другим. Водоросли и разогретый на солнце старый камень, такой старый, что даже страшно прикоснуться. Столетняя гречанка, бронзовая и морщинистая, как печеное яблоко, поймала ее за руку в узенькой улочке под гирляндами сохнущего латаного белья. Самая древняя Херсонидка. Давно это было, так что, может, и не было вовсе.

— Я тебя здесь часто с ним вижу, — прошамкал ввалившийся рот. — Оставь, этот сокол не для тебя. Душу искогтит, сердце вынет. — Старуха отерла ладони о клочья бурой, словно засохшей кровью пропитанной юбки. — Дай руку.

Анна подчинилась вопреки желанию юркнуть в узкую щель между домов и бежать, бежать. В тринадцать лет ноги быстры.

— Красивая рука, нежная. Не для работы, для жадных губ. Только не здесь и не этой просоленной матросне целовать тебя. Ты девица непростая. С луной в сговоре. Знаешь, кто я? Вижу, знаешь… — Беззубый рот растянулся в улыбке.

— Знаю, что ты плохие дела делаешь. В черной тени твой дом, а в доме злой огонь! — выпалила Анна ходившие по городу слухи.

— Лихая девица! Есть, есть у меня злой огонь, да не для тебя запален. Кого люблю — тому дарю! — Откуда-то из седых косм темная иссохшая рука вытащила булавку и — раз! — вколола в тонкий палец Анны. Девочка не успела и шелохнуться, будто

окаменела. Бусинку крови старуха жадно слизала языком. Пробормотала что-то невнятное и разразилась мужским, гортанным гоготом. С карнизов спящих домишек взвились голуби. Эхо заметалось в кривой улочке.

— К этому, с якорем на руке, больше не ходи. Не для тебя он. — Старуха опять зашлась смехом, кашляя и давясь. — Но я тебе подарок оставила: тот, кто не мил, навек присохнет. Силен королевич, да не прильнешь ты к нему естеством своим. А сама вспыхнешь и отгоришь большим пожаром в жертвенном костре. Только раз в твоей жизни такому огню бушевать. Так тебе на роду написано. А ты не тужи, Лунная, — так-то оно легче. Много даров от жизни получишь. Много и потеряешь. Много, много…

Умчалась в даль, словно провалилась в бездну, узенькая улочка, затих в колодце времени смех колдуньи…

«Кто не мил — навек присохнет…» Глупый сон. Анна верила в сны — они часто сбывались. А потом не могла понять, то ли придумала историю и она сбылась, то ли мимо пронеслось и растаяло нечто неведомое, что когда нибудь она обдумает и сочинит. Или узнает, натолкнувшись лбом в один прекрасный день.

Гумилев планировал свою первую поездку на Восток в Египет и по дороге решил заехать в Коктебель к Волошину. Да не один — с дамой. Чудесное возвращение к жизни в результате неудавшегося самоубийства подняло его жизненный тонус. Николай Степанович встрепенулся, деятельно взялся за организацию в Питере нового издания — журнала «Аполлон» (в котором в дальнейшем, до 1917 года, будет печатать стихи и переводы, вести постоянную рубрику «Письма о русской поэзии»). Почувствовав себя живым, полным сил и энергии, он с удовольствием закрутил роман с умненькой и чрезвычайно сексуальной хромоножкой — Елизаветой Дмитриевой, переводчицей, поэтессой, авантюристкой. На альбоме, подаренном Елизавете, Николай написал с гусарской удалью: «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей». Соль «несмущения» заключалась в том, что это посвящение уже было написано прежде, Анне. И получилось так, что Гумилев передал Лиле лебединый титул, а «неневесту» развенчал. Впрочем, имел право после стольких мук, от нее принятых.

В Коктебель с Дмитриевой они решили ехать вместе. Елизавета состояла в дружбе с женой Максимилиана Волошина художницей Сабашниковой. Но отношения в коктебельской общине не предусматривали соблюдения супружеской верности,

и у Елизаветы начался бурный роман с ее обожаемым мэтром Волошиным.

Оскорбленный Николай немедля покинул гостеприимный дом Волошина и помчался к Анне, живущей в это время с матерью под Одессой в Люсдорфе…

Они стояли на увитой виноградом веранде, обращенной к морю.

— Я собираюсь в Африку. Хочу пригласить тебя. Здесь можно курить?

— Можно курить и беседовать, не задавая вопросов.

— Вопросов не будет. Похоже, я повзрослел. Когда-нибудь расскажу тебе все. Как ангел унес у меня из пузырька кусочек сахара…

— Ты увлекся фантастикой? Впрочем, и у моего потолочного ангела не выдержала щека.

— Я не шучу. Ошибся в выборе смертоносного оружия! Парижская «блошинка» способна на сюрпризы: подарить жизнь вместо кусочка цианида! Но это — потом. Сказка у камина.

— А я стала писать хорошие стихи. Послушаешь? — Анна оперлась на деревянный парапет и тихо начала читать — без аффектации, в том минорно-лирическом настроении, которого и требовала ее поэтика.

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

(….)

И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток,
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.

— Хорошо. Про коврик точно. И мой табак… А «зацелованные пальцы брезгливо прячешь под платок»? Это не обо мне, надеюсь?

— Все о нас и обо всех, кто прощается.

— Знаешь, вообще совсем неплохо. — Он посмотрел на нее,

прищурившись. — Только мы прощаться не будем. Мы рванем в Египет! Такого у тебя в жизни никогда не будет. Воображаешь, сколько стихов?

— Спасибо, что счел меня подходящей спутницей в приключениях. Но ведь я — ледышка, там растаю. — Она взяла его за руку и заглянула в глаза: — Извини, Коленька, за «брезгливо». Это же образ.

— Образ всех ваших отказов и всех ваших измен. — Нахохлившись, он стал похож на большую сердитую птицу.

— Снова за свое? Коля, мне так не хочется вражды с тобой. Ведь лучше дружба, а? — В этот момент она испытывала к нему острое чувство жалости.

— Ладно, скажите хотя бы: вы меня любите? Любите, Анна Андреевна?

— Не люблю, но считаю вас, Николай Степанович, выдающимся человеком.

— Как Будду или Магомеда, — хмыкнул Николай. — Премного благодарен.

Который раз она смотрела, как удаляется его спина, и думала: «На этот раз наверняка кончено!»

Отношения с Гумилевым, сквозной линией проходящие через все юношеские годы Анны, развивались в странном импульсивном ритме. Анна и Николай то сближались, то разбегались в разные стороны. Серьезный разрыв следовал за разрывом «последним», происходило примирение, за ним — «разрыв навсегда», и снова по кругу. Он называл ее «неневестой», получая отказы стать его женой. Сколько раз она отказывала? Неизвестно, ведь были и письменные, и устные, и мирные «окончательные решения», и завершавшиеся бурными сценами расставания. Да, Анна со странным наслаждением мучила Николая. А он упрямо совершал тот же неудавшийся маневр. Повторять сорванный головоломный трюк станут только уверенные в себе мастера. Он же — неопытный в любовных делах, столько раз терпевший фиаско в этом сватовстве, повторял вновь и вновь, ведь его «неневеста» (или Нечто, называемое высшими силами) не давала окончательно порвать связующую их нить, после разлуки манила снова.

Гумилев раз и навсегда увидел в бледнолицей молчунье свой идеал — Еву, блудницу и беспорочную деву. Всю свою жизнь, так или иначе, он верен образу Анны — Евы, явившейся ему в стихах «Сон Адама» еще в 1908 году:

И кроткая Ева, игрушка богов,

Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцанье ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.
(…)
Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями соблазна.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева — святая, с печалью очей.
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

Портрет удался, особенно точен финальный вывод: «То лунная дева, то дева земная, но вечно и всюду чужая, чужая». А что же Анна? Любая молодая женщина, желающая отделаться от неугодного ухажера, способна справиться с этой задачей. Но Горенко годами держала одержимого ею и поэзией «паладина» на привязи. Мистика? Расчет? Надежда на то, что довольно известный молодой поэт может оказаться полезным в ее литературной карьере? Анна Андреевна любила покапризничать, но и умение просчитывать выгодные варианты — ее сильная черта. Она называла чутье жизненной интуицией. И сделала все, чтобы придать своему имени наиболее мощное звучание — насколько это было возможно в ее трудной, не способствующей творческому и личностному расцвету жизни.

Длинная история отношений Ахматовой с Гумилевым похожа на взаимную пытку. Быть может, элемент садомазохизма требовался для поэтической игры, в которой Гумилев представлял страдательное, жертвенное начало, Анна же выступала в роли чертовки, мучительницы, изменчивой Евы. Определенно то, что каждый из них жил с ощущением постоянного присутствия рядом с собой смерти. Испытывал потребность с нею заигрывать. Вот только Гумилев, такой театрализованный в своей поэзии, со смертью играл честно. Анна же, столь неподдельная в «песнях», трагедию разыгрывала лишь на бумаге. В ее попытках уйти из жизни больше позы, «романа». В их «сватовстве» (чреватом для Гумилева двумя попытками самоубийства) больше странностей и загадок, чем не исковерканной фобиями и комплексами нормы.

Ахматова утверждала до конца жизни, что ее отношения с Гумилевым были особые, исключительные — «непонятная связь, ничего общего не имеющая с влюбленностью». С ее стороны — возможно. Николай же, помимо прочих, экзотически искаженных

чувств, испытывал к Анне и вполне реальное плотское влечение. Много позже, вспоминая о первом чувстве, он признается, что действовал в угарном чаду страсти, стремясь к Анне как безумец. И решающим в этом влечении был ее ответ на ребром поставленный вопрос: «Девственна ли моя избранница?»

…Насмеявшись с Валей над таким поворотом дела, Анна вздохнула с облегчением: «Пошел он к черту, «конквистадор» с белыми мышами и мозгами набекрень». Сдвинув выгнутые брови, Валя смотрела на нее с сомнением: сплошные загадки. Гумилев, похоже, одержим навязчивой идеей. Но и Анна уперлась с определенным ответом: что за тайна, в самом деле, — «да» или «нет»?

Итак, она не приняла его предложение в очередной раз. Николай поехал в Африку без Анны. А в это время в Петербурге разворачивался весьма интересный сюжет.

В редакцию «Аполлона» стали приходить письма в одинаковых лиловых конвертах с гербом знатного испанского рода, пахнущие тонкими духами. В конвертах — веточка засушенного цветка и стихи на листах с траурным обрезом. Стихи, написанные юной аристократкой Черубиной де Габриак — нежной красавицей, запертой чуть ли не в монастырскую келью, — заинтриговали и очаровали всю редакцию. Было даже решено вместо стихов Анненского, открывающих номер, поместить сочинения загадочной Черубины. К несчастью, именно в этот момент Анненский скоропостижно скончался. Его внезапную смерть тут же связали с обидой на редакцию за снятые стихи.

Стали прояснять инкогнито юной поэтессы и раскрыли забавную мистификацию Волошина.

После отъезда Гумилева из Коктебеля Максимилиан в пылу увлечения хромоножкой Дмитриевой придумал историю с некой Черубиной, сочинил соответствующие юной, романтической аристократке стихи и стал отправлять их в «Аполлон». Шутка раскрылась. Страсти вскипели вокруг Дмитриевой и завершились дуэлью Гумилева с Волошиным. Гумилев дал пощечину великану Максимилиану и не захотел идти на примирение. К счастью, дуэль окончилась почти анекдотически — никто не пострадал.

До Анны доходили слухи о кипевших в Питере страстях, но о романе Гумилева с Дмитриевой она узнала в подробностях лишь в 1926 году из опубликованных Елизаветой откровенных воспоминаний.

Тогда же для нее было важнее другое: Николай вступился за честь умершего Анненского, а еще, судя по всему, занимал все более прочное место в редакции самого модного и

прогрессивного литературного журнала Петербурга.

В Киеве 26 ноября 1909 года на авторском вечере «Аполлона» «Остров искусств» судьба вновь столкнула Ахматову с Гумилевым. Он изменился — возмужал, внешнюю браваду сменила внутренняя уверенность в своих силах. Стройный щеголь с отличной репутацией в поэтическом кругу привлекал внимание дам и вызывал явное уважение друзей по поэтическому цеху. Анна взвесила все «за» и «против» и за интимным ужином с Николаем в ресторане на очередное предложение руки и сердца шепнула: «Согласна». Других предложений, правда, у нее не было.

Глава 12
«То лунная дева, то дева земная, Но вечно и всюду чужая, чужая». Н.Г.

Я жду, исполненный укоров:
Но не веселую жену
Для задушевных разговоров
О том, что было в старину.

И не любовницу: мне скучен
Прерывный шепот, томный взгляд, —
И к упоеньям я приучен,
И к мукам горше во сто крат.

Я жду товарища от Бога,
В веках дарованного мне
За то, что я томился много
По вышине и тишине…

Так сформулировал Гумилев свое брачное кредо, изрядно лицемеря. Надо полагать, что в любовных усладах даже с Черубиной он соскучиться не успел. Казалось бы, измученный отказами жених должен сойти с ума от счастья: согласие вырвано! «Товарищ от Бога» станет постоянным спутником его жизни! Ликует ли Гумилев? Нисколько. И вовсе не потому, что, рассчитывая на товарища, он явно промахнулся, выбрав Анну, — пока он еще пребывает в заблуждении. И не потому, что страсть к Ледяной деве перебили другие лирические впечатления. Обретя невесту, он — вот парадокс человека, одержимого идеей фикс, — как бы забыл о теме женитьбы. Навязчивая идея, реализовавшись, перестала мучить, ликвидировала камень преткновения, о который он постоянно расшибался во всех своих планах и действиях. Николай вновь был всецело поглощен предстоящим путешествием: вскоре он должен был отправиться в Африку. Пойми этих поэтов! То «страсти чад», то «к упоеньям приучен», то руку и сердце немедля подавай, то галопом в Африку! Очевидно одно: приключения манили Николая Степановича куда больше, чем обладание невестой, независимо от ее так и не проясненной непорочности. Или что-то все же прояснилось после ресторанного ужина, увенчанного согласием Анны, и жених, дорвавшийся до вожделенного тела Евы, был, мягко говоря, разочарован? Иначе

скоропалительный отъезд выглядит нелогичным и даже вызывающим.

Так или иначе, уже тогда в их интимной жизни что-то пошло не так. Причем далеко не влюбленная Анна на вспышку страсти с его стороны и не рассчитывала, а вот жених, столько лет маниакально ждавший минуты близости с Ундиной, явно просчитался. Его грубоватый темперамент, которым «конквистадор» пытался скрыть мужские комплексы и недостаток опыта, смутил и разозлил невесту. Она по крайней мере ожидала романтических нежностей.

Проводив жениха, Анна осталась ждать, скрашивая одиночество рассылкой писем друзьям с сообщением о предстоящей свадьбе. Причем изображала радость по этому поводу, расхваливала Гумилева, «для которого не существует больше ничего на свете, кроме нее». Друзья не должны знать, как горько у нее на душе. Любимой подруге Вале остался вопль: «Птица моя… молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы всё знаете — единственная, ненаглядная, любимая, нежная Валя моя, если бы я умела плакать. Аня».

Интонация Марины Цветаевой в обращениях к возлюбленной Софье Парнок. И накал истерического вопля — цветаевский. Что стоит за этим коротким письмом? Не станем фантазировать на сомнительных слухах. Заметим лишь, что настроение невесты отнюдь не радостное.

Анна хитрила, выдавая окружающим многолетние притязания Гумилева за влюбленность в нее. Раздумывая же, понимала: здесь все что угодно, но не любовь. А что, кроме приворота или навязчивой идеи (кому какая версия ближе) могло держать на привязи молодого мужчину столько лет? Жить в ожидании женщины, явно им пренебрегавшей и ему по всем статьям неподходящей? Две попытки самоубийства, неотвязное стремление к браку и бегство в Африку после получения согласия — что это? Может, и впрямь та греческая цыганка наколдовала ей в мужья немилого? Глупости. Но в такой странной ситуации поверишь во что угодно. А если рассуждать здраво…

К этому времени Гумилев был уже автором трех книг — «Путь конквистадоров», «Романтические цветы» и «Жемчуга». Последний сборник, посвященный Ахматовой, вышел в 1910 году. Широкой известности у Гумилева еще не было, но в литературных кругах он уже считался мэтром, к его суждениям прислушивались. Валерий Брюсов исключительно высоко ценил его талант, быстро набиравший силу.

Анна решила принять руку и сердце Гумилева, надеясь, что именно эта рука введет ее в круг самой модной поэтической

элиты, а сердце мужа, бьющееся в такт с современными эстетическими веяниями, подскажет ее босоногой Музе правильные пути к завоеванию Парнаса. Вот и решено… Анна Гумилева. Если, конечно, не передумать.

Часть вторая

И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее.

Николай Гумилев

Глава 1
«Я уеду далеким, далеким, Я не буду печальным и злым». Н.Г.

Анна не передумала.

25 апреля 1910 года в Николаевской церкви села Никольская слобода в окрестностях Киева состоялось венчание. Еще до этого Гумилев открыл на имя будущей жены в банке счет на две тысячи рублей — сумму по тем временам немалую. В церкви не было родителей. Зимой умер отец Гумилева, свадебное торжество вдова считала поспешным и неуместным. Родителям же Анны брак с Гумилевым, превратившийся за столько лет сватовства в навязчивую шутку, и вовсе казался нелепостью.

— Ты наконец моя… — Гумилев прижал к груди молодую жену вместе с букетом белых роз.

— Ай! Я накололась. Красный цветок… — Оттолкнув выпятившего для поцелуя губы новобрачного, Анна подняла палец — на белой перчатке расплывалось алое пятно.

— Теперь мы связаны кровью. — Он прижался губами к ранке. — Запомните это.

Она вспомнила седую цыганку, слизывающую каплю крови с ее пальца: «За немилого замуж выйдешь!»

В начале мая молодые, так и не получив родительского благословения, отбыли в Париж. Свадебное путешествие стало подарком Николая жене.

Анна — отличная пара для российского денди. К визиту в Европу она приоделась. Париж был великолепен. Цвели магнолии и каштаны, все было в белом, даже рабочие, ремонтирующие мостовую. Мадам Гумилева обращала на себя всеобщее внимание, выделяясь в толпе, — по-королевски стройная, неспешная, грациозная, в элегантном платье, большой соломенной шляпе, украшенной пышным пером страуса, привезенным Николаем из Африки. Густые волосы, расчесанные на прямой пробор, были уложены на затылке в тяжелый узел. На тонких запястьях звенели причудливые «дикарские браслеты» — тоже туземная экзотика из дальних краев. На нее оборачивались, вслух выражая восхищение. Забавны эти парижские эстеты, обсуждающие женщину, словно картину на вернисаже!

Гумилев ввел жену в круг своих знакомых, показывал ей любимые места, водил в оперу и в театр. Они много бродили по городу, сидели в кафе Латинского квартала, общались с художниками, писателями. Здесь встретили известного

питерского критика Георгия Чулкова с супругой, редактора «Аполлона» Сергея Маковского. Все поздравляли пару влюбленных, мужчины со значением подмигивали молодожену, одобряя его выбор. Следовали посиделки в симпатичных кафе, вечера в ресторанах, прогулки на речных трамвайчиках… Возможно, эти недели способны были изменить отношения новобрачных?

Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?

Чистая литература. Могла. Любить мужа, томиться под его взглядом не получалось. Это засело комплексом вины и страшно злило Анну Андреевну. Николай Степанович полагал, что делает все, дабы молодая жена не скучала. Но чем больше он старался, тем сильнее замыкалась она, не в силах ни притворяться, ни отвечать взаимностью.

В Петербурге Анна рассказывала друзьям, как тосковала весь этот месяц, сидя в гостиничном номере, даже купила себе черепашку, чтобы хоть чем-то занять себя, наблюдая за ее передвижением.

Если это и шутка, то не очень добрая и не в пользу молодожена. Николай как муж во время майского путешествия молодую явно не очаровал. Но именно в дни парижского медового месяца произошло еще кое-что, имевшее серьезные последствия.

Май, прекраснейший город, молодость, полная бурлящих желаний. Париж словно огромная корзина цветов: кусты, деревья, газоны, все в цвету, и все — приезжие и парижане, стар и млад — влюблены. На площадях играют оркестры, во дворах выступают бродячие артисты, нечто жалобное про разлуку нудят шарманки, и даже девицы из предместий, продающие цветы, напевают свои нехитрые песенки. Полуобнаженные, блестящие от пота парни с кирками и ломами, вскрывающие мостовую, тоже что-то насвистывают и бросают в толпу туристов красноречивые взгляды. На афишах Русского балета — обтягивающие трико, сладострастные позы, а на других, местных, — еще заманчивей: попки и перья, попки и перья. «Мулен-Руж», «Фоли Бержер»… На набережных, в аллеях Люксембургского сада только и делают что обнимаются парочки. Целуются за всеми кустами и без прикрытия растительности — на зависть занудам, попусту теряющим время. Чудесное, совершенно особенное явление

природы — парижская весна во всем ее гедонистическом изобилии. Поддавшись настроению, Николай полуобнял жену, заглянул в глаза «взором томления», тихо простонал:

— Поцелуй меня, Примавера!

— Ну что, прямо на улице? — Она слегка отстранилась, поправляя широкополую шляпу.

— Мы же в Париже, возлюбленная моя! Не стоит вторгаться в чужой монастырь со своими правилами. Здесь явно не время воздержания и поста.

Они сидели за столиком кафе в Люксембургском саду. Во все стороны расходились аллеи, кокетливые няни катили кружевные коляски с невинными младенцами, на газонах неистово крутились поливалки, рассеивая круги радуги, и девочки в локонах и панталончиках, выглядывающих из-под воздушных платьиц, грациозно играли в серсо.

— Прелестные малышки! — с едва уловимой иронией отметила Анна, ощутившая исходящий от юных созданий аромат пробуждающейся чувственности. — Давай просто понаблюдаем. — Она откинулась в скрипучем плетеном кресле, отвернувшись от мужа. — Как тебе здешние моды? Экстравагантные дамы надели брюки! А юбки настолько заужены, словно их замотали пеленками. Я выгляжу как старомодная клуша из провинции.

— Милая, на тебя все мужчины пялятся! А этих тощих французских куриц в какую упаковку ни заверни — сплошное разочарование. При распаковке. — Он вновь игриво посмотрел на жену и подмигнул.

— Подожди, милый! Такой чудный день! Наслаждаться уединением мы сможем и под дождем в Слепнево.

— В Слепнево — своя прелесть, наша спальня во время ливня напоминает вигвам. А в здешнем отеле я думаю о борделях Тайланда… леопардовых шкурах, смуглых наложницах… Давай удерем в нашу пещеру, пока господа из «Аполлона» не нагрянули с идеями новых экскурсов. Между прочим, этот Чулков строит тебе куры. Я заметил.

— Глупости. Тебя послушать — в меня влюблен весь Париж!

Последнюю фразу Анна произнесла по-французски, насмешливо и чуть громче, чем следовало. Прежде всего ей вовсе не хотелось в отель. Она там не видела ни вигвама, ни Тайланда — лишь неумелого мужчину, изо всех сил изображавшего нечто очень страстное, экзотическое. Анна пока еще считала нужным наигрывать хоть какие-то ответные чувства, но необходимость притворяться все больше раздражала. А Николай удваивал пыл и все спрашивал: «Ты еще не устала, моя жаркая?..» Что за пытка…

Но была и еще одна причина. Уже третий день Анна встречала в парижском, насыщенном любовными флюидами воздухе настойчивый взгляд странного мужчины.

Чаще всего он просто сидел на скамейке поодаль и наблюдал. Однажды они столкнулись с незнакомцем в переулке поздно вечером, и Анна заметила, что он вошел в соседний дом на бульваре Распай, совсем рядом с их отелем.

«Странный тип… Да — странный! Так, допустим, я расскажу все Вале… «Мы сидели за столиком — Георгий Чулков острил, Николай оглядывал экстерьер проходящих дам, прочие обсуждали стихи в «Парижском культурном обозревателе», а я просто скучала, и вдруг… Не знаю, как и объяснить. Прямо передо мной, на скамейке бульвара, раскинув руки на спинку, спокойно сидел молодой человек примерно наших лет. Он смотрел прямо на меня, и я, наткнувшись взглядом на этот взгляд, словно укололась. Кажется, даже ойкнула. Потом заметила его фигуру, голову, лицо. На вопрос Чулкова, в чем дело, ответила: «Оса!» Да, я обожглась! О его глаза, о его красоту, подобную которой видела только в мраморе античных статуй. Ты помнишь голову Антиноя в учебнике истории? Он просто копия! Широкий чистый лоб, грива разметанных, живописно вьющихся волос, губы чудесного рисунка, словно над ними трудился античный мастер… А глаза… Знаешь, бывают такие выпуклые веки — словно слегка опущены, затеняя ресницами взгляд… Короче, никого, подобного этому незнакомцу, я в жизни не встречала… Потом случилась забавная сценка: на второй или на третий день. Он подошел к нашему столику, услышав французскую речь — аполлоновцы не хотели выделяться среди местного населения и частенько переходили на французский.

Итак. Он подошел, а меня словно прострелило током. Застыла как мумия, чтобы не задрожать, даже кулаки сжала.

— Господа, прошу прощения, что нарушил беседу. Я художник, — деликатно доложил мой красавец.

— Ха, Париж полон художников, куда ни плюнь… — по-русски со смехом прокомментировал слегка пьяненький Николя — он уже не раз язвил по поводу «следившего за мной нищего».

— Еще раз прошу прощения. Речь идет о небольшой просьбе. Вы, как я заметил, остановились по соседству в отеле, я тоже живу на бульваре Распай. Моя мастерская на первом этаже, возможно, вы обратили внимание на скульптуры за оградой?

— Больше делать нечего, как заглядывать за заборы! — снова по-русски отпустил реплику Гумилев.

Лицо француза побелело, он явно сдерживал гнев:

— Я полагал, что имею дело с интеллигентными господами.

И полагал, вам известно, что говорить на чужом языке в присутствии иностранца — моветон. Я мог бы принять это за оскорбление, но присутствие дамы…

Он не успел договорить. Отшвырнув стул, Гумилев бросился к незнакомцу. Чулков поспешил предотвратить схватку.

— Просим прощения, мсье художник, мы немного расслабились в этом упоительном воздухе. — Говоря это, он рукой усадил Гумилева на стул. — Мы соседи, это очень мило… Так в чем состоит просьба? Вам нужны деньги?

Незнакомец побледнел еще сильнее:

— Да, мне нужны деньги, ради этого я работаю. И все здесь, кто не получил изрядного наследства, уверен, нуждаются в деньгах и зарабатывают их собственным трудом. Надеюсь, вам, господа, повезло больше. Перейду к делу. Найти модель для творчества очень трудно. У каждого художника есть свой идеал… Только он может подарить вдохновение. — Он повернулся ко мне. — Речь идет о вашей даме, господа. Могла бы мадам оказать любезность и уделить мне немного времени? Одна или в вашем обществе? Я бы только сделал несколько зарисовок. Поверьте, я рисую очень быстро и не стал бы утомлять вас…

— Жутко лестное предложение. — Николай все еще злился. — А в Лувре ваш шедевр когда выставят?

— Не обещаю. — Незнакомец развернулся к Гумилеву и обезоруживающе улыбнулся: — Позвольте представиться: Амедео Модильяни. У меня пока нет ни малейших притязаний на Лувр и даже на магазинчик мадам Греми, где иногда выставляются местные мазилы — так нас называют туристы.

— «Мазилы» — это уж слишком. — Поднявшись, Николай откланялся и назвал себя. — А это моя супруга — Анна Андреевна Гумилева.

— Очень приятно… Вы смогли бы посетить мою мастерскую в любое удобное для вас время?

…Короче — я сейчас кое-как вспоминаю эти реплики, но тогда была как под гипнозом. Он стоял рядом, одетый в смехотворно желтую блузу и панталоны из вельвета, но, клянусь, более изысканного и оригинального туалета я в жизни не видела. Может, его сшил какой-то сумасшедше гениальный парижский кутюрье? Скорее, сам Амедео был идеальной моделью — ведь он и двигался божественно. А голос… Я бы не спутала его ни с одним голосом на свете.

Итак, вечером мы зашли в его комнату, обвешанную необычайно длинными картинами, кажется, все они были на бумаге и изображали портреты. Настолько странные, что мои спутники еле сдерживались от неуважительных реплик. В садике

возле дома стояли глиняные скульптуры — в них было заметно мастерство, но и некая необычность — желание исказить модели, подчеркивая пластику. Глиняные человечки будто корежились, как в кривом зеркале. Он заботливо полил их из лейки.

— И вы хотите изобразить мою жену в таком… э… в похожем жанре? — вредничал явно ревновавший Николай.

— Сейчас! — Амедео пододвинул мольберт с наколотыми на него листами бумаги. — Я сделаю несколько эскизов. Присядьте, господа. А вы, Анна, — вот на этот табурет.

Рисовал он мгновенно — набрасывая линии точно и ничего не исправляя. Срывал лист и делал новый рисунок, попросив меня развернуться. И все пришептывал: «Да, о да! Именно она!»

Рисунки разглядывали мои сопровождающие и одобрительно кивали. Сказать, что я была в полуобмороке, когда его желтые в золотых искристых крапинах глаза словно вбирали в себя всю меня, — ничего не сказать. Мы попали в другое измерение, связанное мистической силой творчества…»

…Гумилевы пробыли в Париже почти месяц, и за это время Анна несколько раз позировала Модильяни. Присутствовавший на сеансах Николай отпускал по-русски насмешливые замечания, тут же переводил, меняя смысл на менее обидный. Он не мог не заметить, что творится с Анной, и ревновал бешено.

— А вы знаете, друг мой, что моя жена — известная в России поэтесса? — вдруг сообщил он Амедео. Парень застыл, словно его окликнули во сне и он проснулся в другом месте.

— Это верно? Верно? — Насупившись, он бросил угольки и сел. — Может, выпьем немного вина? Иногда в голове что-то смещается… Поэтесса… Стихи…

Гумилев отказался пить, и Модильяни налил себе в стакан виноградного вина из оплетенной кукурузными листьями бутыли:

— Матушка иногда присылает из Ливорно.

Помолчали, и он вдруг стал декламировать, словно про себя, продолжая наносить на бумагу быстрые линии:

Нет, ни красотками с зализанных картинок —
Столетья пошлого разлитый всюду яд! —
Ни ножкой, втиснутой в шнурованный ботинок,
Ни ручкой с веером меня не соблазнят.

(…)

Да ты, о Ночь, пленить еще способна взор мой,
Дочь Микеланджело, обязанная формой
Титанам, лишь тобой насытившим уста!..

— Отличный выбор, — одобрил Гумилев. — Бодлера я люблю с юношеских пор, и еще Малларме, Верлена.

— У нас с вами схожие вкусы. Собственно, это можно уже сказать по выбору самой прекрасной из женщин. И стихи словно о ней.

— Парижские художники все так хорошо знают поэзию? — спросила Анна.

— Напротив, живопись активно вытесняет поэзию и занимает главное место. Я хотел стать поэтом. И много насочинял. Читать не стану. Довольно этой выставки рисунков — такое самообнажение.

— Н-да… — сник Николай. — С поэтами в этой комнатке перебор… Пожалуй, я попробую вина вашей матушки.

— И мне немного, — попросила Анна. — Ведь мой муж — тоже поэт.

— Черт побери! У меня все стаканы немытые… — спохватился художник, загремев в шкафу посудой. Со звоном разлетелось на полу что-то стеклянное. — Бить посуду плохо, — чуть огорчился Модильяни. — У нас в Ливорно говорили: быть беде.

— А у нас — счастью! — обрадовалась Анна. — На свадьбах специально бьют тарелки, чтобы жизнь супругов была долгой.

— Мы, кажется, тогда разбили только бокалы от шампанского? — насупился Гумилев, вспомнив свадьбу, какую-то полузаконную — без благословения родителей. — Может, надо было весь дедов парадный сервиз ко всем чертям грохнуть? Извините, мсье Модильяни, что говорю по-русски. Это непереводимое идиоматическое выражение.

Гумилев решил возвращаться в Петербург вместе с «аполлоновцами», Анна задержалась на неделю. Мол, не все достопримечательности осмотрела. Просто так лжет и глаз не отводит. Знает, что муж все понял и объяснять ничего не надо. Запрещать бесполезно. Так она хочет. Пока в семье это правило только утверждалось. Николай надеялся изменить «семейный устав» в свою пользу. Но… Не сразу же! О, как он смотрел на Анну из окна уходящего поезда. Душераздирающий взгляд прощающегося навеки. Только сказал, словно между прочим:

— Я жду тебя.

Анна видела насквозь его обмирающее, как под дулом пистолета, сердце — ведь на самом деле не был уверен Гумилев, что она вернется. Любил риск. Русско-парижская рулетка.

Можно сказать, что ясновидение в этот момент посетило Гумилева.

Всю дорогу в Питер друзья подтрунивали над ним и пытались развеселить — напрасно. Медовый месяц непоправимо испортила ложка парижского дегтя.

Глава 2
«И жар по вечерам, и утром вялость, И губ растрескавшихся вкус кровавый». А.А.

Анна увлеклась до самозабвения. Амедео сошел с ума. Впервые оставшись в его мастерской вдвоем, они торопливо бросились друг к другу, как изголодавшиеся. Не хватало рук, ног, слов, губ — в ход шли краски, угольки, стихи, распахнутое в зелень окно, лейка с водой, корзинка черешни, кусок дешевого камамбера… Всё вместе доставляло неисчерпаемые удовольствия. Ведь расписать тела и вывозиться под лейкой, размазывая краски, а потом слизывать друг с друга медовые мазки акварели — неописуемое гурманство. Удовольствие можно усилить лишь одним способом — совместив его с другим удовольствием. А они были молоды, веселы, сумасбродны и жадны до радостей жизни. Сейчас бы сказали: им «снесло крышу» и они «классно оторвались». Он рисовал ее торопливо, схватывая все новые ракурсы, читая свои стихи, в которых она мало что понимала, но голос…

Голос затрагивал все ее женские струны, и тело Анны трепетало. Она тоже читала свои стихи, новые, про него и себя, только что написанные, как молитву, как заклятие — торжественно и серьезно, заломив над головой руки. Он огорчался, что не понимал слов, но выражение ее лица и тело передавали эмоции.

— Твои варварские браслеты прекрасны. Никогда не снимай! Дикий примитивизм — как раз то что надо. И они, именно они подходят тебе! Никаких других, простота и грубость — вершина красоты.

Анна зазвенела украшениями:

— Это настоящие браслеты из Африки. — Распространяться про подарки мужа она сочла излишним.

Дни и ночи перепутались. Их переполняла радость. Есть, гулять по ночному городу, целоваться и заниматься любовью в самых неподходящих местах. Другой мир — другие правила, другое измерение. Измерение страсти. Никогда не был так вкусен сыр, так ароматно вино и так кстати две черешни за щеками Анны — портрет вышел отличный.

— Я итальянский еврей. Мне двадцать шесть. В Париж приехал в девятьсот шестом, чтобы брать уроки у именитых

французских живописцев и конечно же — заявить о себе. Пока не заявил, а ведь думал, что мне есть чем потрясти мир. Вообще — не вписался в здешний ландшафт. У меня мало друзей, полезные связи заводить не умею. У меня нет женщины-хранительницы, нет ни капли известности, и вообще — ни гроша. Задолжал хозяйке и зеленщице. — Он улыбался, после каждого невеселого признания запечатлевая темными от вина губами поцелуй на ее теле.

— Так и надо начинать путь к славе! С нуля!

— Э, Пикассо моего возраста, а уже знаменит как черт. И Вламинк… Их выставляют, покупают… — Амедео углем рисовал ее вполне реалистический портрет в стиле Ренуара. — Я умею рисовать и писать красками не хуже Рафаэля. Только у меня совсем другие идеи. Я вижу другое… Всегда воображал тебя — бродил, искал, искал:

Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж и в вечном измененье,
О, как она меня глубоко поняла…
Все, все открыто ей… Обманы, подозренья,
И тайна сердца ей, лишь ей, увы! светла.
Чтоб освежить слезой мне влажный жар чела,
Она горячие рождает испаренья…

— Это Верлен! — я тоже помню. — Анна подхватила:

Брюнетка? русая? Не знаю, а волос
Я ль не ласкал ее? А имя? В нем слилось
Со звучным нежное, цветущее с отцветшим;

Взор, как у статуи, и нем, и углублен,
И без вибрации спокоен, утомлен.
Такой бы голос шел к теням, от нас ушедшим.

Захохотав, они обнялись, связанные теперь и Верленом. В цветастой линялой занавеске билась оса.

— Она охотится за нашей черешней! — спохватился Амедео.

— Нет, за мной! Осы меня любят. Половину лета ходила с заплывшим глазом.

— Я уничтожу эту убийцу красоты! — Амедео вскочил, выгнал осу и вдруг огорчился: — Только сейчас понял: ты должна быть неподражаема с раздутым глазом или щекой! Понимаешь — совершенная красота не имеет индивидуальности. Она — как

пресная вода из кувшина. Мне нужна натурщица с перекошенным лицом!

— С такими фантазиями ты далеко пойдешь, Амадей. Ты вовсе не похож на неудачника! Ты не против, что я зову тебя так — А-ма-дей?

— Все равно — любимец Бога. Я в самом деле удачник! Сумасшедший удачник! Ты — моя удача. Когда ты приедешь ко мне надолго, я покажу тебе Париж и Лувр — свой Лувр. Ты поймешь, почему твои, именно твои портреты будут висеть там.

Они лежали на продавленном тюфяке — голова Анны на его плече.

— Знаешь, чего я хочу? — хитро улыбнулся он.

— Конечно, знаю…

— Это всегда. А еще — хочу заглянуть в будущее, ну на чуть-чуть! Часто бормочу вот это:

Ты знаешь, мудрецы с издавних пор мечтали
(Хотя задача их разрешена едва ли)
На языке небес прочесть судьбу людей
И связь у каждого найти с звездой своей,
Насмешки злобные в ответ им раздавались,
Хоть часто те смешны бывали, кто смеялись!..
Но тайна страшная пленила разум мой…

— Верлен и я ответим тебе — дай ладонь… — Анна приподнялась, закинула за спину волосы. — Ты жутко, жутко талантлив… Нет — больше. Наверно — гений! И еще: ты существо из другого мира — не из богемного. Ты нежный, честный, в тебе нет краснобайства, зазнайства и злости по поводу запоздавшей славы.

— Это все написано на руке?

— Это все знаю я. И еще: ты слишком восприимчив… Ты не сильный, понимаешь? Не настолько, чтобы противостоять искушениям.

— О, нет! — Он рассмеялся, сверкнув великолепными зубами. — Женщины мало привлекают меня… Я совершенно сбрендил на своих рисунках и живописи. А скульптуры? Думаешь, зачем я рисую с тебя кариатид и леплю всяких химер? Я мечтаю оформить храм. В мраморе! Но он не будет похож на все знакомые нам. Он будет иной — ближе к Богу.

Анна вздохнула:

— Ты мог бы найти свою дорогу к храму… Но… Знаешь, твоя линия жизни похожа на линию жизни моего мужа.

— Это же очень хорошо! Вероятно, я тоже стану твоим

супругом?

— Мы уже стали… Ты навсегда — мой! — Анна помрачнела. Такой знак на ладони она видела второй раз — линия жизни исчезала в самой середине, словно размытая. Скрыв тревогу, она поспешила изменить тему: — Мне снилось сегодня, что мы с тобой идем по Лувру — в его темных подвалах.

— Не продолжай! — Амедео закрыл ее губы ладонью. — Я видел то же самое! Там была древняя статуя. Она повернулась…

— Египетская царица! — освободившись, выкрикнула Анна.

— Это была ты!.. — Амедео оторопел. — Ты видела мой сон?

— Со мной часто так бывает. И бывает, что сны сбываются.

— Пожалуйста, рассказывай мне все — ты волшебница. Сны — вестники из будущего, я хочу узнать из твоих снов, что будет с нами.

— Завтра я уеду.

— Я тут же умру! — Он обхватил ее. — Не выпущу!

— Нет. Пока меня не будет, ты должен многое успеть сделать. Ты должен подготовить выставку, а я — сборник. Тогда мы сможем отметить встречу в самом прекрасном ресторане. На Эйфелевой башне! Ведь она моя ровесница. Ей тоже двадцать лет.

— Я буду стараться, Анна. Я буду жить и стараться для тебя. — Он окунул лицо в ее волосы, напряженно раздувая ноздри. — Как собака, хочу все запомнить — и никогда не потерять тебя. Стоп! — Он вскочил, поднял за плечи Анну, вытащил в центр комнаты, усадил на табурет. — Это надо было сделать давно — надень тиару! Она выглядит совсем как настоящая, а сделана из папье-маше, я взял ее в театре. Я буду писать тебя египетской царицей.

— Не успеешь! — Анна надела покрытый золотой краской высокий головной убор.

Он быстро подбирал листы бумаги.

— Сейчас надо сделать наброски, портрет потом. Но! О черт! — Амедео куда-то убежал, вскоре с лестницы послышался раздраженный голос хозяйки:

— Но у меня нет острее! Я же не швея. И вообще, мсье Модильяни, я выкину ваши вещи и возьму другого жильца. Нельзя же не платить за такую прекрасную комнату!

— У меня уже купили портрет, на следующей неделе непременно оплачу вам весь долг.

— Амадей… — Анна протянула кошелек, когда он вошел, крутя в руке портновские ножницы. — Прошу тебя, у меня остались деньги, в России я вполне обеспеченная женщина.

Он насупился:

— Никогда, слышишь, никогда! Никогда не предлагай мне

деньги. — Тут он заметил на Анне тиару и словно осветился солнцем: — То что надо! Только маленькая деталь… Сиди смирно и зажмурься… — Он щелкнул принесенными блестящими ножницами.

— Ты будешь колдовать? Ты принесешь меня в жертву? — Анна быстро сунула за щеку черешню, в то время как Амедео осторожно расчесывал ее волосы. Потом собрал все назад, оставив пряди надо лбом.

— Ты уедешь. Но будешь отныне парижанка. И Египетская царица. А может — жена фараона. Моя жена. Всю жизнь. — Ножницы хищно хрустнули. Прядь волос надо лбом осталась в его руке. — Чудесно — черная и блестящая. Теперь надо водой зачесать на лоб… Египет!

— Что ты сделал? — Она ринулась к маленькому зеркальцу над умывальником. — О-о-о… — Челка! Торчит в разные стороны. Жуть!

— Ты мне веришь? — Модильяни повернул ее к себе. — Это восхитительно! Вымоешь голову, и все ляжет как надо. Это именно твой стиль, и волосы поймут.

Анна вернулась домой с парижской челкой, в узкой трикотажной юбке и с разбитым сердцем. Конечно, она написала много стихов, хотела оставить их Амадею, очень хотела, но ведь по-русски он не поймет, и стихи станут чьей-то добычей. Она замужем за известным человеком, собирается стать известной поэтессой. Лучше не начинать со скандала — скандал потом, когда об Ахматовой начнут говорить. Везти стихи, такие откровенные, такие смелые, в Питер, чтобы они попались на глаза Гумилеву, — полное сумасшествие!

В ночь перед отъездом Анна выскользнула из отеля, кинула связанные листки в металлическую урну, закурила, пробежала глазами строки, написанные только что: *«взгляд янтарный — от солнца подарок, унесу навсегда в снежный край…»* Подпалила верхнюю страницу — пламя жадно взялось поедать слова. Вот и второе аутодафе, совершенное над ее стихами. Отчасти — самоубийство. Не обидит ли это Музу? Не дожидаясь полиции, она огляделась и спокойно вернулась к комнату отеля к собранным чемоданам.

Глава 3
«Ничего не скажу, ничего не открою Буду молча смотреть, наклонившись, в окно…» А.А.

Гумилев встретил ее на вокзале и даже выглядел счастливо.

— Я соскучилась, милый… — выдавила она, мысленно посылая эти слова в Париж.

— Уже? — съязвил Николай, бесновавшийся от ревности все дни.

— Николай, вы хотите затеять семейную сцену? Извольте. Но не на вокзале. Это смешно.

— Я решил предоставить все суду вашей совести. Воображаю, как вы будете мучиться, бедняжка.

— Тем более что никаких доказательств, кроме ревности, у вас нет.

— И этой челки! Только не говорите, что ее таким изысканным манером выщипали парижские мастера.

…Анна поправит прическу у мастера, с упоением перескажет парижскую историю Вале Тюльпановой и постарается стать примерной женой. Вот только если бы можно было избежать близости… В постели с мужем она ощущала себя как на допросе и, не желая притворяться, несколько раз была близка к тому, чтобы открыть правду.

Остаток лета супругам предстояло провести в Слепневе — родовой усадьбе Гумилевых. Большой потемневший от старости дом, вокруг жидкие перелески, поля да косогоры — это унылое место навевало на Анну тоску. Она не находила прелести в деревенской жизни, демонстративно скучала, была замкнутой, отстраненной, едва скрывая раздражительность и недовольство всем и всеми.

Жизненный уклад большого дома с неспешными обедами, ужинами за большим столом (в Слепнево проводили лето брат Николая Митя с женой, племянники, какая-то родня) повергали необщительную и не любопытную к людям Анну в дурное расположение духа. Вдобавок Николай за столом занял место не рядом с женой, а с кузинами. И его любимая матушка Анна Ивановна, женщина умная, властная, обожавшая сына, как ни старалась, подход к необщительной невестке найти не могла.

Бог мой — на стол церемонно выставляли старинную посуду,

блюда подавали с неторопливостью сонной челяди Обломовки. А позади, совсем близко — майский Париж, цветущие каштаны, шипучий восторг влюбленности, янтарные глаза Амадея, жадные, словно торопящиеся впитать ее образ. Будто вчера были веселые посиделки в парижских кафе под восторженными взглядами мужчин и завистливыми — женщин. А тут — ситцевый сарафан и французское платье, которые, за неимением в Слепневе другого гардероба, приходилось носить по очереди. Николай пропадал в дальних конных прогулках, Анна уходила подальше от дома, часами бродила, слушая звучащую внутри музыку подступающих стихов — печальных, тяжелых…

А осенью Гумилев снова отправился в путешествие, оставив свою «соломенную вдовушку» на полгода в нудном старом доме. Они стоили друг друга. Она — далеко не подарок для новой родни, он — муж-бродяга, готовый улизнуть куда подальше. Анна кипела от ярости. Ощущение свершенной ошибки росло — вышла замуж за человека, которому, в сущности, оказалась совсем не нужна. Бросил ее в этой дыре, вместо того чтобы провести зиму в шумном, бурлящем художественной жизнью Петербурге! Месть за Париж? Вряд ли. Просто он совсем мало думал о ней, вспоминая лишь в мгновения задетого самолюбия.

Молодой жене, которую все чаще называли «соломенной вдовой», было очень одиноко. Она постоянно грезила об Амедео и однажды написала ему письмо. Маленькое французское четверостишие. Перевела для себя — эти строки могли принадлежать кому угодно.

Тяжела ты, любовная память!
Мне в дыму твоем петь и гореть,
А другим — это только пламя,
Чтоб остывшую душу греть…

Он вдруг прислал пылкий ответ, говорил, что не может забыть ее и мечтает о новой встрече. Письма стали частыми, и в каждом из них Модильяни признавался в любви.

Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье?
Осенний день хранил печальное молчанье,
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье
Ложилось на леса в их желтом одеянье.

Мы с нею шли вдвоем. Пленили нас мечты.
И были волоса у милой развиты, —
И звонким голосом небесной чистоты

Она спросила вдруг: «Когда был счастлив ты?»

На голос сладостный и взор ее тревожный
Я молча отвечал улыбкой осторожной,
И руку белую смиренно целовал.

— О первые цветы, как вы благоухали!
О голос ангельский, как нежно ты звучал,
Когда уста ее признанье лепетали!

«Я хотел бы выдать эти строки за свои, но ты поймешь, кто автор. Пусть будем мы оба с Верленом, ладно?»

Они читали стихи наперебой, перемежая любовью и вином. Анна представила, как эффектно расплылись бы капли слез на лиловых чернилах, но… сердце щемило, а глаза не наполнялись томительной влагой.

В конце жизни Анна Андреевна написала воспоминания о Модильяни, чтоб закрыть дорогу досужим фантазиям и толкам, то есть в ее формулировке — «преступлениям». Ее версию и следует воспринимать как канонический вариант парижского эпизода. Но куда деться от простой логики? Романтическая встреча двух влюбившихся молодых людей в цветущем Париже. Пустяк? Анна Андреевна утверждает, что виделись они в 1910 году лишь несколько раз и никакой переписки не было. Не любил он писать, даже матушку посланиями не удостаивал. Да и Анна о случайной встрече в Париже почти забыла. Но знакомство оставило след в молодых сердцах — украинско-русском и итало-еврейском. В Россию Амедео писал всю зиму на адрес Вали Тюльпановой. Вспоминал упоительные дни в Париже как самое лучшее время в своей жизни. Он считал Анну пророчицей и уверял, что никогда не встречал людей, умеющих читать чужие мысли и видеть чужие сны.

Однако от друзей, побывавших в Париже, Ахматова знала, что Модильяни пристрастился к вину и наркотикам. Художника угнетали нищета и безнадежность. А русская девушка, которая так стремительно ворвалась в его жизнь, оставалась далеко в непонятной стране. Как ей хотелось немедля рвануть к нему и… и что-то поменять в его жизни. Как? Только любовью? А деньги? Зарабатывать мытьем чужих квартир или продавщицей в лавке, спать на давно не стиранном белье, стареть, забыть о стихах… Если бы только это: увы, Анна уже знала, что сила любви преходяща. Страсть изменчива. Вначале размолвки, обиды, потом обвинения и громкие скандалы… А там и до рукоприкладства

недалеко, до оскорблений и ненависти… Она хорошо представляла подобную перспективу, о ней упорно твердила подруге Валя. Не такой Анна была «безбашенной», чтобы сорваться в другую страну наобум. Безумие любви не подчиняло ее. Она полагалась на расчет: на одной чаше весов страстный, нежный, бесшабашный художник, без всяких перспектив прорваться к известности, на другой — все менее привлекательный брак с Гумилевым, тоже не «глыбой» в поэзии. (Ясновидение не подсказало Анне, что металась она между двумя гениями.) Рисковать было бы безумием. А любовное безумие — не амплуа Ахматовой. Это «болезнь» Марины Цветаевой, оказавшаяся смертельной.

Николай путешествовал долго, а сочувствующие друзья нашептывали Анне все новые подробности о муже. Она узнала о влюбленности Николая в Черубину, о его более чем теплых чувствах к тяжело больной кузине Машеньке Кузьминой-Караваевой, о каких-то флиртах, обидных высказываниях в адрес жены… Да какие еще могут быть сомнения? Они попросту не любили друг друга, и оба были не из тех, кто умеет ломать себя, подстраиваясь к партнеру. Да и к чему? Смысл в этом браке, как и в долгом «жениховстве» Николая, просматривался плохо. У Анны еще имелся резон: она решила стать женой довольно известного литератора. А он? Ему-то она к чему? Почуял в девице взрывной заряд поэтического дара? Приворожили? Чья-то злая воля навязала ему «ведьму»? Так, во всяком случае, объясняли матери Гумилева сложившуюся ситуацию ее наперсницы. И даже женщина просвещенная не могла отчасти не поверить в правоту этих бабьих толков.

Новобрачная, пугая работавших в полях крестьянок, бродила с распущенными длинными, словно у колдуньи, чернющими волосами и что-то нашептывала.

Тоска и боль души всегда настраивали Анну на волну творчества. Чем сильнее ныло внутри от обиды, тем быстрее приходила Муза. Словно слышала сигнал бедствия. Что за тайна в этом союзе: поэтический дар и душевная боль? Она не умела плакать. Она умела выть — выть стихами.

Об этом говорила Анна с Валей Тюльпановой, сбежав из Слепнева в Царское Село.

— Валь, я зря замуж вышла.

— Перестань. Вы ж еще как следует и вместе не были.

— Были. И все уже ясно. Влюблялся он в других. Стихи любовные писал как бы мне, а на самом деле, уверена, своим пассиям. Думал о них.

— Ты и сама так делаешь. Вроде все мужу… — Валя

замолчала под взглядом Анны. — У Николая классический пример мужского поведения: любил одну, спал с другой…

— А женился на третьей… Глупо, но правда.

— Ой, Анька, как же ты маешься! — Валя утерла слезы. — Если честно, он у тебя странный, конечно, но о-оочень талантливый. А талантливые люди часто с приветом. Талант, как говорит мой Срезневский (за врача-психиатра В. В. Срезневского Валя вскоре выйдет замуж), огромный талант — это ведь тоже а-но-малия!

— Вот я — талантливая? — Не тронув предложенного Валей печенья, Анна посмотрела исподлобья пристально.

— Ты что, Анька, мне не веришь? Жутко! Жуткий талант! Твои стихи не хуже тех, что печатают в журналах. Да что я говорю — много-много лучше! А это, про венок «полуброшенной»… Прямо душу выворачивает!

— Мне ведь правда так гадко, так муторно на душе… Словно дурмана горького наглоталась.

— А знаешь, что смешно вышло: твоя семья из Царского Села выехала, а ты — снова здесь! И мы опять почти соседи. Выходит — место это твое.

Анна поникла:

— Не радует меня гумилевский дом. Да вообще — ничего не радует.

— К итальянчику кудрявому тянет? Думаешь, из него выйдет толк?

Анна задумчиво пожала плечами:

— Не пойму. Что-то есть, какая-то сумасшедшинка и полное отрицание всего общепринятого. Он все видит другими глазами. Знаешь, однажды встретили в сквере страшенного дядьку, так он аж загляделся: «Вот это красота!» — говорит. И все его тянуло к изломанному, больному…

— Но ты-то — о-го-го! — подмигнула Валя.

— Его мой нос с горбом, скулы эти первобытные и, конечно, пластичность завлекли. Нет, думаю, все вместе — ходячий идеал!

Валя всматривалась в подругу:

— Так, может, послать здесь все и махнуть туда? Годы-то наши еще какие, успеешь переиграть, если не сложится.

— Думала. Много думала… — Анна катала в сильных пальцах серебряную фольгу от шоколада. — Нет. Нельзя. У него другая судьба, Валька. Боюсь даже о будущем думать — темнота какая-то. И зарницы прорезают вспышками… Приснилось, что ли… Но темно у него, нехорошо…

— Ой, а не заклятие ли на тебе? И с Николаем не ладится, и Амедео, видать, в знаменитости даже с твоими портретами не

выбиться. Есть такие злодейки, что и на смерть заговаривают. А в африканских племенах самые маги и водятся.

— Что же тогда меня Николай на страстную любовь к себе не заговорил с их помощью?

— Он честный. У него другие интересы. Ему от тебя не бабьи страсти, а муки нужны… — Валя задумчиво грызла миндальные коржички. — Нет, тут африканцы, полагаю, ни при чем… Это наших ведьмачек работа… Знаешь что… Тебе бы в церковь к батюшке сходить, исповедаться, причаститься…

— Валь, — глаза Анны сузились и потемнели, — я с детства к церкви приученная. Сколько заутрен девчонкой отстояла, чуть не все службы назубок помню. В промысел Божий верую. Но…

— Вижу, что «но»… Сглазили, что ли?

— Дело в другом. Необходимость поголовной исповеди меня от церкви за ограду вышибла. Что за принудительная повинность: причастился — исповедуйся! Да кому? Попам? Я перед Богом исповедуюсь, а посредника мне не надо. Знаю я этих церковнослужителей. И не упоминай при мне о них.

— Хорошо… — Валя задумалась. — Но ведь ты в храме душой очищаешься? Вот и надо в Киев ехать, под сводами Святой Софии постоять. Самой с кем хочешь побеседовать, о чем хочешь попросить. Поверь, Анька, такие чудеса на свете происходят…

— Снимет с меня небесная сила черный заговор, и стану я веселушкой-хохотушкой. Амадея разлюблю и к Николаю присохну. Так, что ли? Нет, дорогая моя, не хочу. Такой уж родилась, твой Срезневский сказал бы, что у меня сумрачный тип психики. Меланхолия.

— Шоколад надо есть, шампанским запивать, с веселыми творческими людьми водиться, а то ты в этой деревне совсем зачахнешь. Николай хоть пишет?

Анна покачала головой:

— И в Париже молчок.

Вскоре она ушла — черная, скорбная.

Глава 4
«Я надела узкую юбку, Чтоб казаться еще стройней». А.А.

Двадцать один год — не возраст скорбей. Тем более что она теперь петербурженка! Ахматова, рожденная и проведшая детство на юге, — коренная петербурженка, проживающая в доме Гумилевых в Царском Селе. Дело же не в том, где появилась на свет, а и впрямь — в корнях. Они именно здесь. Прежде всего — Пушкин. Если кого и считать кровной родней — то Александра Сергеевича. Нескромно, но верно: брат, друг. И сам город, который живет вместе с Ахматовой в ее поэзии.

«Петербург, — писала Анна Андреевна, — я начинаю помнить очень рано — в девяностых годах. Это, в сущности, Петербург Достоевского. Это Петербург дотрамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного Царского Села. Внутри Гостиного Двора тучи голубей, в угловых нишах галерей большие иконы в золоченых окладах и неугасимые лампады. Много иностранной речи на улицах.

В окраске домов очень много красного (как Зимний), багрового, розового, и совсем не было этих бежевых и серых колеров, которые теперь так уныло сливаются с морозным паром или ленинградскими сумерками…

Дымки над крышами. Петербургские голландские печи… Петербургские пожары в сильные морозы. Барабанный бой, так всегда напоминающий казнь. Санки с размаху о тумбу на горбатых мостах, которые теперь почти лишены своей горбатости. Последняя ветка на островах всегда напоминала мне японские гравюры. Лошадиная обмерзшая в сосульках морда почти у вас на плече. Зато какой был запах мокрой кожи в извозчичьей пролетке с поднятым верхом во время дождя».

А главное, Петербург — столица интеллектуальной жизни, эпицентр мира искусства.

После путешествия по Италии и Греции поэт, писатель, философ Вячеслав Иванов вернулся в Петербург и поселился в «Башне» — в квартире с большим полукруглым эркером. Здесь с осени 1905 года проходили знаменитые «среды». В «Башне» собирались крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты,

оккультисты, реальные полусумасшедшие и те, кто стремился получить известность посредством эпатажа: декаденты, экзальтированные дамы. Анна уже была здесь с Гумилевым после возвращения из Парижа. Держа мужа под руку, силой воли заставляла себя не дрожать под любопытными взглядами. Комплекс провинциалки со скудным образованием давал о себе знать среди столичных снобов и знаменитостей. Чтобы не портить впечатления речами невпопад, Анна выбрала стиль молчаливой задумчивости, свойственный ей от природы. Получилось! Ее воспринимали как женщину с необычайно глубоким внутренним миром…

Что ж, раз вышла замуж за литератора, надо пользоваться преимуществами положения. Уехал в Африку? Отлично! Не будет критиковать каждый шаг.

Она вымыла копну тяжелых волос, расчесала парижскую челку, доросшую до темных бровей, оделась со скромной элегантностью и отправилась в «Башню» одна.

— Гумильвица явилась! — радостно приветствовали ее «аполлоновцы» новым прозвищем, означавшим причастность к «львиному» семейству Гумилева.

Шум и гам — обрывки речи, песен, вдохновенные или хмельные лица. Рояль в углу, и кто-то непременно барабанит по клавишам. Папиросный дым и запах увядающих хризантем, расставленных в изящных горшках. Где вы, зябнущие под осенним дождем ветлы Слепнева? Где патриархальная пыльная тишь старого дома? Вот она — другая жизнь! Легкое дыхание Серебряного века — скольжение по лезвию бритвы, упоение приближающейся грозой.

«Серебряный век» — торжество особой жизненной философии, гедонистического мировосприятия. Всеобщие неврастеничность и демоническая исступленность в разрушениях буржуазных устоев определяли пафос творческой раскрепощенности, свободы от бюргерских норм морали, мещанского быта. Рубеж столетий и первые десятилетия двадцатого века стали периодом наивысшего расцвета искусств, и в первую очередь поэзии. Пьяняще-туманные очертания в области личной ответственности порождали россыпь мимолетных любовных связей, самоубийств, преступлений. Святотатство и святость — все возможно, если вдохновлено истинной гармонией. Плоть и дух едины — вот формула новой гармонии. Свободная плоть и свободный дух правят Вселенной.

«Башня» Иванова, словно взметнувшаяся над скорбной землей в овальном эркере углового дома номер 25 (ныне — 35) по Таврической улице, стала центром новых веяний, собирая в

тесном кругу самых ярких представителей искусства и их поклонников.

Стихи, звон бокалов, догорающие свечи, вянущие розы в волосах, касание рук, скрещение взглядов и флирты, флирты! И все на высшем уровне эстетических, философских споров.

Анна замечала восторженные взгляды, перешептывания: «Жена Гумилева, и как хороша! Совершенный ампир — ходячая скульптура, омут загадочности в темных ресницах и сомкнутых губах!»

Вызывать восхищение, нравиться — приятное занятие, волнующее. Но не это сейчас было главным. Главное — стать поэтом. Не третьесортным, с самодельными тетрадками и альбомчиками, а таким, чтобы все, как Валька, тонули в слезах от умиления. Книжки раскупали, зачитывались, узнавали, заваливали цветами, оглушали восторженными воплями. И все, кто здесь, в «Башне», считает себя центром поэтической вселенной, почтительно, с придыханием произносили ее имя.

Похоже, именно тут нужно начинать свою карьеру. Причем — сразу! Не отсиживаться молчуном в углу до почтенных лет. Рвануть, как шампанское, пока молода, пока есть запал и Муза не скупится на песни! Сил и желания много. Нужна поддержка. Муж Гумилев — отлично для начала, без него сюда было бы трудно попасть. Только ведь он вроде не торопится помогать ей завоевывать славу поэта. Все еще советует жене подучиться на танцовщицу и заткнуть за пояс Иду Рубинштейн. Ничего, она прорвется на поэтический олимп сама. Вон как глазеют на нее литературные мэтры. Анна осмотрелась: множество знакомых лиц, известных имен, но все не то. А вот и самый знаменитый критик, уже хороший знакомый, — Георгий Чулков. Вошел широкими, энергичными шагами, ероша длинные густые волосы. Любезно приветствовал Анну: «Как же, как же — виделись в Париже!» И тут же попал в окружение страждущих общения с ним. Чулков был женат на умной женщине, предпочитавшей держать своего женолюбивого красавца на длинном поводке. Кроме того, известный литературный критик обладал неоценимым талантом: открывать молодые дарования и давать им путевку в будущее. Он умел зажигать «звезды». Вот именно таким поклонником стоило немедля обзавестись, улучив момент и продолжив знакомство. Анна понимала, что молоденькие поэтессы и литераторши не дают прохода мужчине столь выдающихся качеств. Но знала: если захочет — обойдет всех!

То, что Чулков будет на предстоящем вернисаже выставки «Мир искусства», не вызывало сомнений. Подходящее место, чтобы показать себя, привлечь и заинтересовать беседой

понимающего мужчину. Впрочем, беседа тут вовсе не главное, женские чары — вот перед чем он не устоит. Анна должна была не затеряться в толпе и использовать свое особое очарование в полной мере. Обтягивающее черное парижское платье и муаровая широкая накидка, переброшенная через руку, — как раз то, что надо для вернисажа. Муар слегка волочится по паркету, как сломанное крыло птицы. А ко всему этому непременная «шаплетка» (так называли маленькие парижские шапочки-шлемы, обтягивающие голову) с элегантной деталью авторского дизайна. «Авторским» — Валиным изделием стала шелковая, как бы увядшая черная роза, прикрепленная с бархатной лентой так, что падала, будто надломленная, к самому плечу. Длинная гибкая шея Анны от этого только выигрывала. А траурный цвет подчеркивал светлое серебро глаз. Нет, она не какая-то смазливая девчонка с мрачными стишками, она — сирена, искусительница, Пандора! Если захочет — прямо так, в парадном облачении, свернется в клубок, обвив узким телом стул. И глянет снизу магнетическим лунным глазом. Впрочем, время ее коронных трюков еще впереди.

…В выставочном зале Гумильвицу тут же окружили знакомые сотрудники «Аполлона», и она заметила, что Чулков не упустил из вида ее появление. Чуть кивнула ему с полуулыбкой Джоконды, которую отлично отрепетировала. И отвернулась. Боковым зрением уловила, как Георгий торопливо раскланялся с собеседником и направился к ней.

— Интересная выставка, Анна Андреевна, не правда ли? — Он поцеловал поданную Анной невесомую, ароматную руку в черном кружеве перчатки. — Прекрасная работа Судейкина! Воображаю, как завидует нам сейчас ваш супруг, страдающий от морской болезни на борту какого-то там «Арго». Позвольте мне предложить вам поддержку! — Он подставила Анне свой локоть, она легко оперлась, чувствуя, что первая победа одержана, а фраза о поддержке имеет весомый подтекст.

— Благодарю. Накидка оказалась слишком тяжела для моего израненного разлукой с супругом тела. — Склонившись к надежному плечу статного спутника, окутав его облаком парижских духов — горьковатых, манящих, она перебросила через руку край длинного палантина. И так стала еще больше похожа на античную статую.

— Надеюсь, Николай Степанович скоро вернется к цивилизации? — слегка вибрируя голосом от волнения, поинтересовался Чулков.

— Кажется, не ранее чем через месяц, — небрежно ответила Анна и перешла к картине Судейкина. — Я не очень понимаю

игру с открытыми красками. Какое-то истеричное веселье.

По ее тону опытный сердцевед сделал вывод: дама свободна и скучает. Он вызвался провожать ее — из чистой любезности. На вокзале — Анна Андреевна ехала в Царское — разговорились. Оказалось, супруга Гумилева пишет хорошие стихи, а сам Георгий как раз работает над романом «Слепой»! Тем у двух творческих людей находится множество, особенно если светлые глаза дамы притягательны, словно омуты, а джентльмен очарован каждым ее движением. Обрисовалась перспектива неизбежного романа. Чулков был далеко не беден, имел собственную квартиру, оказавшуюся поблизости от комнатки, снятой Гумилевыми на Тучковской набережной. Ведь Анна теперь частенько до утра задерживалась в городе, ездить в Слепнево не имело смысла, а беспокоить живших в квартире Гумилева родственников было бы просто негуманно. Вот и пришлось обзавестись «гарсоньеркой», совсем недорого. Роман закрутился нешуточный. Для Георгия Анна — не просто обольстительная женщина, она настоящий Поэт — это он понял сразу же.

С Чулковым ей дышалось легко и просто, даже радостно, хотя веселиться она не умела. Да и знала — не ее стиль. А он как опытный любовник и джентльмен умел говорить и делать именно то, что оставляло у дамы, дарившей его своим вниманием, пьянящее послевкусие от свиданий, как от бокала французского шампанского.

Глава 5
«Знай, я больше не буду жестоким, Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним». Н.Г.

В марте 1911 года вернулся Гумилев.

В царскосельском доме ящики, коробки, упаковки, чемоданы. Митя с женой, мать путешественника Анна Ивановна, толпа встречавших друзей — все получили подарки. Затем — торжественный обед и ритуал рассказов… Когда речь зашла о кулинарных пристрастиях аборигенов и впечатлениях Николая от дегустации личинок и червей, Анна демонстративно вышла из-за стола:

— Тошнит от вашей Африки!

Ей вслед обернулись удивленные лица. Что тут скажешь, жена Николая не считала нужным даже приличия соблюсти. Демонстрирует вздорный характер.

Она получила гору даров — шелка ручной росписи, экзотические украшения из серебра и кости. Вдобавок — маленького розового попугайчика, спавшего в клетке, накрытой платком. Какая прелесть — розовый какаду!

— Ты ждала меня? — Уведя жену в свой кабинет, Николай накинул ей на плечи черное кружево — шаль с длинной бахромой. — Это испанская работа. Купил в порту, она так похожа на тебя, прямо в руки просилась — как живая.

— Спасибо. — Анна ответила на полуофициальный поцелуй в щеку. — Мне не было одиноко. Я писала стихи, общалась с интересными людьми. И знаешь, решила твердо: не отговаривай, прошу тебя, это мой путь, мое дело. Никем другим я в этой жизни не буду. И стихов у меня уже набралось на приличную книжку. Думаю, сотни две.

— Да, каждому свое. Ты погружена в поэзию. Я, как видно, только и думаю что о путешествиях. Мир так велик и так заманчив… Девочка моя морская, ну не дуйся… И вот что я решил: давай издадим твои сочинения?.. Прочти что-нибудь! — Он сел у камина и закурил сигару с лицом серьезного, придирчивого критика.

— Хорошо… — У Анны на щеках выступили два красных пятна. Николай был строгим и справедливым судьей… Но как же ей не терпелось нанести ему удар! За пренебрежение к ее стихам, за унижение бросаемой на полгода молодой жены, за обманутые

надежды на его деловую помощь.

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики…
А я была его женой.

Анна воинственно вздернула подбородок. Николай хлопками изобразил восторг.

— Точно подмечено! Поздравляю — ты очень добра и наблюдательна! И знаешь, у меня есть чем ответить. Немного смешно вышло, хотя юмор, ты знаешь, не мое призвание. Тебе, разумеется, известно, что Киев считается городом ведьм?

— А разве не в Африке обитают самые могущественные колдуны?

— На меня они не произвели впечатления. Другое дело — киевские мастера. Слушай…

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.
(…)
Молчит — только ежится,
И всё ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью, Богом заклятою.

— Очасть — как я понимаю, омут? Страшная картина! Сейчас

заплачу над участью несчастного мужа! — Анна закусила губу, но сделала вид, что шутка не обидела ее. Виноватая, он считает? Богом заклятая? Хорошо же! — Выразительный крик души вышел у тебя, Николушка. Считай — меня сразил наповал! — Смеясь, она пошла к двери. — Постараюсь реализовать подмеченные характеристики. Кстати, я с супругами Чулковыми думала прокатиться в Париж. Все сомневалась, теперь решилась. — И не найдя нужным что-то объяснять, вышла из комнаты.

На следующий же день Анна уговорила Георгия съездить в Париж — он любил этот город в мае. Поездка поначалу вышла не совсем удачная. Чулков взял с собой жену Нину Владимировну, с которой Анна быстро подружилась. Но жена под боком — не лучшее условие для романтического вояжа. Да и не в Чулкове, собственно, было дело. Анна только и ждала, как от них отделаться.

Через неделю супруги решили поехать в Италию.

— А я, пожалуй, останусь. Записалась на курсы античного искусства при Лувре.

— Надолго? — удивилась Нина.

— А посмотрю, как пойдет. Надо ликвидировать пробел в образовании.

— Что передать Николаю Степановичу? Если курсы затянутся? — Догадливый Чулков хитро улыбался.

— Что люблю страстно и рвусь домой, но хочу подучиться. В этой области у меня совершенный провал! — Анна расцеловалась с его супругой: — Следите там за нашим красавцем, Ниночка!

…Амедео она увидела совершенно иным. Худой, бледный, осунувшийся от пьянства и бессонных ночей в кругу своих любимых натурщиц. Всклокоченная борода состарила его сразу на много лет. Однако для Ахматовой ее страстный итальянец был самым красивым на свете. Всякие Кики и Мими вмиг исчезли, и они остались вдвоем во всем мире — будто и года не прошло. Он, как и раньше, обжигал ее таинственным, пронзительным взглядом, у нее, как и прежде, что-то обрывалось под сердцем. Страсть захлестывала, оглушала. Тяжело дыша, он выпускал ее из объятий, шептал пересохшими губами:

О нет, любимая, будь нежной, нежной, нежной!
Порыв горячечный смири и успокой.
Ведь и на ложе ласк любовница порой
Должна быть как сестра — отрадно-безмятежной.

Стань томной; с ласкою дремотной и небрежной,
Размерь дыхание, взор сделай мирным твой.

Объятий бешеных дороже в час такой
Твой долгий поцелуй, хоть лжет он неизбежно.

— Это не Верлен, и не ты сочинил. Это кто-то придумал за меня. И речь обращена к тебе! Ты бешеный итальянец, ты душишь меня поцелуями, я теряю сознание в объятиях — «порыв горячечный смири и успокой!

Он потянулся за вином, выпил прямо из горлышка и расхохотался:

— Ты! Ты! Ты виновата… Радость моя нежная, а поесть у нас ничего не завалялось?

— Был кусочек вчерашней ветчины.

— Увы, я его ночью съел. Не грусти, царица. — Он вскочил, натянул широкие холщовые штаны и стал заворачивать в холст подрамник с портретом криволицего краснорожего мужика. — Пойду в «Ротонду». Лурьен мне обещал притащить клиента. Жди — приду богатым и устроим гульбу!

Его вымело, словно по комнате прошел сквозняк. Хорошо, что взял этот портрет — хоть глаза у кривого и были просто замазаны синей краской, а следили за ними не отрываясь. Анну осенило: живописью Амедео руководила некая мистическая сила. Он шел, ведомый ею, и это была его особая дорога. Что найдет на ней, что потеряет? Вопрос и в том — кто решится купить такой портрет?

Увы, он не разбогател, попытки сделать крошечный вернисаж в магазинчике друзей обернулись штрафом за изображение раздетой натуры в витрине лавчонки. Амедео был так беден, что не мог не только пригласить Анну в ресторан, но и предложить ей платный полотняный шезлонг в Люксембургском саду, и беднягам приходилось сидеть на обычных скамейках. Ахматова рассказывала, что они гуляли по ночному Парижу, по старинным, темным улочкам, а однажды даже заблудились и пришли в мастерскую Модильяни лишь под утро.

В крохотной, заставленной холстами комнатке Ахматова позировала художнику, естественно, одетая. В тот сезон Модильяни нарисовал на бумаге, по словам поэтессы, шестнадцать ее портретов, которые сгорели потом во время пожара в Слепнево. Однако до сих пор некоторые искусствоведы считают, что Ахматова скрыла рисунки, не желая представить миру откровенные «ню», рассказывающие всю правду об их отношениях… Ведь, по утверждению Анны Андреевны, наброски обнаженной русской Модильяни делал по памяти у себя в мастерской, в то время как она отдыхала в гостинице. Три месяца? Поразительный альтруизм петербурженки — работать

натурщицей у бесперспективного и малоинтересного «мазилы», страдающего к тому же склонностью к наркомании. Да еще каждый раз волноваться, не слишком ли откровенно прописана поза?

О, не морочьте нам голову, уважаемая Анна Андреевна! Зачем так стесняться волшебных молодых порывов, данных на радость долгой жизни? Три месяца счастья и терзаний совести — любимое сочетание поэтессы. Оно рождает чудесную мелодику стиха. Жаль, что все сожжено… В рассказе Анны Андреевны запечатлены лишь ситуации, приличествующие гостившей в Париже замужней даме. Так, согласно документу, днем Модильяни водил ее по музеям, особенно часто они заходили в египетский подвал Лувра. Амедео был убежден, что лишь египетское искусство может считаться истинным. Художник отвергал прочие направления в живописи. Русскую подругу он изображал в нарядах египетских цариц и танцовщиц.

Когда же наступала ночь, влюбленные выходили из мастерской и гуляли под открытым небом. По воспоминаниям Ахматовой, в те дни шли обильные дожди, и заботливый Дедо (так называли его в семье), прихватив на случай дождя огромный черный зонт, раскрывал его над Анной, словно пряча ее от всех житейских забот. В такие минуты для Ахматовой существовал лишь он — ее странный друг, казавшийся малым ребенком, нелепый романтик, воспевающий неземные миры.

Ахматова утверждала, что никогда не видела Амедео пьяным. Лишь однажды, накурившись гашиша, он лежал и в растерянности держал ее руку, повторяя: «Sois bonne, sois douce». «Но ни доброй, ни нежной, — добавляла поэтесса, — я с ним не была». Анна Андреевна считает, что замужней женщине приличествует быть строгой и нравоучительной с художником, позволяющим себе лишнего. Нельзя отрицать: ее не могли не страшить его увлечения, так легко подчиняющие его мягкую волю и ломающие и без того хрупкое здоровье. Она пробовала нажать на его тщеславие, угрожать разрывом, уходить. На следующий день он приползал, как провинившийся щенок, и клялся, клялся, что «никогда больше»… Но вырваться из алкогольной зависимости он уже не мог. Страдал, проклинал судьбу, и все повторялось снова.

Провинившись, Модильяни часто бродил ночами у ее отеля, бросая в окно сорванные на клумбе цветы или ветки жасмина до тех пор, пока она не выходила из темного парадного — непреклонная, гордая «святая блудница». Гумилеву для создания идеала не хватило маленького условия — он не сумел стать любимым мужчиной своей Примаверы.

Однажды Анна повторила трюк: не застав Амадея в мастерской, забросила ему в окно мелкие алые розы, целый букет которых только что купила у старушки.

— Как ты проникла сюда? — удивился он, обнаружив цветы.

— Они сами влетали в окно.

— Этого не может быть! Цветы лежали так красиво!

Эпизод с розами описан Ахматовой в воспоминаниях как самая милая и интимная деталь их взаимоотношений.

Когда Ахматова, покидая Париж, прощалась с Модильяни, он отдал ей свертки рисунков:

— Окантуешь и повесишь в своей комнате. Здесь шестнадцать лучших и вполне невинных зарисовок.

— Я буду все время смотреть на них… — Анна краем глаза следила за людьми, наводнявшими платформу — в Петербург всегда ехал кто-то из знакомых, и горячие прощания с далеко не респектабельным мужчиной не входили в ее планы.

— Ты приедешь?

— Непременно. Если ты бросишь убивать себя.

— О, за это не беспокойся. Я сильный! — Он согнул руки, демонстрируя бицепсы, и улыбнулся. — Брошу — все!

«Это конец, — поняла Анна. — Он никогда не станет прежним. Несчастная звезда. Линия на ладони не соврала. Интересно, попали бы его картины в хорошие музеи?»

Глава 6
«Ты совсем, ты совсем снеговая, Как ты странно и страшно бледна!» Н.Г.

Из Парижа Анна вернулась почти через три месяца. Виноватая, но с вызовом: «как ты ко мне, так и я к тебе!»

Узкие юбки, ровная, незавитая челка, папироса в длинном мундштуке — не узнать. «Парижская штучка»! А главное, Николай же видел: она была словно отполирована вожделенными взглядами другого мужчины. Он ненавидел Модильяни — пьяницу, фиглярствующего модерниста, наглого выскочку.

Николая бесил этот роман жены. Если бы не возведенная временем в культ свобода семейных нравов, следовало бы немедля разорвать отношения! Но что станут говорить о Гумилеве? «Тиран, ретроград и пошляк». Следовало жить проще: ну, отдохнула молодая жена в Париже, развлеклась, так и вы, господин Гумилев, не упускайте шанса — все так делают! На людях он наигрывал легкую иронию в отношении к увлечениям жены, дома — просто сходил с ума. Как пережить это? Твоя Ева — шлюха. Вроде так оно и занесено в современный кодекс морали нынешней женщины: «грешница — святая».

Он старался соблюдать холодный, официальный тон общения, но однажды все же сорвался — увидал зарисовки «ню», сделанные французом, и представил все! Комнату с осой в выцветшей занавеске, голую Анну на смятых простынях и его жадный взгляд…

Сцена была громкая, в жанре трагикомедии — оба нападали, оба просили прощения и снова норовили уязвить побольнее. Он грозил сжечь рисунки, но она успела их спрятать, повторяя: «Дикарь! Дикарь!» В результате — бессонная ночь и стихи. Оба, как накануне дуэли, строчили свои декларации в разных комнатах, в тишине, под перезвон уходящих часов, на фоне светлеющих оконных занавесей.

Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.

А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня,
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»

Свои стихи Гумилев назвал «Отравленный»:

Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?

Отвернулась печальной и гибкой…
Что я знаю, то знаю давно,
Но я выпью, и выпью с улыбкой,
Всё налитое ею вино.

А потом, когда свечи потушат
И кошмары придут на постель,
Те кошмары, что медленно душат,
Я смертельный почувствую хмель…

(…)
Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним.
Я уеду далеким, далеким,
Я не буду печальным и злым.

Мне из рая, прохладного рая
Видны белые отсветы дня…
И мне сладко — не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня.

Обмен поэтическими ударами вышел почти равноценный. Анна прямо назвала мужа «нелюбимым», но наделила его благородством святого юродивого, он же великодушно прощал ей все — даже убийство. Это уязвляло гордость Гумилева больше всего.

Блудница унижала в нем мужчину! В узком кругу слухи разносятся быстро, тем более что Анна и не таилась — супружеская верность не в моде. Женские успехи Гумильвицы лишь поднимали ее престиж. Николай страдал, старался заглушить боль иными лирическими привязанностями,

доказывая, что вовсе не нуждается в верности норовистой жены. Но скрыть накипавшее раздражение ему удавалось плохо. Видимо, в упорном нежелании признать талант Анны немалую роль играло и ущемленное мужское достоинство Гумилева.

И все же в четвертом номере «Аполлона» Николай Степанович великодушно поместил стихи Гумильвицы, а вскоре она была приглашена на собрание Общества ревнителей художественного слова, проходящее в «Башне» у Вячеслава Иванова…

Среди пришедших Анна сразу заметила бледного Блока — живого классика, мэтра, икону. Сонный взгляд, подвядшие кудри, безмолвное безразличие ко всему.

Анна сидела рядом с мужем и загадочно молчала. Гумилев представлял тип настоящего денди: подчеркнуто аристократические манеры, фрак, жесткий, до самых ушей, воротник с шелковым черным галстуком.

Присутствующие, располагавшиеся на диванах и за столом, по очереди читали свои новые опусы. Гумилев настаивал на подробном обсуждении услышанного. Неожиданно он обратился к жене:

— Анна Андреевна, может быть, вы что-то прочтете? Мы еще ни разу не слушали вас. — Николай любезно улыбался жене. — Просим, просим!

У Анны вспыхнули на смуглых щеках красные пятна. Вот он — момент решительно заявить о себе! Сейчас стихи Ахматовой услышат все эти искушенные и знаменитые. Услышит сам Блок! Она глубоко вздохнула, опустила глаза, тихо объявила:

— «Песня последней встречи». — И начала читать едва дрожащим голосом:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

На лицах присутствующих появились любезные улыбки. Она не видела никого, она слышала только тишину. Опустив ресницы, крутила на пальце агатовый перстень.

— Конечно, несерьезно, но мило, не правда ли? — Гумилев затушил в пепельнице недокуренную папиросу. — А вам, господа, кажется, понравилось? Очень рад, моя жена и по канве прелестно вышивает.

Он публично приравнял ее стихи к чепухе домашнего рукоделия! Но слез на лице Анны не было. Рот сомкнут — она умела молчать, не вступать в споры. Только два пятна горели еще ярче.

Вячеслав Иванов с минуту молчал. Потом встал, подошел к ней, поцеловал руку:

— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Вы — настоящий поэт. — Все знали, что Иванов в натянутых отношениях с Гумилевым, и посему полагали, что его преувеличенно торжественный жест — скорее провокация, желание вызвать реакцию у аудитории, и вряд ли выражает истинное отношение к стихам Гумильвицы. — Но ведь неплохие же стихи, господа!

Враги и завистники Гумилева зашептались — мол, Николай Степанович завидует дару своей жены и потому так привередлив.

Впрочем, есть и другая версия этого эпизода, восстановленная через несколько десятилетий самой Ахматовой: «Не было ничего такого. Гумилев не хвалил меня. А Иванов подошел ко мне и снисходительно улыбнулся: «Ох, какой густой романтизм!»

Здесь заметно желание обелить образ Гумилева, вырисовывающегося в первом варианте истории каким-то мелким ехидным завистником. Анна Андреевна настаивает, что зависти к ней как к поэту со стороны Николая Степановича никогда не было. Этому можно поверить.

Гумилев был очень требователен к чужим и собственным творениям. К Анне он относился с повышенным вниманием, стараясь быть объективным. Но и как личностям, и как поэтическим единицам им было трудно найти точки соприкосновения. Поэтическая тема и нота Анны — изначально

женственная и как бы бытовая резко расходилась с брутальной, декоративной поэтикой Гумилева. Чем лиричней и тоньше становились стихи Анны, тем жестче укоренялся в поэзии Гумилева культ воина и конкистадора.

— По мере того как ты углубляешься, как женщина, я хочу укреплять и выдвигать в себе мужчину, — объяснил он жене свою позицию на заседании Общества.

— Мужчина — не значит хам! Вы сознательно унизили меня перед всеми. И только подчеркнули этим свою предвзятость! Вы хоть подумали о моей репутации — ведь там был Блок!

— Блока давно не волнует ничего, кроме собственной персоны. К тому же он, кажется, скрылся по-английски еще до твоего триумфального чтения.

— Это вы все испортили! Ничего, Гумилев, у меня есть защитники!

— В принципе программе акмеизма ты соответствуешь.

— Спасибо. А что такое акмеизм, знаете вы один, — продолжила нападение Анна. — Надуманный бред.

— Нисколько. Скорее, хитрая заморочка для будущих исследователей. — Выбивая трубку, Николай улыбался. К сценам с женой он привык и сейчас с удовлетворением отмечал плоды своего воспитания: ни истерики, ни звучного скандала Анна не устроила.

…Организованный Гумилевым «Цех поэтов» должен был противостоять уже отжившему символизму под новым лозунгом — «акмеизм». Термин «акмеизм», происходящий от греческого «акмэ» (вершина, высшая степень совершенства), по мнению Гумилева, говорил сам за себя. Но многие отмечали созвучие названия нового течения с фамилией Ахматовой. Последователями акмеизма считали себя шестеро: Гумилев, Мандельштам, Термин, Городецкий, Зенкевич и Нарбут. И, естественно, Ахматова.

— Мы поставили своей целью реформировать символизм, направивший основные силы в область неведомого и попеременно братавшийся то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Посему — никакого мистицизма: мир должен предстать таким, каков он есть, — зримым, вещным, плотским, живым и смертным, красочным и звучащим. — Гумилев, обожавший теоретизировать, который раз рассуждал на излюбленную тему.

— Похоже, ты придумал эти тезисы для нас с тобой. Меня лично не тянет ни в теософию, ни в оккультизм.

— Но нам не чуждо и второе условие акмеизма — адекватность формы содержанию. Трезвость и здравая

реалистичность взгляда на мир должны выражаться конкретным языком реальных людей: конкретные предметы и конкретные свойства.

— Уж куда конкретней:

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.
(…)
Милым простила губам
Я их жестокую шутку…
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

Николай замялся — это были давние стихи, написанные ему Анной после очередной ссоры. Он разозлился:

— Неужели ты не слышишь — дамское рукоделие! Трогательно — да! Но для девиц.

— Когда-то тебе нравилось. — Она отошла к окну, отдернула штору, сказала покрытому дождевыми потоками стеклу: — Ты все врал! Ты просто завлекал меня! Это подло! И вовсе не трогательно.

— Я что, должен писать о своих рогах? Это, милочка моя, уже Шекспир или Рабле — как повернуть. Но не акмеизм! Художник может подходить к самой границе «непознаваемого», в особенности там, где имеет дело с человеческой психикой, тайнами чувств и смятенностью духа. Но — никакой «неврастении»; объективность, твердость и мужество — вот черты личности художника-акмеиста. — Гумилев широко шагал из угла в угол, ощущая растущую в себе правоту.

— Ну и сидите один на своих чемоданах с теориями! И не лезьте, никогда больше не лезьте ко мне! — Грохнув о пол ни в чем не повинную вазу, Анна метнулась прочь.

— Вульгарность — не ваша сильная сторона! К несчастью, вас все время тянет в дурную компанию. С кем поведешься… — Не мог он не помянуть парижского «хама». Какое тут благотворное воздействие, если она так и норовит сорваться в грязь!

Гумилев старался «воспитать жену». Он прекрасно понимал,

что двадцатитрехлетней молодой женщине, выросшей в хорошей семье, но не получившей серьезного светского воспитания, проводившей время с рыбаками и рыночными торговками, трудно общаться с маститыми поэтами столицы, тяжело быть центром внимания. Если издали и молча она всегда производила впечатление утонченной особы, то при близком общении простоватые ухватки босоногой приморской девчонки бросались в глаза. Жест одесского Привоза — с хлопком по колену и выставленной к собеседнику ладонью — бесил Гумилева. Интонации простонародного говора юга России прорывались у Анны, особенно в моменты волнения и в пылу семейных перепалок. Николай требовал от нее медленной, обдуманной, безукоризненной речи. Пусть предельно лаконичной, но способной привлечь и удержать внимание собеседника.

— Пауза! Пауза! Пауза важна в речи не меньше, чем цензура в поэзии. Держи паузу, если хочешь подчеркнуть значительность высказывания, — повторял он.

Анна справилась с поставленными задачами — до конца жизни она произносила слова раздельно, словно обдумывая каждое. И эта особенность придавала ее речи весомость. К тем годам, когда ее начнут величать Королевой, облик, осанка, сдержанные манеры и значительность высказываний сольются в органичное единство. Пока же Николай частенько называл жену «дворняжкой» — а она старалась запомнить урок и думала о том часе, когда покажет всем, кто здесь самый «породистый» и по светскости, и по дарованию.

Глава 7
«Отчего же, отчего же ты Лучше, чем избранник мой?» А.А.

Анна стала чаще ездить в Петербург к Вале Тюльпановой, ходила на выставки, литературные вечера, посещала «Башню» Вячеслава Иванова, где собирался регулярно весь художественный бомонд. Чутье, вкус, память — эти качества помогали ей улавливать новые веяния в легких беседах и умных дискуссиях. Она, безусловно, многое взяла от своего уникально одаренного Серебряного века — прежде всего необычайно и виртуозно развитую словесную культуру, а также и самый дух новаторства, пронизывающий эти десятилетия. Но было и еще одно качество, помогавшее молодой поэтессе вырваться в первые ряды, — она разбиралась в мужчинах и умело использовала их. Неспособность влюбляться до умопомрачения позволяла ей сохранять разумную дистанцию в отношениях — соблюсти в нужных пропорциях увлеченность и рациональный подход к воздыхателю.

Анна ухитрялась вынашивать параллельно несколько влюбленностей — и каждая приносила свои плоды. Жизнь наполнялась смыслом, Муза дарила стихи, Ахматова посвящала их возлюбленным, а число поклонников ее лирического дарования все росло. Они наперебой писали стихи в ответ своей «луноглазой волшебнице» и помещали хвалебные отзывы в поэтических журналах о ее таланте.

Но все это — в порядке общего кипения литературной жизни. А Анне нужен был громкий резонанс в прессе, отзыв влиятельного критика. Она старалась поддерживать отношения с Чулковым, тем более что встречи с этим красивым, безупречным джентльменом всегда давали ей ощущение легкости и собственной значимости. Он умел сказать о ее стихах без банальных комплиментов и именно то, что она хотела бы слышать, — глубоко и точно…

Однажды в осенний вечер Чулков пригласил Анну к себе, прочесть главы почти завершенного романа. Он уже не раз читал ей куски своего сочинения, и она была в курсе вполне реалистического сюжета. Чулков, вуалируя имена и детали, рассказывал о своей теперешней невлюбленности в Любочку Менделееву, с которой у него был известный всем (и описанный в «Слепом») роман. Георгий умел воспламеняться и гаснуть, а, погаснув, не мог понять, что так волновало его в бывшем кумире,

почему так неприглядны отцветшие в саду хризантемы? Но с Анной — нечто иное. Шло время, и кажется, первый жар давно остыл, однако их временами тянуло друг к другу, и свидания приносили обоим необременительную радость…

Вино, камин, свечи, за зашторенными плотным гобеленом окнами лепил в стекло мокрый снег.

Георгий освободил пришедшую на свидание даму от тяжелых влажных одежд. Прижал к груди, жадно вдыхая аромат ее тела.

— Промокла вся! Голубушка моя, немедля садитесь у камина, забирайтесь с ногами в кресло, берите вот эту огнедышащую чашу грога и слушайте. — Он подал ей высокий бокал с плавающим в горячем крепком напитке ломтиком апельсина.

Черные кудри до плеч, свитер толстой вязки с грубым воротом — в нем было что-то разбойничье-театральное. Сделав пару медленных глотков, Анна отставила бокал, потянулась. Все ее возлюбленные знали о воздетых руках Анны — «взлетевших рук излом больной».

«Разбойник» умело и легко подхватил длинное, почти невесомое тело, положил на толстый ковер.

— «В глазах улыбка исступленья», — процитировал он стихи Анны, умело справляясь с ее узкой, застегивающейся сбоку на крупные пуговицы юбкой. Она закрыла его рот поцелуем…

Через некоторое время чтение романа продолжилось. Чулков расхаживал перед свернувшейся в кресле Анной:

— Так вот, мой герой по фамилии Лунин, как вы помните, художник-портретист, хотел написать портрет дамы… А когда увидел ее распущенные волосы и глаза, потемневшие от страсти… он богомольно прижался к ее ногам… Вот так! — Георгий припал к стопам своей дамы.

— Я помню — удачная деталь. — Она сплетала в косу длинные волосы. — Но вы пишете о нас, а я ждала откровений, исповеди об отношениях с Любовью Дмитриевной Менделеевой.

— Разве можно?! Какие исповеди при жизни? Я вовсе не спешу попасть в ад. Моя жена — чудесная женщина, но зачем же травмировать ее прямым текстом? Да и все прекрасно разбираются в иносказаниях. Разве вас не впечатлило описание истории с Менделеевой?

— История кончилась грустно. Вы разлюбили.

— Да, финал печален. Разбита и новая любовь Лунина: художник остается один — портрет Анны с воздетыми руками остается недописанным.

— Право, чрезвычайно трогательно. Полагаю, у этого произведения найдется много поклонников. Я посоветую Гумилеву прочесть. Жаль, он не любит современную прозу. И,

кстати, мои стихи. Недавно на собрании Общества поэтов ужасно оскорбил меня в присутствии Блока.

— Ах, Александр в последнее время все больше витает в своих мыслях. Ему не до выдвижения молодых дарований. А вот Гумилев не прав. Ему придется признать свое заблуждение. У вас совершенно особый, простой и щемящий способ проникать в потаенные слои психики слушателя. Каждый, особенно дамы, непременно думает: «А это точно про меня. И как удивительно сказано! Оказывается, я так глубока, так тонка, изящна!» Вы, как Господь Бог, дарите людям Слово! Вы учите их ощущать во всей полноте жизнь души и выражать это! Прочтите что-нибудь, прошу вас. И запомните: я пророчу вам славу! Огромную славу, чудесная моя!

Анна не изменила позы, лишь обхватила тонкими руками колени.

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь — уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Я не плачу, я не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать.
Не целуй меня, усталую, —
Смерть придет поцеловать.

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

— Умоляю, читайте еще! — Польщенный «избранник» опустился на ковер у ее ног, обнял колени. Она заглянула в его глаза и, не отрывая взгляда, продолжила:

Как соломинкой пьешь мою душу,
Знаю, вкус ее горек и хмелен,
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.

Когда кончишь — скажи. Не печально,
Что души моей нет на свете,
Я пойду дорогой недальней
Посмотреть, как играют дети.

(…)
Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело…
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

Георгий обхватил голову руками, словно стараясь не разрыдаться. «Как же эта уникальная женщина умеет разбередить душу, попасть в самые больные точки! Вот и это упоминание вдовства… Бедняжка, такой трудный брак! Но какой талантище!»

Он написал статью, полную умного и неподдельного восхищения поэзией Ахматовой. Упомянул об «изысканности поэтического дара», об «умении передавать утонченности переживаний»… И добавил, что почти в каждом стихотворении, «как в бокале благоуханного вина, заключен тайно смертельный яд иронии». Рецензия была глубокая, Анну заметили, о ней заговорили. Вернее, стали говорить определениями Чулкова о ее стихах. Всем было известно: этот маститый критик имел не только влияние в литературной среде, но и безупречный вкус. А ведь о поэзии сказать умно надо еще уметь!

«Да, “смертельный яд иронии” — совсем неплохо», — сказала себе Анна, перечитав рецензию друга.

Роман Чулкова «Слепой» имел оглушительный успех. Иносказания были слишком прозрачны, супруга поняла, что у мужа очередной приступ влюбленности в черноволосую чаровницу, и увезла его в Европу, откуда они вернулись в Москву и вскоре стали счастливыми родителями: у Георгия родился долгожданный сын.

Глава 8
«Все мы бражники здесь, блудницы». А.А.

К началу нового, 1912 года художественный бомонд Петербурга ждал открытия кабаре под названием «Бродячая собака». Срочно обустраивали подвальчик на Михайловской площади, прежде служивший прачечной.

По замыслу организаторов — писателя А. Н. Толстого, художников М. В. Добужинского, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина, театрального деятеля Н. Н. Евреинова, архитектора И. А. Фомина и главного вдохновителя «Собаки» режиссера и актера Б. К. Пронина — здесь в пародийных представлениях должны были объединиться новые художественные направления. Шуточно-романтический образ одинокого художника — «бесприютной бродячей собаки» — дал название кабаре.

В начале двадцатого века кабаре вошли в моду как своеобразные клубы художественной элиты, где посетителей объединяла игровая стихия, готовность принять участие в любой спонтанно возникавшей ситуации (от скандала до чтения стихов и пения романсов).

«Собака», открывшаяся новогодним маскарадом, стала любимым местом богемы. Три раза в неделю ночь напролет здесь проходили разнообразные представления, концерты, музыкальные и театральные вечера, чаще всего в жанре пародийно-юмористических скетчей. Читались в «Собаке» и лекции по вопросам искусства, устраивались чествования русских и зарубежных деятелей. Но юмор, эскапада, озорство преобладали во всем, что бы тут ни происходило.

К одиннадцати часам — официальному часу открытия «Собаки» — съезжались одни «фармацевты», то есть случайные посетители. Как правило, господа богатые и меценатствующие. Платили три рубля за вход, пили шампанское и всему удивлялись. Позже, вплоть до утра подтягивалась публика «своя» — отыгравшие спектакль актеры, художники, отужинавшие в ресторанах литераторы. «Собака» превращалась в клуб художественного бомонда.

В подвальчике с наглухо задрапированными окнами было всего три комнаты: буфетная и две залы — побольше и совсем крохотная. Стены были пестро раскрашены Судейкиным, Баклиным и Кульбиным, ярко горел огромный кирпичный камин, на одной из стен висело овальное зеркало, под ним стоял длинный диван — место для особо важных гостей. Нехитрый

интерьер дополняли низкие столы, соломенные табуретки.

Сводчатые потолки всегда заволакивали клубы дыма, на крошечной эстраде звучали стихи, музыка, разыгрывались шуточные представления. Здесь дурачились, наряжались в карнавальный хлам — отдыхали от принятого в свете дендизма, вели принципиальные споры о будущем искусства, влюблялись. Здесь зажигались «звезды» и гасли самые пылкие мечты.

Большинство постоянных «собачников» составляли сотрудники или авторы аристократического «Аполлона», не лишавшие себя радости подурачиться. Часто «Собаку» навещали и именитые гости. Здесь бывал король французских поэтов Поль Фор, Эмиль Верхарн, Рихард Штраус, заходили все питерские и приезжие поэты: Маяковский — в желтой кофте, Игорь Северянин — в кожаном камзоле и автомобильных очках, Хлебников — с отсутствующим взглядом самоубийцы. Как-то появился юноша с ресницами-опахалами и ландышем в петлице — Осип Мандельштам.

Однажды вдохнув дымный воздух шумного подвала, Ахматова почувствовала — это ее место. Через год, под Первого января 1913 года, вспоминая новогодний маскарад в честь открытия кабаре, она написала «оду» «Бродячей собаке»:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что нам, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Вскоре после открытия кабаре на вечере, посвященном двадцатишестилетию поэтической деятельности Бальмонта,

Ахматова впервые прочла стихи не через столик, как в «Башне», а с крошечной эстрады. Продумала сценический наряд, соответствующий настроению стихов: узкое черное шелковое платье, старинная шаль со стеклярусом — прабабушкина, из сундука свекрови.

Прямая и неторопливая, она прошла зальчик, встала вполоборота (как отрепетировала уже давно) — так хрупкая фигура казалась еще тоньше, вот-вот переломится в неправдоподобно узкой талии. Полупрофиль был четко очерчен, маленькая черная голова с атласной челкой опущена. Начала читать:

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

У нее был низкий, как бы ниспадающий голос. В начале строфы он набирал высоту и скользил вниз, замирая почти в шепоте. Такую манеру не назовешь «завыванием», но и на чтецкую она не походила: смысловые подробности не выделялись, слушатель схватывал мелодию всей строфы. Она не модулировала оттенки смысла — звук был полный и глубокий. Чтение Ахматовой чаще всего сравнивали со священнодействием. Она точно уловила необходимый ей стиль, производя впечатление сдержанного величия…

Тишина, и вдруг публика взорвалась криком: «Браво!» «Еще! Еще!» — скандировали зрители. К ней кинулся господин в смокинге и с розой в бокале шампанского:

— Позвольте объясниться вам в любви! Мы видимся впервые… Возможно, вам покажется странным…

— Впервые?! Удивительно, что вы не упомянули о пирамидах!.. Обыкновенно в таких случаях говорят, что мы, мол, с вами встречались еще у пирамид при Рамсесе Втором. Неужели

не помните? — парировала Анна, ее реплику оценили взрывом смеха.

…Мандельштаму Анна Андреевна пророчески предрекла: «это наш первый поэт». И он не остался к ней равнодушен. Написал «портрет» Ахматовой, читающей стихи в «Собаке»:

Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

«Ваши стихи можно удалить из моего мозга только хирургическим путем», — сказал Анне юный поэт. Они подружились на многие годы. Долгая дружба связывала ее и с женой Мандельштама Надеждой Яковлевной…

На посиделках в «Башне» Иванова среди снобов, все никак не могущих разделиться на футуристов, акмеистов и символистов, она еще испытывала комплекс «дворняжьей» породы. Уж больно все умные и горазды говорить красиво — о программах своих, манифестах, как иронично заметил Гумилев, «для будущих занудных исследователей» (в этом смысле куда ближе к истине Цветаева, отрицавшая всякое формалистическое деление поэтов, кроме как на хороших и плохих).

А в прокуренном подвальчике у Анны был свой зритель, именно тот, не искушенный авангардным искусством «фармацевт», предпочитавший стихи балету или музыке. Зритель, конечно, не с улицы. Большей частью — интеллигенция Петербурга.

Красавицей Анна не была, она, как считали ее поклонники, была больше чем красавица. Молодая Гумильвица даже среди красоток, собиравшихся в «Собаке», привлекала внимание своей нестандартной одухотворенностью, «отделенностью ото всех». Какая уж тут «дворняжка» — самая аристократическая порода заявляла о себе в манере двигаться, острить, молчать.

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,

Веселость едкую литературной шутки…

Но конечно же у полупьяной, талантливой, шумной, валяющей дурака «Собаки» был сильный душок «кабака и вульгарности», как справедливо считали снобы. Блок, брезгливо «Собаки» сторонившийся, литературовед-аристократ Недоброво и прочие солидные мэтры сюда не заходили. Анна ощущала этот пошловатый, рисковый привкус увеселений. Он ей нравился, но отмежеваться от бесшабашного веселья она считала необходимым. Ведь у нее совсем иной полет. «Вечно и всюду чужая», — писал Гумилев. Значит, надо держать марку. Становясь примадонной «Собаки», Ахматова старалась сохранить манеру отстраненности и аристократической строгости. Но не лишала себя эксцентричных выпадов и амурных радостей. Поднявшись из-за стола, могла сделать «змейку» — обвить стул изогнутым, ноги к голове, телом. Ее гибкость, как и тонкость кости, — совершенно исключительная, ошеломляла многих. Однако смелые трюки не исключали довольно резкого тона с теми, кто, как считала Ахматова, позволял себе амикошонство.

Юный Маяковский однажды, держа ее хрупкую руку в своей огромной пятерне, громко восхитился:

— Пальчики-то, пальчики-то! Боже ты мой!

Ахматова нахмурилась и отвернулась. Таких манер она не принимала.

Гумилев привык, что Анна часто проводила в «Собаке» ночь напролет. Посидев в кабаре, пообщавшись с друзьями, он уезжал пораньше, оставив жену развлекаться.

Глава 9
«Да, я любила их, те сборища ночные…» А.А.

В пятом часу утра «Бродячая собака» затихала в клубах дыма.

Сидя у камина, Ахматова прихлебывала черный кофе и курила тонкую папиросу. Она была бледна от усталости, вина, резкого света. Уголки губ опустились, ключицы резко выдавались. Глаза — холодные и неподвижные, как у незрячего. Она никогда не оставалась одна. Друзья, поклонники, влюбленные, околобогемные дамы в причудливых шляпах вились вокруг: Ахматова — всероссийская знаменитость. С того вечера, когда в «Башне» ее поздравил Вячеслав Иванов, прошло два года. Выступления на литературных вечерах, публикации в периодике, частые чтения в «Собаке» принесли Ахматовой огромную популярность.

Гумилев помог жене отобрать из двухсот стихотворений те сорок шесть, которые составили первую ее книгу «Вечер». Заплатив сто рублей, он издал сборник в своем «Цехе поэтов». Предисловие, написанное Михаилом Кузминым, заканчивалось торжественно: «Итак, судари и сударыни, к вам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его — Анна Ахматова».

Вышедший в начале марта, сборник наделал много шума. Оказалось, что Ахматова восприняла установки акмеистической «программы» по-своему, трансформировав ее в соответствии с природой своего таланта. Ей удалось запечатлеть феномен двойственности мира. В стихах Ахматовой реальность существует в двух ипостасях — видимой и невидимой, поверхностной — познаваемой и глубинной — лишь смутно ощущаемой. Она нередко подходила к «самому краю» непознаваемого, но всегда останавливалась там, где мир еще видим и тверд. Силу и свежесть ее стихов ощущали, но нащупать тайну их завораживающей проникновенности смогли лишь позже.

Анна пожинала плоды славы. Она перестала скрывать свои увлеченности, кокетничала на глазах у завсегдатаев «Собаки» то с графом Зубовым, то с Зенкевичем и Шилейко и чуть не закрутила роман с Артуром Лурье.

Валентин Платонович Зубов — персона в Питере очень известная — коллекционер, меценат, основатель Института искусств. К тому же — богач и настоящий граф. К ногам Анны,

сидящей в «Собаке», приносили от Зубова огромные букеты. А потом он умыкал ее на своем «Роллс-Ройсе», убедив весь Петербург в их бурном романе. Зубов заметил Анну еще в новогоднюю ночь на открытии «Собаки». На следующий год он подарил ей каталог своей коллекции, а приглашение на новогодний бал 1914 года вложил в корзину роз. В черно-мраморный дворец Зубова Анна поехать не смогла — была нездорова и отослала с нарочным записку со стихами:

…А вы останьтесь верным другом
И не сердитесь на меня,
Ведь я прикована недугом
К моей кушетке на три дня.
И дом припоминая темный
На левом берегу Невы,
Смотрю, как ласковы и томны
Те розы, что прислали вы.

Отсылка к женским недомоганиям звучит довольно интимно, как и к «томным, ласковым розам», и воспоминаниям о черно-мраморном дворце. Тем более что Валентин Платонович с очевидностью роли «верного друга» не ограничивался. В марте 1914-го он заказал в типографии уникальный экземпляр вышедшего сборника Ахматовой «Четки» — в парче под девятнадцатый век, и преподнес его Анне прямо в «Собаке»…

Блестящий пианист, композитор Артур Лурье был знаменит как создатель нового направления в музыке. Носатый гений добивался внимания Анны и чуть было не завлек ее в интимные отношения. Но водевильная ситуация открыла неожиданную деталь: эксцентричный музыкант оказался «сердечным другом» близкой приятельницы Анны — Ольги Судейкиной…

Перечислять рыцарей Ахматовой и тем более определять степень близости поэтессы с ними — занятие увлекательное разве что для светских сплетников давно ушедших лет. Мы лишь заметим: у ее ног всегда были мужчины — и самые значительные, и случайные, к которым внезапно рванулось сердце.

Папироска дымилась в тонкой руке, зябкие плечи, закутанные в шаль, вздрагивали от кашля. Комната на Тучке сыра и холодна, а в «Собаке» слишком дымно для легких Анны. У нее постоянный бронхит, в верхушке легкого прослушиваются хрипы, возможно, свидетельствующие о появлении нового очага затемнения.

— Вам холодно, вы простужены? — К ее столику подошел юный поэт, старательно прячущий обтрепанные манжеты чужого

смокинга. Копна романтических кудрей над бледным лицом, лиловые тени вокруг глаз.

— Нет, я совсем здорова. — Анна всмотрелась в его зрачки — глубокие, отчаянные. И отвернулась.

— Но вы кашляете, — не отступал он.

— Ах, это… Это не простуда, это чахотка. — Легким движением кисти, отягощенной перстнями, она указала на место рядом.

Он сел, опустил девичьи ресницы:

— Я знаю, что это. Я тоже болен.

Анна наконец удостоила юношу слабой улыбкой, вспомнила его стихи — страшные, глубокие. Апокалипсические, но честные, без ноты фальшивого надрыва. Грудь впалая, лицо одухотворенное и отчаянное. На тонком запястье за кромкой его заношенных манжет билась голубая жилка.

— У вас сильные стихи. Не зрелые, но с кровью. Здесь чаще бывают смрадные.

— Смрадные… — повторил он задумчиво. — Точно подметили: фальшь и патетика — смрад… За ваши слова обо мне кланяюсь. Это будет мой талисман.

— Проводите меня. Здесь в самом деле душно. — Она поднялась, прихватила накидку и вышла на улицу, жадно вдыхая свежий осенний воздух. Он стоял рядом:

— Вас подвезти?

— Подвезу вас я. — Она остановила извозчика.

…Маленькие флирты кончались то смешно, то горько. Один поклонник застрелился от вселенской тоски, другой долго ходил по пятам и умер от чахотки, третий бросил, умчавшись с другой, четвертого занесло в американский «рай», пятый… а сколько их было? Не важно. Они были молоды и талантливы. Аплодисменты в дыму «Бродячей собаки» — единственная слава, выпавшая этим быстро отгоревшим сердцам. Свидание с Анной — самый большой приз, дарованный судьбой.

Но вернемся к марту 1912 года. Гумилев сделал жене подарок — издал сборник «Вечер» тиражом в пятьсот экземпляров.

— Поздравляю тебя! Представляешь, вполне понимающие люди перечитывают твои сочинения по несколько раз! — Гумилев победно смотрел на Анну, усиленно скрывавшую радость. Маска холодного безразличия — совсем еще девчонка! А у самой голова кругом идет. Затраты небольшие — всего сто рублей, но как бережно держала в руках свою первую книжечку поэтесса! Ушла в комнату и просидела там молча чуть не час. Вошла загадочная в

его кабинет. Взъерошила всегда торчавший хохол на макушке:

— У меня есть идея, Николя. А не совершить ли нам банальнейшее путешествие в Италию?

Через много лет она совсем по-иному опишет момент появления первой книги:

«Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз… Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 год, весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые — у них не выходит книжка».

Обидно фальшивая интонация стареющей дамы. Совсем не похожа описанная «королевой поэзии» «пустейшая девочка» на амбициозную звезду кабаре, купающуюся в славе, радовавшуюся каждой журнальной публикации своих стихов и получившую, наконец, желанный сборник. Наивное желание Ахматовой оставить искаженный автопортрет закомплексованной «бедной девочки», бегущей от литературной славы, мало чем украшает юношеский образ трафаретной золушки от литературы. Вероятно, тощий сборник был слишком мизерным для амбиций Анны. Можно и наиграть полнейшее безразличие — ведь она верила: впереди — собрания сочинений!

В Италию супруги поехали в ознаменование начала печатной биографии Ахматовой. Гумилев таил надежду на сближение с женой в «стране всех влюбленных».

Венеция, Флоренция, Рим — все удивляло Анну, но оставляло холодной, шквал эмоций проносится мимо, не растапливая лед отстраненности. Чужие восхищения, словно отполировавшие старый камень, — почему они не затрагивают ее? Однажды один просветленный индус скажет Анне Андреевне, что она родилась с закрытой чакрой радости. Да и она сама чувствовала в себе томящий груз смутной скорби. Мода была на «мировую тоску», но для Анны белый свет сходился клином на ее собственных любовных томлениях — вернее, томлениях, сплавляющих чуткое, уносящееся в бездны духа воображение с невзрачным фактом любви-разлуки.

Но как она умела обыграть свою «ущербность» — неумение радоваться «на полную катушку»!

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!

Мне холодно… Крылатый иль бескрылый,
Веселый Бог не посетит меня.

Верно, веселости из Анны не выжмешь, а вот темной, нудной, как зубная боль, кручины — с избытком. Отличный резерв для глубокой лирической поэзии. «Великолепная тьма», «густой туман», «мрак» — многозначные образы ахматовской поэзии: толща времени, бездна, обещание света, еще не проявленная жизнь — вот некие мистические величины, которые Анна сталкивает в своих стихах с «хламом обыденности», высекая яркие искры откровения. Анна Андреевна владеет тайнами колдовского варева.

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Это знаменитое откровение, сделанное в 1940 году в цикле «Тайны ремесла», как нельзя лучше передает методику использования исходного материала в творческой «лаборатории» Ахматовой, оставляя за кадром главную часть сплава — те драгоценные шепоты, крики, подсказки мироздания, которые улавливало шестое чувство отнюдь не пустейшей девчонки. Причем девчонки, знающей за собой эту способность с детства.

А по Венециям ездить и не обязательно — не умеет она справляться с вихрем радости и восторга, прилагаемым к туристическим маршрутам. Оставим эти услады тем, кто попроще, кто припадает к чаше, а не к истокам.

Да и лирики в совместном путешествии оказалось мало. Супруги больше спорили и злились друг на друга, чем объединялись в восторгах. Увы, в интимной жизни этой пары ничего путного произойти не могло. Для него она была слишком

холодна — «снежная дева», «ледяная королева». А растапливать снега суровый покоритель африканских дебрей был не мастак. Он владел иной магией — магией Слова. Оно подчинялось ему, позволяя выразить то, что плохо получалось в близких отношениях с женщиной — с той «единственной в мире», которую Гумилев, несмотря на горделивые заявления, так хотел сделать страстной любовницей и задушевным другом.

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастие мое.

Когда я жажду своеволий
И смел, и горд — я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Глава 10
«Ее душа открыта жадно Лишь медной музыке стиха…» Н.Г.

В Италии Анну подташнивало, а в сентябре 1912 года в Слепневе родился мальчик. Лев — Гумильвенок. Два месяца Анна кормила сына грудью, до восьми, как полагается по традиции, была рядом с ним, а потом уж заботу перехватили бабушки и няни. Свободу Анны материнство не ограничило.

Гумилевы купили в Царском Селе новый дом, а старый, совсем уж ветхий, сдали в аренду. Двухэтажный, увитый диким виноградом, этот дом привлекал всех особым уютом. В комнатах было тепло даже в морозы, старый паркет поскрипывал, в застекленной столовой пышно цвели кусты азалий, вереница комнат, и почти в каждой — диваны с мягкими подушками и полки с томами до потолка. В библиотеке запах старых книг, духов, пыли, хорошего табака. К созданию этого уюта Анна не имела никакого отношения. Устройством жилища в основном занималась мать Николая Степановича. Анне же, совершенно равнодушной к бытовым проблемам, удавалось пройти чуждой тенью по всем домам, в которых ей приходилось жить.

Свою комнату, в которой Гумилев планировал проводить заседания «Цеха поэтов», он украсил трофеями путешествий, весьма выразительными. Анна, всех этих жутких масок, перьев, тесаков и страшных сверкающих ножей не терпевшая, тоскливо оглядела новый кабинет мужа.

— Тебе удалось и здесь сохранить свой мир. Варварская экзотика. Выдолбленного каноэ с веслом не хватает.

— А вот это тебе как? — Довольный декором, Николай погладил бивень слона, вмонтированный в отделку камина.

— Это впечатляет. Фаллическая символика тебе к лицу. Бивень, нос, фаллос — предметы одного ряда. По крайней мере, как болтают, по величине. — Смягчая резкость шутки, Анна обняла мужа за плечи. — Наверно, я слегка тебе завидую. Ведь сама даже ни на минуту не задумалась над тем, как украсить свою комнату. Была бы бумага и чернила.

— Так это у вас, душа моя, дух бродяжничества и перемены мест. А я, выходит, — существо оседлое, о жилище своем пекущееся.

(Анна и Николай все еще использовали обращение на «вы» в ходе «официальных» бесед. Интимное «ты» означало у них разрядку напряженности.)

— Чего же ты ждал от приморской девчонки? Я же почти цыганка! Хочешь, погадаю?

Николай спрятал руку за спину:

— Боюсь предсказаний.

— А сам все время каркаешь про свою раннюю гибель на чужбине — юные маги в пурпуровых хитонах и прочие оперные декорации.

Николай потемнел. Насмешка Анны больно задела его. Главное — не подавать вида. Он резко протянул ей левую ладонь:

— Гляньте, ворожея ненаглядная. Может, счастливые перемены в браке увидите. Бывает ведь, что новые линии появляются? И согласитесь: «пурпуровый хитон» — это красиво.

— По мне уж лучше «юные маги». Но если честно — созданная тобой картина впечатляет. Я просто вредничаю.

Анна взяла его руку. Она уже гадала ему несколько раз. И каждый раз врала, да еще внушала себе, что придумывает в хиромантии больше, чем знает на самом деле. Линия жизни Николая обрывалась почти в центре ладони. Резко, словно ее стерли. Смерть в тридцать лет. Вначале дрожала, отпуская его в эти чертовы странствия, а свекровь шепнула: «Да не бойся, мы, Гумилевы, от пуль заговоренные». Так она и стала думать, а Николаю про обрыв линии жизни не говорила.

Николай не раз бывал у африканских колдунов с целью прояснения будущего — огонь черный жгли, в бубны били, кровь орла по воде пускали туземные умельцы. И молчали. На разрисованном темном лице никаких эмоций. Руки к небу воздевали, завывали волком. Переводчик говорил:

— Ты, господин, молиться духам своим должен. Много молиться. Духи против тебя сильные идут. Кровь голубя в полнолуние пить надо.

Он согласно кивал, руки складывал лодочкой — непременно, мол. Но сейчас ладонь Анне протянул с вызовом: над стихами его надсмехается, себя ясновидицей выставляет, а слова из нее лишнего не вытащишь. Вот и сейчас лишь глянула на руку мужа, пожала плечами и отвернулась:

— Ничего нового. Сынок умный вырастет. Жена — ветреная. Но не одна. И детишек еще — куча.

— Это я уже слышал. Но индейскую принцессу пока себе не подыскал.

— Далеко ездить не надо. Тут найдешь.

Анна обзавелась яркими подругами. Среди них были постоянные посетительницы «Бродячей собаки» — княжна Саломея Андроникова и Ольга Глебова-Судейкина, танцовщица и

актриса профессионального театра — задорная Коломбина кабаре. «Веселый бог» щедро одарил ее. Эта очаровательная, жизнерадостная молодая женщина умела все, что не давалось Анне, — петь, печь, рисовать, мастерить удивительных кукол, расписывать фарфор, быть бесшабашной резвушкой, душой компании. (Анна лидерство подразумевала за собой, потому и уступала «арену» веселушкам, лишь выгодно оттенявшим ее отстраненную загадочность.)

Но самой близкой по-прежнему оставалась Валя Срезневская, бывшая Тюльпанова. Валя вышла за врача и жила теперь в квартире мужа-профессора при больнице.

Анна застала ее за готовкой обеда. Кухня была полна дыма, Валя ловко управлялась со сковородками и кастрюлями, в которых, судя по запаху, варились борщ и компот.

— Вот — обед готовлю. У Вяч Вяча (Вячеслава Вячеславовича) больничное питание жуткое! Вовсе не ресторан. А язва желудка нам не нужна.

Анна загляделась на новый облик раскрасневшейся подруги:

— Какая ты, Валя, все же женственная. Даже фартучек и борщ тебе к лицу. — Она закурила, присела боком на кухонную табуретку — с прямой спиной, нога на ногу, не включаясь в кухонную композицию. — Знаешь, я никогда ничего не готовила Гумилеву. Смешно, да?

— Зато стихи ему писала. Я обычная домохозяйка, а ты известная личность. У тебя столько поклонников, — она закатила глаза, — не пробиться. Литературный вечер в здании Думы на Невском прошел с фурором. Ты в лиловом платье «вся такая эстетная, вся такая изящная», взгляд из-под челки, загадочность, словно фея из другого мира… Мы с Вяч Вячем даже в антрактах к тебе не смогли протиснуться, молодежь стеной окружила богиню. Студенты, курсистки, интеллигентная публика — все с ума посходили. Твоими стихами зачитываются, учат наизусть, декламируют на всяких студенческих вечерах, а молодые поэты стараются тебе подражать! После вечера нам с мужем пришлось плестись домой со своим букетом. Так и не прорвались к «звезде» — куда нам, целая гурьба вышла тебя провожать… — Валя с грохотом сдернула крышку с побежавшего борща, обожглась. — Фу, черт! Сбежал-таки… Теперь плиту мыть.

Упавшая крышка, сделав полукруг, подкатилась прямо к туфельке Анны. Она недовольно отстранилась:

— Вот сейчас начнешь плиту драить, чтобы твоя никчемная подруга совсем от стыдобины зачахла. Давай лучше в твоей комнате посидим, а то я тут себя чувствую лишним человеком, как Печорин на светском рауте.

— Ладно, борщ готов, котлет полная миска. Попробуешь моей стряпни? — Валя достала из буфета тарелки. — Что изволите подавать: борща со сметаной или сразу второе? Салатик, между прочим, из редисочки со сметаной!

Анна поморщилась:

— Ты же знаешь, с аппетитом у меня плохо. Лучше поболтаем под винцо в твоем «будуаре». Нет… Давай и котлету. Без редиски.

В маленькой комнате Вали, декорированной темно-красным бархатом («так теплее»), они уселись, как провалились, в мягкий, глубокий диван. На столике, как всегда на посиделках подруг, присутствовали бутылка вина, печенье, любимые Ахматовой чищеные грецкие орехи. Дымилась и вкусно пахла одинокая котлета, не оставившая Анну равнодушной.

— Слушай, Ань, все знают, что я с тобой дружу, и просят передать всякое: то открытки, то цветы или даже конфеты.

— Все на помойку. — Она со смаком жевала. — Котлета — прелесть! А конфеты, что воздыхатели несут, — на стол или раздать в больнице.

— Ты прямо чудо в перьях! — возмутилась Валя. — Это же благодарность! Они же от всего сердца! Твои стихи такие простые, такие разговорные по форме, но сложные и глубокие по содержанию.

— Заучила из рецензии? Больно складно заговорила. Да только не о том.

— Хорошо… Если говорить нескладно, своими словами, то получается вот что: женщинам кажется, что ты пишешь именно о них. Вернее: подслушала, подсмотрела, угадала и описала в недоступной им поэтической форме их же переживания. Только глубже и серьезней, чем им представлялось. Через тебя они свои чувства на высоту подняли. Носы позадирали, весь свой романчик в мировом масштабе узрели! А каждый мужчина мечтает оказаться на месте твоего мужа. Да, да! Что смеешься? Они же все думают, что ты пишешь только о них!

— Это в самом деле анекдот! Жаль, Николаю и в голову такое не придет. — Улыбка Анны всегда несла тень мученичества и легко переходила в выражение скорби. — Знаешь, у меня еще один жуткий недостаток обнаружился от всей этой славы — не выношу, когда меня хвалят. Потому что хвалить лезут, как правило, идиоты. Как-то после моего чтения один умник с эстрады стал расписывать мое «удивительное дарование», да еще с Пушкиным сравнивать!.. Погоди, прожую… Представляешь?! Я встала и ушла! Ненавижу! Зачем же Пушкина трогать? Всегда чую фальшь.

— Так я ж честно… — растерялась Валя, протягивая подруге

салфетку…

— Мы свои. Тебе верю. А всяким придуркам лучше бы помолчать…. — Анна закурила, проследила полет голубых колец. — Понимаешь, Валюха, я ведь и сама не знаю, как это все происходит. Вроде вырастает история… Так себе — обычная. Но в самой глубине моего существа живет какая-то пугающая дисгармония. Она-то и рвется наружу, искажает оптику и, сдвигая обычное за грань привычного, даже понятного мне… Вдруг нечто темное, пронзительно печальное накроет…

— И отсюда смертельная жуть, являющаяся в самом конце…

— Даже не жуть… Я и говорить об этом не могу. Внутри какое-то клокотание, подземный гул, движение изначальных пластов, на которых держится жизнь… Скорбь обо всем живущем… — Анна загасила папиросу и решительно поднялась. — Нет, это не объяснишь. Пусть другие думают.

Глава 11
«И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее». Н.Г.

Романы Анны не выстраиваются в цепь — это сложная, многолинейная система взаимоотношений разной степени глубины и полезности. Сопоставлять даты даже самых важных любовных историй, определять длину «донжуанского списка» Анны было бы интересно частному детективу, кабы такого нанял ревнивый муж. Но муж старался отвлечься от уязвлявших его достоинство мыслей сочинением стихов и изучением карт новых походов. Чай с малиной он и вправду не любил — всегда, словно в супе, болтается какая-то муть, и вкус блеклый. А от крика детей мурашки по спине бегают. Кроха какой-нибудь, ангелочек, сплошная нежность, а как затрубит с осатанением — не хуже архангела Гавриила. Анна все точно подметила. А он знал о ее увлечениях и старался сам добрать эротических впечатлений на стороне.

Роман Анны с Чулковым длился долго — то разгораясь, то почти угасая. Они вместе ездили и в Париж, и в Киев. Вместе осматривали соборы, очищались в атмосфере лавры. Поездки с Чулковым в Киев оказывались для Анны куда удачнее, чем в Париж, — здесь они были одни. Если не учитывать, что почти одновременно в этом же городе свиданий, каким Киев стал для Анны, она встречалась с другим мужчиной, которому напишет немало стихов, которого признает одним из главных учителей в своей жизни. И… предаст.

В 1913 году Николай собрался в экспедицию под эгидой Академии наук и военного ведомства. Снова в Африку, для сбора научных материалов. И снова наверняка на полгода. Стол в его кабинете был завален бумагами, ковер на полу — ящиками, коробками, какими-то хитрыми приборами. Анна ворвалась словно фурия — она только что узнала о предстоящем отъезде мужа. Пнула ногой коробку с банками тушенки, скривилась от боли.

— Кирпичи перевозите? Знаешь, что я окончательно поняла? У меня муж — бродяга и отшельник. И плевать мне на Академию наук и всякие там ведомства!

— А у меня жена — «бражница и блудница». По три дня дома не бывает. Не спрашиваю… не спрашиваю… — Иронично ухмыляясь, он поднял руки. — Так и не заметили бы, что муж уехал.

— Какая разница? Уехал, приехал… Все равно не со мной.

— Это вы не со мной.

— Интересно, где причина, а где следствие? Кажется, это вы начали семейную жизнь с полугодового отсутствия! Бросили «соломенную вдову» чуть не сразу после венца. — Она подбоченилась, в голосе появились не до конца искорененные «дворняжьи» интонации.

— А не вы ли, милая моя, прямо в медовый месяц закрутили роман с этим итальянским красавчиком, а потом еще ездили к нему, прикрываясь нелепой ложью?

— Вы тоже ездили куда-то, и я не спрашиваю, к кому. Бродяга и безответственный индюк!

— Анна! Разве поэт может так сказать? Безответственный индюк? Это рыночная лексика!

— А что с меня взять — дитя улицы. — Она присела на подлокотник его кресла и с торжеством, полным, глубоким голосом прочла:

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть,
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

— Эге… Да ты молодец! — неожиданно обрадовался Николай. — Это меня зацепило. Это настоящее! — Он обнял жену. — Поздравляю, коллега!

Она отстранилась, сосредоточенная на какой-то своей мысли: — Все было настоящее — кисмет, как говорили мои давние предки. Судьба…

— Ты о чем? — Николая насторожил ее серьезный тон.

— О мучившем тебя вопросе… — Она опустилась в кресло рядом, поставила на ковер пепельницу, закурила. Заметила, как напряженно застыл Николай. Заговорила быстро, словно торопясь сбросить тянувший ее книзу груз: — Я видела этого мужчину один раз — мы провели вечер и ночь в убогой гостинице на окраине маленького городка. А потом я три года ждала от него письма — каждый день бегала по жаре на почту. Меня даже за сумасшедшую принимали. Я могла умереть от любви.

— Какой любви? Какой такой любви?! Это же, это же… умопомешательство! Кто он? — Николай вскочил, выпрямился, словно перед вызовом на дуэль.

— Интересно, на моих нынешних поклонников вы так зубы не скалите.

— Так ведь он был *первым*! Он опередил меня. И если бы не этот случайный прохожий, возможно, у нас с вами все сложилось бы по-другому!

— Не думаю, Коля. — Анна поникла. — Мы не так свободны от высшей воли, как считаем. Что-то случилось там — наверху. Кто-то важный приказал: «Выдать ей любовь. Настоящую и единственную». Все… — Она загасила папиросу, поднялась и медленно пошла к двери. Остановилась в проеме, повернула к нему горбоносый профиль. — То, что есть и еще будет, — игра. Игра между мной, «жертвой» и моей Музой.

— Значит, других настоящих не будет?

Анна покачала головой:

— Тебе беспокоиться не о чем.

Он уехал на другой континент. Весь в заботах и в жару — врачи полагали, что у Николая Степановича начинается тиф, и настаивали на том, чтобы он остался дома. Но удержать Гумилева никто не мог. Экспедиция отбыла в назначенный срок.

И вдруг письмо. «Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном… Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке, они мало что нравятся мне — они меня пьянят. Так просто сказано и так много. И я совершенно убежден, что из всей постсимволической поэзии ты да, пожалуй, Нарбут окажетесь самыми значительными».

Дорогой подарок — признание Гумилева. Уничтожая всякую переписку, Анна сохранит несколько бумаг. Среди них и это письмо.

Жаль, что у них не сложилось — не могло сложиться! Он, с гипертрофированным чувством собственного достоинства, искал в женщине царицу и покоренную рабыню одновременно. Укротитель по природе своей, он должен был ежечасно бороться

со стихией — природой, женским коварством, смертельной опасностью. Она, более всего ценившая свободу, покоряться не умела, нуждалась в мужской поддержке и беспредельном послушании. И без всяких обременительных обязательств. Какие могут быть обязательства у той, которая всецело подчинена одному зову, одной власти — велениям своей смуглой Музы?

Как-то, прибираясь в шкафу Николая, Анна обнаружила связку женских писем. Писала «любимому и единственному Коленьке» Ольга Высотская — молоденькая белокурая актрисулька из театра Мейерхольда. Анна читать не стала — отвратительно. Конечно же, он имеет право развлечься на стороне при такой ледяной жене. И пусть! Забыть, наплевать. Никогда не рыться в чужих бумагах. Анна засунула письма на место, вытерла ладонь о юбку, словно испачкалась.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую.
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую…

Часть третья

Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

Анна Ахматова

Глава 1
«Я только вздрогнула: этот Может меня приручить…» А.А.

Анне везло на мужчин, которые хотели и могли отшлифовать ее дар. Гумилев, первый беспристрастный учитель светскости и стихотворчества, немалую роль сыграл в формировании Ахматовой как поэта. Георгий Чулков помог веско прозвучать ее имени. Его слова об Анне Андреевне определили отношение художественной элиты к молодой поэтессе.

И вот произошла встреча с Николаем Владимировичем Недоброво, о влиянии которого сама Ахматова вспоминала как о решающем. Блистательный литератор, поэт, критик, историк, стиховед — Николай Владимирович работал над большой книгой о Федоре Тютчеве и внимательно следил за современным художественным процессом. Задумав организовать «Общество поэтов», Недоброво захотел украсить новое объединение самыми элегантными и модными дамами столицы.

Обдумывая кандидатуры персон, способных поднять популярность нового Общества, Недоброво вспомнил и о супруге Гумилева. Примадонна «Бродячей собаки», любимица питерской молодежи, да к тому же — красавица с отличными манерами. Он послал Анне приглашение на открытие «Общества поэтов».

Несколько раз в «Башне» Анна встречалась взглядом с господином, одетым в высшей степени элегантно. Глаза его были фиалкового цвета, а лицо… В него хотелось смотреть не отрываясь. Тонкие, идеально выписанные черты и необычайно бледную кожу с легким, как на фарфоре, румянцем покрывал налет печального одухотворения. Заходил Николай Владимирович Недоброво и в «Собаку», но чрезвычайно редко — подобные увеселения, очевидно, были не в его вкусе.

Анна рассказала о приглашении приятельнице — Сазоновой-Слонимской, и та пришла в восторг:

— Я буду счастлива, если вы подружитесь с этой феноменальной семьей!

В апреле 1913 года в петербургской квартире Недоброво состоялась встреча по случаю открытия «Общества поэтов». Анна была поражена эксклюзивно-антикварной обстановкой дома, свидетельствующей не только о достатке, но и о вкусе хозяев. Все детали убранства здесь, вплоть до мелочей, были явно музейного достоинства. Соответствовала дворцовому интерьеру и

встречавшая гостей супружеская чета. Хозяин — в безупречном фраке, с блестящими, на пробор причесанными волосами, и хозяйка — в бриллиантах сокрушительной ценности.

Приглашенный Недоброво Александр Александрович Блок, прочтя свою новую пьесу «Роза и крест», откланялся. Затем чтения продолжались до самого обеда. Читала и Анна.

Обед незаметно перешел в ужин. Свечи в канделябрах шестнадцатого века, музейный фарфор, официанты в перчатках… Анна в любимом длинном черном платье и черной кружевной испанской шали гордо сидела с прямой спиной на резном стуле венецианской работы. На шее — крупные агаты, привезенные Гумилевым из дальних стран. Нет, «дворняжкой» она себя не чувствовала, потому что уже видела, как отреагировали на ее стихи приглашенные и, главное, хозяин. В его взгляде огонь восхищения Анной боролся с тайной мукой. Ей была знакома природа таких взглядов: он желал ее и как поэта, и как женщину.

В курительном салоне Анна села на мягкую кушетку с золочеными кистями. Комната, напоминавшая дворцовые покои в каком-нибудь флорентийском дворце времен Ренессанса, способствовала задумчивой мечтательности. Она пускала дым в покрытый фресками потолок, размышляя, почему такие мужчины и такие дома достаются другим женщинам, и в подметки ей не годящимся.

— Вот вы где, дорогая! Можно присоединиться? — Присев в кресло напротив Анны, Сазонова закурила пахитоску в длинном мундштуке. — Как я рада, что вы здесь! Кажется, впервые в этом чудесном доме? Смущены роскошью? Право же, это не буржуазная, а подлинно аристократическая роскошь. Каждая вещь в этом доме имеет художественную, эстетическую ценность. Поверьте, хозяева умеют наслаждаться настоящим искусством и вещами с историей.

— Представительная пара. Прекрасный дом. — Чужое богатство не вдохновляло Анну. Сазонову, напротив, переполнял восторг.

— Утонченная внешность и изысканность манер хозяев не случайны. На них поработало несколько поколений древней ветви русских аристократов. Наследственность. И Любочка прелесть — вы непременно подружитесь. Согласитесь, это именно та редкая женщина, которую можно было бы представить рядом с Николя. А какая романтическая влюбленность связывает их!

— Право, они удачно нашли друг друга, — согласилась Анна, понимая теперь, что брошенный на нее взгляд фиалковых глаз она истолковала слишком лестно для себя.

— Сейчас я поведаю вам об их прелестном романе! — засияла

Сазонова в предвкушении рассказа. — Любочка Ольхина считалась первой красавицей Петербурга. Далекая от богемы, рафинированная питерская интеллигентка…

— И аристократка?

— Фамильное древо Недоброво ломится от знаменитых предков. Любочка — дворянка, хороших кровей и с огромным приданым. На одном из вечеров в Академии художеств ее познакомили с лучшим танцором столичного света — красавцем Недоброво. Да и Любочка танцевала прекрасно — пленяла лебединой грацией. На них любовались, и всем прямо тогда стало ясно, что путь у этой пары один — под венец!

— А вот я вовсе танцевать не умею и всегда стесняюсь в рафинированном обществе. — Романтическая история разозлила Анну. Эта богатая буржуазка выросла в розовой детской и без усилий получила все, да еще ухватила самого прекрасного принца столичного света. — Моя родословная, думаю, заслуживает не меньшего внимания. Но я стараюсь не хвастаться своим происхождением. В наше демократическое время как-то смешно кичиться предками. И потом… Когда чувствуешь свой путь, свое дело… бриллианты теряют ценность.

— Ах, разумеется, с таким даром, как ваш, дорогая, украшать себя драгоценностями излишне. Вы сами — бесценный бриллиант.

— С комплексом парвеню. Мое детство прошло, в сущности, у моря. Я предпочитала игры с местной ребятней прогулкам со скучными боннами.

— Вы родились бунтаркой — это же ясно! Муштра — не ваша стихия. «А он, мятежный, ищет бури…»

— Как точно вы угадали: моя стихия — море. Жаль, здесь не могу продемонстрировать свое мастерство плавания. Ну, а манеры… Ношу шали, потому что не знаю, куда деть руки! — Анна сдержалась, чтобы не упомянуть о «дворняжьем» прозвище.

— Именно вы, моя дорогая, ввели шали в моду. Заметили? Три из десяти дам сегодня были в шалях. А в плане стиля и оригинальности вы кого угодно заткнете за пояс — совершенная индивидуальность.

— Николай Владимирович уже пригласил меня на следующие поэтические чтения. Буду думать, что я ничем не хуже Любочки, несмотря на отсутствие сногсшибательных да и всяких иных бриллиантов. Богатство — это отдельное достоинство. Легко, правда, превращающееся в недостаток.

— Не в данном случае. Любочка тратит огромные средства, чтобы окружить своего мальчика роскошью и вниманием. Она ведь на семь лет старше и совершенно без ума от мужа. Эстетка, а

он сам — произведение искусства!

— На редкость интересная внешность. Из позапрошлого века. Такие руки можно увидеть только на портретах старых мастеров. Невероятно нежная и в то же время сильная кисть!

— А его зубы? Обратили внимание? Жемчуг, и первосортный. Нет, среди живых такого совершенства не бывает!

— Выходит, он небожитель, спустившийся к нам, грешным, по Всевышнему повелению. — Анна загасила папиросу в бронзовой пепельнице времен Херсонесского царства. — Меня поразили глаза. Немного калмыцкий разрез, а как распахнет — такое голубое сияние, что вроде даже ладаном пахнет.

— Как верно подмечено! Мало кто может противиться блеску глаз Николя. Часто спорщик отступал даже не перед логическими доводами Николая Владимировича, а перед внезапно раскрывшейся синей бездной с черным огнем в середине!

— Мне кажется, вы влюблены в Недоброво.

— И не скрываю! Все в него влюблены и совершенно спокойно могут говорить об этом, потому что у Любочки не может быть конкуренток. Знаете, как Николя звали в интимном кругу в пору студенчества? «Перламутровый мальчик» или «фарфоровый мальчик». Такой нежный, что, кажется, ветром можно сдуть. Но в своих убеждениях — кремень!

— Поразительное совершенство! — Анна злилась, как всегда, когда сталкивалась с чужим благополучием. Тогда, в гостях у гимназиста Гумилева расстроилась из-за его библиотеки, зверюшек. Неужели банальная зависть? А разве не соперничество, вызванное завистью, толкает нас к совершенству? «Зависть — сестра соревновательности», — это еще Пушкин заметил.

— Представляю, сколько завистниц у Любочки и какая меня ждала бы конкуренция, вздумай я завоевать хотя бы симпатию Недоброво. — Анна преувеличенно громко вздохнула. — Пусть их! Не люблю толкаться.

— В народе говорят: «не в свои сани не садись»! Если бы вы знали, душенька, как часто мне, да и другим приходится твердить это, — еще более бурно вздохнула Сазонова, искоса глянув на Анну.

Глава 2
«Пусть камнем надгробным ляжет На жизни моей любовь». А.А.

— И это все мне? — пробормотала Анна, глядя на своего спутника.

Встречу в парке назначил Недоброво, провожая ее после поэтических чтений в его роскошных апартаментах: «Не хотите прогуляться неподалеку от своего дома, Анна Андреевна? Я очень люблю Царскосельский парк, бегаю здесь на лыжах и коньках. Ищу отчаянного компаньона. Желательно умного и чтобы глазу было приятно. Здесь такая конкуренция со стороны скульптурных дам, что мало кто ее выдержит. Вот и бегаю в полном одиночестве. Если не считать Пушкина — Александр Сергеевич не оставляет меня. Но иногда я предпочитаю женское общество. — Он засмеялся, сверкнув жемчужным оскалом. — Не откажите составить мне компанию, прошу вас». — «Благодарю. Вызов со стороны статуй и одинокого лыжника принимаю…» — в те мгновения, когда этот возмужавший «фарфоровый мальчик» целовал ей руку в благодарность за согласие, Анна с биением сердца и тиснением в груди поняла: начинается новый потрясающий роман! А еще мельком вспомнила Сазонову с ее намеком на чужие сани. Эх, глупая, толстая клуша, не для таких, как Анна, эти правила писаны.

Было душно от жгучего света,
А взгляды его — как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.

Наклонился — он что-то скажет…
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,

Тюльпан у тебя в петлице.

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся.
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся.
И загадочных древних ликов
На меня посмотрели очи…

Конкуренток «из общества» Анна Андреевна запросто обошла. Они не таились, гуляя часами по Царскосельскому парку. О влюбленности супруга в горбоносую поэтессу Любовь Александровна узнала одной из первых — по сиянию глаз мужа.

— Вы увлечены, дорогой, сильно увлечены. Как мальчишка! — Она с улыбкой дотронулась до кончика его идеального носа. — А ваша Императрица должна завидовать вашей пассии?

— Что вы, что вы, дорогая! — Он обнял жену, жадно вдыхая запах ее кружев у шеи и каштановых волос. — Вы же знаете, как нежна и сильна моя любовь к вам, Любушка.

— Знаю и не боюсь конкуренток. Ревность — не мое амплуа. Развлечение для горничных. — Она отошла к зеркалу над камином и там, глядя на себя между двух ваз с белыми камелиями, изящным порханием тонких пальцев поправила прическу. — Но все же… Николя… Вы сообразительный мальчик. Разве не понимаете, что как-то надо соблюдать приличия, не на глазах же у всех!

— Вы правы, нам с Анной Андреевной необходимо больше вращаться в обществе, в публичных местах и лучше всего — у нас в доме.

— Но вам предписан свежий воздух! — погрозила она пальцем, сверкнув россыпью бриллиантов. — Прогулки в парке не отменяются.

Ранней осенью на газонах еще зеленела трава, усеянная лоскутной пестротой опавших листьев. Анна была в сером длинном узком пальто. Гордая голова, чеканный профиль. Нимфы на аллеях Царскосельского парка, кажется, поворачивались вслед удивительной паре. Николай Владимирович любовался сходством своей спутницы с нетленными классическими образами.

— Как вы хороши на фоне всего этого спящего великолепия. Бледный мрамор среди красок осени, бессмертие среди

радостного, яркого умирания. Вы словно подружка мраморных дев, следящих за нами из-за каждого поворота. Они прекрасны, Анна! — Он сжал ее руку, заглядывая в лицо всей синевой распахнутых глаз.

Она пошла вперед, вслушиваясь в ритм, звучащий внутри, как отдаленная музыка. Стихи, зародившиеся во время этой прогулки, будут написаны тремя годами позже:

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины.

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной…
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

— И еще вы похожи на древнее распятие, — заметил Недоброво.

Анна улыбнулась:

— Однажды уже меня сравнил с распятием Гумилев.

— Тогда это лучшая его находка. Ведь он прескверный поэт. Неужели вы, со своим чутьем, не замечаете дурновкусие его декоративности, страсть к дешевой экзотике? Извините, Анна, я не должен был… Уж очень меня злит вымученный манерный ход, называемый акмеизмом… Что это? С чем едят эту навязчивую чепуху? Типично гумилевская претенциозность! — Всегда ровный и несколько чопорный Недоброво разгорячился — Гумилев был ахиллесовой пятой его сдержанности и как муж Анны, и как поэт, и как личность. Едва почувствовав в себе раздражение, Недоброво переходил к разговору о своем кумире — Пушкине. — Интересно, как бы отнесся к акмеизму Александр Сергеевич? Вот вы, Анна Андреевна, — акмеистка, а на самом деле — Пушкианка. Не знаю

поэта более близкого по гармоничности и соразмерности Пушкину. — Он запнулся, заметив реакцию Анны. Ее лицо побледнело, на скулах выступили яркие пятна. Губы задрожали:

— Николай Владимирович, уговоримся раз и навсегда. Я знаю: Пушкин — ваш кумир, мера поэтической гармонии. Но и для меня он священен. Сравнивать нас — святотатство. Не будем поминать имени божества всуе.

Недоброво растерялся от ее отповеди и сник:

— Простите меня. Вы тысячу раз правы.

— И хватит об этом. — Анна, проведя элегантную демонстрацию своей скромности, примирительно улыбнулась. Вскоре всем будет известно нетерпимое отношение Ахматовой к любым сравнениям ее стихов с пушкинскими. Она выбрала достойный предмет для преклонения.

— Вы правы, дорогая, есть вещи или явления столь совершенные, что даже приближаться к ним — пошлость.

«Ну это уж слишком!» — подумала Анна и решила сменить тему:

— Расскажите о себе. Можете присочинить что-нибудь.

— Почему вы решили, что мне необходимо приукрашивать свою биографию? Полагаете, под маской аристократа скрывается парвеню?

— Вы так красивы, что мне не хочется инородной ноты. Готова слушать только выдающиеся, идеально гармоничные истории.

— Хорошо. Только запомните — я не умел обманывать даже бонну, запрещавшую открывать глаза после десяти часов. Так и лежал в постели, отчаянно жмурясь, пока в самом деле не засыпал.

— А я любила присочинить. Не полностью меняя предмет, а как бы смещая масштаб и ракурс. Расскажу вам как-нибудь про моего предка хана Ахмата — последнего правителя Золотой Орды.

— Готов слушать немедля!

— Это лучше сделать у камина. Сейчас мои глаза коллекционируют красоту. Осенняя пора…

— Вы рисуете?

— Ни-ни. Никаких талантов, кроме умения «петь» — петь стихами, у меня нет. Я и танцевать-то не могу.

— А я вас научу! Непременно научу. С вашей гибкостью и грацией вы будете украшением танцевального зала.

— Согласна. Но вначале — ваш рассказ. — Она села на деревянные качели, подвешенные к ветвям могучего клена, подняла лицо к небу. — Галки в лазури… И кажется, что весна…

— Так вы все еще хотите слушать?

Она кивнула, слегка раскачиваясь и не отрывая взгляда от кавалера — малейший поворот менял неправдоподобную красоту «фарфорового мальчика».

Вооружившись прутиком, словно указкой, он расхаживал перед Анной.

— Так вот, уважаемая публика, наш род настолько древний, что бояр — моих предков никто и не помнит. Поэтому начну с себя. Учился в харьковской гимназии, где подружился с сыном попечителя Харьковского учебного округа — Борей Анрепом. У меня гордость неимоверная, и цель всегда преследовала тщеславная — выбраться в высшее общество. А Борис Васильевич фон Анреп — представитель древнейшей фамилии, возникшей на скрещении ветвей английской и русской аристократии, — запросто меня в это общество ввел. Благодаря Борису я попал после гимназии в Петербург. И как-то сразу влюбился в первую здешнюю красавицу — Любовь Александровну Ольхину. Вдобавок она оказалась не только интеллигенткой высшего качества, но и весьма богатой невестой. Я перевелся из Харьковского университета в Санкт-Петербургский и окончил его, между прочим, одновременно с Блоком. Борис фон Анреп в это время учился в престижном училище правоведения, затем поступил на четвертый курс юридического факультета Петербургского университета и стал готовиться к званию магистра…

— Простите, Николай! Слишком много Анрепа, даже если он исключительный товарищ. Наверняка скучнейший педант.

— Нет-нет! Он воин, художник и жизнелюб! Погодите, сейчас будет интересно. Моя супруга и ее друзья скульпторы объяснили Борису, что он прирожденный художник и не должен губить свое дарование. И что вы думаете? С нашего благословения Анреп уехал в Италию, затем в Париж учиться живописи. Потом он учился в Англии, выбрав трудный жанр — художника-мозаичиста. И представьте, он уже получил заказ на исполнение фресок в лондонском Вестминстерском соборе… Анна Андреевна! Вы не слушаете, я вам надоел.

— Я же просила слегка приукрасить, позолотить — а у вас вся сказка золотая вышла. Так и хочется что-то подпортить! Наверняка ваш Анреп хилый, застенчивый интеллигентик, а вы в гимназии стреляли из рогатки или писали эпиграммы на учителей.

Николай Владимирович засмеялся:

— Если вас это веселит, то мне приходится лишь сожалеть об упущенных возможностях. — Его рука остановила качели, лицо приблизилось, и губы (Анне показалось, что дохнуло ладаном)

прильнули к ее жаром налившимся губам.

Глава 3
«И загадочных древних ликов На меня посмотрели очи». А.А.

С весны 1913 года по 1915 год Ахматова и Недоброво неразлучны.

Николай Владимирович деликатно шлифовал попавший ему в руки драгоценный материал — эту необычайно красивую и талантливую юную женщину. «Шлифовка» относилась не столько к обучению ее хорошим манерам (как считали многие), сколько к формированию личности и художественного вкуса. Манеры Анны уже не выдавали «дворняжки» — ведь и в ее семье говорили на французском и обращались друг к другу на «вы». Только маловато она жила в семье, да и семья могла больше обучить безалаберности, чем хорошим манерам. Аристократизм Недоброво, — деликатный, не акцентированный, идущий от внутреннего достоинства, как бы задавал Анне верную ноту. Она фантастически быстро схватывала нужную интонацию. Некая вульгарность или наигранная инфернальность, проскальзывавшие в «Собаке», ушли. Одесский жест уже стал инородным, как и манера скандалить с несдержанностями лексики. Но и оттенки, детали, мелочи, из которых и состоял внешний лоск настоящей леди, были живо усвоены Анной.

Недоброво оказался отличным учителем. Не раздражался, как Гумилев, без тени высокомерия и менторства умел говорить о самых тонких вещах. Его феноменальная эрудиция, знание русской истории и поэзии, способность видеть современный литературный процесс в его историческом развитии помогли Ахматовой обрести системность литературного мышления и определить свое место в поэзии.

Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн…
(…)
Верно, мало для счастия надо
Тем, кто нежен и любит светло,
Что ни ревность, ни гнев, ни досада
Молодое не тронут чело.
Тихий, тихий и ласки не просит,
Только долго глядит на меня,

И с улыбкой блаженной выносит
Страшный бред моего забытья.

Прочтя новые стихи, Анна опустила ресницы перед своим учителем и возлюбленным.

— Слушаю, слушаю ваши «песни» и не пойму секрета… Что-то отдается в самой глубине моей души… Что-то важное и не переводимое в прозу, как музыка. Вы любите звучание органа?

— Я вообще равнодушна к музыке. Не выпало случая полюбить ее.

— Поразительно! При таком уникальном слухе!

— Медведь на ухо наступил. Я не могу не сфальшивить даже в простой песенке.

— Песенка — грубый механизм. И это не слух виноват, а неумение владеть голосом как инструментом. У вас поразительный внутренний слух! Вы слышите тоны и ритмы выстраиваемых слов, причем в разных регистрах. Сразу на нескольких уровнях. Так из органного нутра, из переливов смутных звуковых струй, ритмов постепенно вырисовывается мелодия. Никогда не задумывались, почему написали фразу именно так?

— Так благозвучней и выразительней… Но верно: музыку стиха я слышу внутри до рождения слов. Она формируется в звуки, звуки в слова по неким собственным законам — колдовство какое-то.

О, это был прохладный день
В чудесном городе Петровом.
Лежал закат костром багровым,
И медленно густела тень.

Ты только тронул грудь мою,
Как лиру трогали поэты,
Чтоб слышать кроткие ответы
На требовательное «люблю!»…

Стихи о страсти. Анна потом посвящала их другим, более темпераментным возлюбленным. Для Недоброво, о котором можно сказать — «тихий, тихий и ласки не просит», духовный союз значил больше союза тел. Он упивался интеллектуальной, духовной близостью с Анной. Но и как женщина она его волновала чрезвычайно, хотя тень жены, которую Николай Владимирович безмерно уважал, мешала ему отдаться плотским

радостям полностью. Но Анна — сплошной соблазн, ломающий всякие препятствия. Они встречались то на его роскошной даче, то в нищей тесноте ее комнатенки на Тучке. На лето супруга увозила болезненного «мальчика» на юг, и Анна тосковала целых три месяца. Правда, были и в эти дни увлечения, были стихи. Но главным в круговерти оставался Недоброво.

Осенью возобновлялись прогулки с долгими, умными разговорами. Зимой — выходы в свет, катание на лыжах, любимое обоими.

Анна с удовольствием появлялась в обществе с ослепительно красивым и изысканным кавалером. Она часто бывала в доме Недоброво на раутах, обедах, вечерах. Она люто ненавидела Любовь Александровну именно за почтительное уважение к ней мужа. И за то спокойствие, с которым эта великосветская дама принимала его увлечение Анной. Словно не видела в ней опасной соперницы.

Любовь Александровну же больше всего беспокоили покой и здоровье мужа. Она ревновала, но прятала свою боль, стараясь ни в чем не проявлять неприязни к Ахматовой, не разрушать счастливого настроения горячо любимого супруга.

Николай Владимирович, обладавший поразительной интуицией, пророчески определил гениальность своей возлюбленной на десятилетия вперед, предсказав пути развития поэтического дара. Их отношения окрашивала почти мистическая близость — близость душ, когда в человеке открывается многое, о чем он сам, может быть, и не подозревал.

Особенную радость приносили поездки в Киев. Здесь они вместе обходили соборы лавры. У иконы Божьей Матери в храме Святой Софии непременно стояли подолгу.

— Я к ней часто прихожу как к своей защитнице. Надо же обеспечить надежных покровителей в загробной жизни.

— Анна, ваша земная жизнь будет долгой, — тихо, как тайну, выдохнул он в ее щеку, тепло окрашенную пламенем свечей.

— И все равно — уходить в неведомое страшно. Вон ведь сколько нагрешила.

— Любовь не может быть грехом. Для разума, да и для духа — она как крылья! — Глаза Николая распахнулись, затягивая Анну в глубокую синеву, таившую свет высшей правды.

— Верю. Вам верю. Верю и знаю: любовь и есть Бог.

— Если верите в это, поверьте и еще в одну истину — наша жизнь на земле не кончается с умиранием, душа бессмертна. Православная вера дает человеку силу жить и силу умереть. Традициями православия крепка Россия. Но вот что интересно: в раннем православии были зачатки учения, близкого к корням

буддизма.

— Гумилев рассказывал мне о реинкарнации — колесе жизни. Он верит, что этим вот воплощением не завершается жизнь духа. Мы можем прийти еще, а может, уже были здесь. И каждый несет свою карму — выполняет задание нового урока, исправляет ошибки прошлого.

— У меня такое ощущение, что ваш дар стихосложения — божественное призвание. Вы родились с печатью Божией — с предназначенной миссией. То есть с определенной кармической задачей.

— Рассказывать о любовных переживаниях? Не слишком ли легковесно?

— Это начало. У вас будет другой голос и другие слова. Поверьте мне здесь, под золотыми куполами: вы будете писать поэмы, сцены, повести. Эпическая тема — тема родины, народа, всего вот этого, — он кивнул на темное золотое свечение собора, — прорвется в ваш стих, даст ему новое звучание.

— Вы говорите как посвященный. Посвященный в смысл жизни и тайны мироздания.

— Это оттого, что я уже на краю и могу заглядывать по ту сторону. Мне недолго осталось. Как ни старается моя Люба возить меня по курортам, туберкулез не сдается, его задача — убрать меня, уж не знаю зачем. — Николай пошел в боковой неф, остановился у иконы Николая Чудотворца. — Я так много не доделал, даже книгу о Тютчеве не дописал. И еще столько всего хотел бы осуществить… Если только чудо… Но… — Он тяжело вздохнул, нездешний огонь его глаз померк. Губы попытались улыбнуться: — Оставлю все недоделанное для следующих жизней.

— Перестаньте говорить о смерти. Вы должны жить!

Тогда и родились стихи:

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась…

Клятва в храме, означавшая как бы тайное соединение судеб перед Богом, то есть брачный союз, — поэтическая фантазия Анны и прозрачный намек на ее готовность стать женой Недоброво. В ее отношениях с Николаем Владимировичем тема брака возникала неоднократно.

…Они шли по осеннему саду у дачи Недоброво в Павловске. Вдоль аллеи кленов, сквозь палую листву пробились и

выстроились рядами сиреневые колокольчики — нежные, словно фарфоровые.

— Это безвременники. Когда-то луковицы этих цветов завезли в Россию с греческого острова, славящегося разными видами крокусов. Они прижились, но упорно не меняют свои часы: путают весну с осенью.

— Совершенно весенняя хрупкость и нежность. Безвременник… — Анна помолчала. — А ведь много и нас — безвременников. Родился не в свое время, и все зря — и дар, и голос…

— Судьба бывает до обидного нелепа. Мне временами даже страшно за нас с Любой, так встретиться и так срастись — редкое везение. А за дары частенько приходится платить. Мне же еще привалило немыслимое счастье — встретить вас!..

Анна отвернулась, поднимая кленовые листья. Вот когда с языка были готовы сорваться те самые интонации — отчаяния и обиды. Неужели он не понимает, как ранит ее признанием своего счастья с женой? Она долго молчала.

— А у меня брак не сложился. Гумилев — личность огромная и неординарная. Но мы как эти безвременники — перепутали время и встретились, в сущности, чужими. Так и живем, не совпадая, — каждый по своим часам… А вам не кажется, Николай, что такие близкие во всем люди, как мы с вами, могли бы прожить очень интересную, насыщенную жизнь? Это, конечно, в качестве теории.

— Разве мы собираемся расставаться? — Он взял ее под руку и теснее прижал к себе. — Анна, а ведь я не мыслю жизни без вас. Совершенно не мыслю.

— Но так почему же тогда?.. Мы — пара!

— Давайте рассуждать трезво: моя жизнь на излете. Кроме того, материально я полностью завишу от Любови Александровны. — Он виновато взглянул на нее. — Простите… Такая проза.

Анна лишь печально и долго смотрела ему в глаза, в это мгновение мысленно прощаясь с тем, кто не оправдал ее надежды.

Зимой 1913 года супруги Недоброво провели месяц в Павловске, где Анна и Николай часто встречались, бегая на лыжах. А два последующих года Недоброво жили в Царском Селе. Как говорила Ахматова: «Поближе ко мне».

Недоброво провел огромную работу, подбирая стихи Анны к новому сборнику «Четки»: выстраивал композицию, отслеживал верность ритма каждого стиха, давал советы, удивлявшие ее

своей точностью. Когда в 1914 году сборник вышел, он написал не просто статью, а целое исследование с подробным анализом поэтики Ахматовой. Строфу за строфой взвешивал и оценивал как поэтическую драгоценность. Эстет Недоброво и здесь выступил тонким ценителем вдохновенного творчества.

«Это книга властных стихов, вызывающих большое доверие. А перводвижущей силой ахматовской поэзии является новое умение любить человека, дар его героического освещения. (…) Самое спокойствие и признание и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук — все свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую и уж явно господствующую, а не угнетенную».

Перечитывая статью в конце жизни, Анна Андреевна заметила: «Это лучшее, что написано о молодой Ахматовой».

«Царскосельской идиллией» назвала Ахматова свой роман с Недоброво. А позже добавила: «Идиллия превратилась в трагедию».

Николай Владимирович, человек чрезвычайно осторожный в выражении чувств, не сдержав желания поделиться впечатлениями, стал писать письма о своей любви к Анне единственному близкому другу, живущему в Лондоне, — тому самому Борису фон Анрепу. Потребность рассказывать о любимых свойственна влюбленным. Недоброво писал много и чрезвычайно поэтично, воспевая Ахматову и как женщину, и как поэта. Приехав в Петербург по делам службы, Анреп навестил Недоброво в его доме. На званом обеде присутствовала Анна. Анрепу было довольно одного взгляда, чтобы влюбиться в нее со всей мощью великана, силача, ловеласа и художника. Анна ответила взаимностью. Оба постарались скрыть внезапный шквал нахлынувших чувств. Но тщетно. Или плохо старались?

Любовь у Анны Андреевны всегда выступает в облике Рока, не дающего выбора. Но выбор был — в ущерб своим эгоистическим желаниям. Последний вариант Анна никогда не рассматривала, лишь выше оценивала собственный грех и покаяние. Классическая схема любовной трагедии, дающая наибольший накал чувств поэзии Ахматовой, выходящей к вселенским началам судьбы, страшной кары и земного соблазна, непрощенного греха.

«Судьба поэта должна быть трагичной», — считала Анна Андреевна. И пока исторические взрывы не исковеркали ее вполне благополучную линию жизни, виртуозно создавала

трагические ситуации собственными силами.

Глава 4
«Но теперь я слаб, как во власти сна, И больна душа, тягостно больна». Н.Г.

Гумилев возвратился внезапно без телеграммы 20 сентября 1913 года. Усталый, измученный, все еще где-то в джунглях или на морских просторах блуждающим взглядом.

Привезенные вещи он оставил у встречавшего Зенкевича. Отложив проблему багажа до утра и обняв мать, Николай поспешил уединиться в кабинете и бессильно опустился в кресло. Анна задерживалась, возможно, не придет ночевать. Что там, кто у нее сейчас? Стрелки часов отсчитывали круг за кругом, он то нервно ходил по комнате, подбрасывая поленья в камин, вороша угли, то застывал у письменного стола.

«Наплывала тень… Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь, в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны…»

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Женщины не было. Да и слушать о страданиях мужа она не любила. Только вошла в переднюю, поняла, что вернулся, что измучен, зол и предстоит тяжелый разговор. Подошла к кабинету — в свете настольной лампы вырисовывался силуэт больной, нахохлившейся птицы. Застыла в проеме, уронив с плеч шаль.

Николай скользнул взглядом по темной фигуре. От нее пахло вином, духами, осенним дождем. И в глазах — как верно подметил! — злое торжество. В руке папироса. Все то же!

— Вы так и не бросили свои папироски? Дурно, Анна! Мы же договорились — это моветон и при ваших легких совсем уж глупо…

— Ничего не понимаю — мы не виделись полгода, я не получила от вас ни одного письма за все это время, и вам нечего больше сказать мне?

— У меня рассказов на тысячу и одну ночь. Но вас больше интересуют оргии в «Бродячей собаке».

— Там веселятся и вдохновляются умные и талантливые люди. И я слишком устала для выяснения отношений.

— Разумеется, разумеется. Устали вы… Обо мне не будем. Устали, но от подарков не откажетесь?

— Подарки? Ах, эти браслеты… — Она встряхнула рукой, прозвенев черненым серебром туземных колец.

— Они как разменная монета нашей «любви» — вы мне всегда их возвращаете, когда собираетесь уходить.

— В этом отличие меня от продажной девки — я возвращаю оплату услуг.

Анна собрала снятые с рук украшения и сложила их в большую резную шкатулку из черного дерева.

— Это все.

— Да что стряслось? Вам попался нервный любовник? Думаете, я слеп и глух? Шипение вашей злости за километр

слышу. Еще когти выпустите, как уличная кошка.

Анна улыбнулась — Николай, любивший собак, терпеть не мог кошек.

— Так определитесь все же: бездомная кошка или дворняжка? А ваша белокурая Ольга Высотская из театра Мейерхольда и впрямь не очень умна, если рискнула родить от вас сына!

— Ах, вот в чем дело… Идиотские сплетни!

— Копия вы. Косит, и еще это имя — Орест! Ваша идея — не отвертитесь! Во всем городе не найдется второй такой остряк. И потаскун! — Тут уж Анна швырнула в него перстни и устроила «сцену дворняжки». Кричала до визга, сопровождая одесские выражения крымскими жестами.

Николай отрешенно глядел сквозь ее мечущийся силуэт, ничего не слыша. Отвернулся к письменному столу, взял перо. На голубом листке любимой бумаги появились строки:

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.

Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче?

Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе,
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?
(….)

Утром сошлись в кабинете, как для дуэли. Оба бледные — Николая трясла подхваченная в походе лихорадка, Анна не спала, сочиняя что-нибудь совершенно убийственное. Но записала только: «Я счастье разбила с торжеством святотатца…» Хотела «перепеть» на иной мотив старые стихи мужа, но так и бросила.

Николай сидел, кутаясь в шкуру гепарда. Замотанный в шарф по уши, в меховых, расшитых кожей и бусами индейских бахилах.

— Ты шлюха, в браслетах или без них. И твои стихи все пронизаны этим запахом… — Он закашлялся.

— К тому же — я убийца. Смотри, накликал беду своей «отравительницей». — Она схватила сверкавший широким лезвием на стене туземный нож и подступила к нему — жалкому,

дрожащему под шкурой. — Думаешь, не решусь ударить?

— Этот для разделки туш. Зак-к-калывать надо вон тем, узким. Воткнуть вот сюда, справа — в сонную артерию. — Николай повернул к ней шею и сдернул шарф. — Представляю, как мы насмешим публику… — проговорил он, сильно картавя и заикаясь.

Смешон. Какая уж тут трагедия? Бросив нож, Анна ушла. Вернулась вскоре совершенно спокойная, лишь накинула на зябнущие плечи пеструю, в больших темных розанах, шаль.

— В самом деле — смешно. И так уже твой Орест дал повод повеселиться. Вся наша жизнь превратилась в фарс. Давай договоримся, Николай. Мы оба понимаем, что любви нет и никогда не было. Да и не будет…

— И совершенно не обязательно резать друг другу горло, верно? Все же у нас сын.

— У нас! Когда вы видели Левушку последний раз?

— Да и вы не из заботливых мамаш. Кстати, с Ольгой мы расстались еще до моей поездки. Я не желал этой беременности, тем паче брака с этой женщиной. Предлагаю пока не оформлять развод. Мне предстоит волокита с Академией наук по отчету об экспедиции.

— Сообразили, что разводиться совсем не выгодно. Олечка только и ждет, чтобы подхватить освободившегося любовника.

— Не глупите, Анна! И учтите, если будете настаивать на оформлении развода, я не отдам вам сына.

Глава 5
«Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф». Н.Г.

Через пару дней после выяснения отношений супруги пришли к Вале Срезневской. Хоть и с вином, а лица не то насмешливые, не то траурные. У Николая были больные ввалившиеся глаза, напевная, вполне приятная картавость стала более похожа на заикание — говорил рывками, словно выдавливая из себя слова. Анна — напряженная, как струна, одну от другой прикуривала папиросы.

Сели по краям большого мягкого дивана в уютной, бордовым бархатом затянутой комнатке Вали.

— Ты у нас вроде сватья, Валя, рассуди по совести, — начал Николай, с первого их юношеского знакомства (с ее десяти лет) симпатизировавший Вале.

— Мы разводимся. Это окончательно. Я отныне не хочу быть связанной с этим человеком, — отрубила Анна. — И ни слова больше. Иначе я уйду.

Николай страшно побледнел. Строптивость Анны била в самые его больные точки: «покоритель амазонок» не смог справиться с обычной киевской чертовкой.

— Я всегда говорил, что вы совершенно свободны делать то, что желаете, — выдавил он через силу. — Спасибо за прием.

Встал и ушел, лишь хлопнула в передней дверь.

В тишине было слышно, как капало из крана на кухне. Валя застыла с открытым ртом. Наконец проговорила:

— Я ж уговаривать собралась не принимать поспешных решений! А он… А ты… Не успела и слова вставить — все уже кончено!

— Он мириться пришел, надеялся, что ты меня уломаешь.

— Вот именно! Довольно копья ломать! — Валя вспыхнула. — Послушай, Анька, история с этим Орестом банальная! Подставилась девица, увести видного мужчину надеялась. Пусть растет малец — Николай же его не хотел, но, видно, так уж судьба распорядилась…

— Позорище какое! На весь город…

— Наоборот! Знаешь, каким твой Гумилев теперь у женского пола суперменом и красавцем считается?! И все шепчутся — гений! Вот что значит обратить на себя внимание. Разглядели!

— А я киевская ведьма, соблазнительница — так болтают?

— Ну, тут особый разговор… — Вале не хотелось сейчас рассказывать подруге, что о ней ходит слава разлучницы, разбивающей чужие семьи. Чулкова едва не развела, теперь за Недоброво взялась. И о других поминают.

— А разговор у меня вот какой. — Анна достала блокнот, вырвала из него листок. — Передай ему, когда встретитесь, он же к тебе еще зайдет на меня жаловаться…

Валя прочла:

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.

И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую —
Твою любовь и нежность продаю.

— Уф… Так печально… — Валя засомневалась. — Это правда Николаю написано?

Губы Анны тронула улыбка:

— А кому же? Я читаю на вечерах его стихи, которые он посвящал мне, — это, во-первых, мне самой лестно, во-вторых, и ему известность не помешает. — Она прищурила глаза от дыма. — Особенно все «Жирафа» просят…

— Я тоже его страшно люблю! — согласилась Валя. — Когда грустно, сама себе вслух читаю. — Она с выражением продекламировала:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав?..
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Анна открыла вино, наполнила бокалы:

— Давай, Валя, птица моя, за него! Хороший поэт. Пока я спала, оставил на моей тумбочке листок. Это после вчерашней ссоры. Прямо святой:

Когда, изнемогши от муки,
Я больше ее не люблю,
Какие-то бледные руки
Ложатся на душу мою.

И чьи-то печальные очи
Зовут меня тихо назад,
Во мраке остынувшей ночи
Нездешней мольбою горят.

И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее.

— Господи, бедный Коленька! Анька, ты и впрямь каменная. Муж такие стихи в постель приносит! Ну, прости его, прости! Сама ведь тоже не святая.

— Наивная, он не для меня пишет, а для демонстрации на сборищах своего «Цеха поэтов». У меня впечатление, что он для них и пишет… — Анна снова закурила. — Скажи, ты как думаешь, он меня когда-то любил?

— Ох, если мой Срезневский говорит, что любит, — я понимаю, как это. А когда у тебя или у Гумилева такие фантазии появляются, извини, тут без пол-литра не разберешь. Давай выпьем за понимание между полами! — Валя разлила вино.

— Знаешь, что я тебе скажу, хотя и не «ведьма из города змиева»… — Анна отпила, помедлила, раскачивая в хрустале гранатовую жидкость. — Замороченный он, и чувства у него замороченные. Ну где еще найдешь такого полоумного гения? Спрашивается, что ему дались эти туземцы и жирафы? Ведь он Поэт! Понимаешь — настоящий, совершенно особенный — штучный.

— «…Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет так, что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет» — ведь красота какая и порыв! — Валя вскочила, изобразив движение описанного Гумилевым отважного капитана. — Он у тебя — *такой*! Все Васко де Гаммы, Куки и Колумбы вместе взятые. Под наркозом морских глубин и приключений! Но еще и призвание — нам, сидням и домоседкам, романтику странствий перелить из сердца в сердце.

— Только я здесь совсем ни при чем! Я — понимаешь? Я! Не моя это романтика. И стать его Евой я не могу!

— Да… Нашла коса на камень… — Валя погладила узоры на скатерти. — Он, думаю, крупно промахнулся. Вбил себе в голову, что именно ты ему и нужна! Именно тебя он добивался столько лет!

— Видишь ли — «невинную грешницу» нашел! — Анна усмехнулась. — Все они хотят шлюху по-монастырски. А кроме того — рабыню льстивую. Чтобы дома сидела с котлетами и детьми да ему дифирамбы пела.

— Гумилев от женщины подзаряжаться должен. Он же у тебя совершенно сумасшедший — покой ему даже не снится!

— Не женщина ему нужна, а эликсир жизни и одновременно мука, незаживающая рана и колдовское варево. Короче, Африка со всеми ее страстями. — Анна прищурилась и проговорила тихо, словно боясь, что некая темная сила их подслушает: — Смертельными страстями!

— Точно! — Валя придвинулась к подруге, прошептала: — Он же всю жизнь проходил смертельно тобой раненный! Сколько раз пытался вытащить отравленное жало, а без него — тоска и серость — плоская жизнь! И снова к тебе рвался. За своей порцией яда. Вот такой травматический романтизм.

— Может, кому-то эта история в кайф — ну, финтифлюшке его театральной. А мне своих заморочек хватает. У меня свой романтизм — не травматический. Твой муж психов лечит. Это тоже романтика. Думаю, с его пациентами покруче, чем в дебрях Амазонки. Но от тебя он ждет борща, а не ядовитых укусов.

— Так Вяч Вяч только из Пушкина три стиха наизусть знает! Ты хоть сейчас пойми, что такое ГУ-МИ-ЛЕВ!

— Пойму, когда помудрею.

— А у него счастья не будет больше ни с одной бабой — вот тебе мое пророчество. — Валя осушила рюмку и отвернулась. Чтобы не показывать слез.

Валя оказалась права. Женившись вторично меньше чем через год после развода с Ахматовой, Гумилев отправил юную жену к своей маме, которая к тому времени поселилась с внуком Левушкой в Бежецке, городе вьюжном и вовсе не наполненном светскими развлечениями. Отправил и забыл. И жить ему оставалось недолго…

На вечерах поэзии Ахматова читала его стихи:

…Я молод был, был жаден и уверен,
Но Дух Земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась…
(….)
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и ранил каждый звук.
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье…

В залах рыдали курсистки, гимназистки переписывали стихи друг другу в тетрадь. Поклонники Анны обмирали от глубины чувств несчастного влюбленного. Измученный, трепещущий Гумилев!

Глава 6
«Но такие таятся чары В этом страшном дымном лице…» А.А.

Имя Ахматовой к последним годам ее жизни превратилось в святыню, которую тревожить всуе грешно. Сама она жестко пресекала всякое проникновение в ее личную историю и запретила делать это впредь. Анна Андреевна всерьез думала о будущем памятнике и, разумеется, о наличии в собраниях сочинений безукоризненной биографии. Как должно выглядеть безукоризненное жизнеописание поэта с мировым именем, знала она одна. Говорить о том, что в продвижении Анны Андреевны в примы поэзии помогал ее талант просчитывать ходы и делать верные ставки, — кощунственно. Назовем умение создавать себе имя вдохновенным ясновидением. Весьма спорно, что беспомощная смиренница, позволяющая оттеснить себя в задние ряды массовки, должна быть более симпатична, чем дама волевая, умеющая добиваться поставленной цели. Именно последние качества отличают характер нашей героини. С этих позиций иначе выглядит и попытка Анны Андреевны сблизиться с Блоком…

В 1913 году Ахматову считали не только красивейшей женщиной Петербурга, но и одним из самых мощных голосов в поэзии. Романы с интересными мужчинами при муже Гумилеве украшали ее венцом опасной искусительницы, приносили славу центральной фигуры в женском ансамбле столичных див. Ее «портрет» учили наизусть прыщавые студентки, надеясь выискать в себе сходство с неподражаемым образом.

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,

А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Ее рисовали, ей посвящали стихи, на ее выступлениях публика сходила с ума. Но ее славе поэта не хватало официального признания — прочно зафиксированного пьедестала первенства. Тем более что в это время явно обозначилась вакансия на солирующий женский голос в российской поэзии. Часто речь заходила о Марине Цветаевой, и Ахматова ревностно переживала посягательства этой «истерички», затеявшей, кроме всего прочего, роман с Мандельштамом.

Надо было немедленно прорываться в примадонны. К концу 1913 года Ахматова закончила составлять сборник «Четки», опубликовала много произведений в периодике. Требовались громкие отзывы.

Чулков снова появился в Питере. Но встреча с ним показалась Ахматовой недостаточно теплой, а его рецензия на стихи из нового сборника (который выйдет лишь в марте 1914 года) — и вовсе холодной. Она злилась на непостоянство литературных привязанностей, впервые четко осознав, как крепко они связаны с привязанностями интимного характера. Рецензия Недоброво — умна и лестна. Но его имя не дотягивало до уровня непререкаемого авторитета.

Нужен был мощный голос, яркий прецедент, способный поднять планку Ахматовой на недосягаемую высоту. Она задумалась, какую фигуру выбрать, чтобы сделать выигрышный ход — потрясти поэтический олимп и навсегда остаться среди классиков.

Собственно, живым классиком считался только Блок. Случай тяжелый — поэт находился в затяжной депрессии с приступами обостренной неврастении. Полная пресыщенность прекрасным полом и отсутствие мужской энергетики. Три красавицы из приятельниц Ахматовой, прошедшие через близость с Блоком, убедили Анну: рассчитывать на серьезный роман с Александром Александровичем не стоит — больше одного свидания из него не вытянешь. Плохонький роман Анне и не нужен. Дело совсем в другом: покорить, завоевать, привязать, заставить Блока признать ее равной себе — совсем не простая задача. Признание Блока решило бы навсегда вопрос статуса Анны Ахматовой.

Она несколько раз сталкивалась с ним и сделала вывод: искра не пробежала, и вряд ли возможно разжечь ее. Увидав Блока первый раз в «Аполлоне», юная тогда жена Гумилева сама отказалась знакомиться с пожаловавшим в редакцию монументом — стушевалась, оробела. Вторая встреча была более удачной — Блок сам подошел к Гумилеву и попросил представить его супруге. Дело было в 1911 году — Гумильвица едва начала выходить в свет и чувствовала себя недостаточно уверенной. Однако Чулков, близкий друг Блока, обмолвился ей как-то в пору их горячих встреч, что Александра интригует ее независимое поведение, как бы врожденная дерзость и стихи, которые становятся «чем дальше, тем лучше».

За два года ситуация изменилась — Анна выдвинулась в лидеры молодых голосов и почувствовала себя злой и азартной, как в юности. Теперь стоило ввязаться в игру, невзирая на то, что Блок находился не в лучшем виде. А вдруг близкое знакомство с ней поможет вытащить пресыщенного классика из депрессии и вдохновить к новым поэтическим завоеваниям? Случай помог Анне.

В ноябре 1913 года Ахматова принимала участие в выступлениях на Бестужевских курсах. Она знала, что приглашен для участия и Блок, вроде бы страдающий от сплина, и сочла, что ей в любом случае надо быть соблазнительной. Остро модное платье: длинная юбка с разрезом сбоку ниже колена. Но шов на перетянутой ткани разошелся так, что в движении открывалось колено. Неслыханная дерзость для серьезного поэтического вечера!

Анна не стала искать иголку и срочно ликвидировать казус. Напротив, тоскующее лицо Блока, мелькнувшее за кулисами, собственное колено, обтянутое черным шелковым чулком, подстегнуло ее кураж. Ему нравится дерзость? Так получите же. Она вышла на подиум и с вызывающей простотой прочла вовсе неприемлемые для Бестужевских курсов стихи, написанные в «Бродячей собаке»…

Зал неистовствовал. Но Анна поспешила уйти сразу же после выступления, она хотела избежать толпы поклонников и проверить реакцию Блока. Обостренная интуиция помогла почувствовать, что ее выход взволновал Александра Александровича. Если сейчас он не попытается заговорить с ней, то шанс упущен. Она стояла под снегом в желтом свете качающегося фонаря и ловила извозчика. Черно-бурая муфта, узкое серое пальто, загадочно светящиеся из-под полей бархатной шляпки печальные серебристые глаза.

— Приветствую вашу дерзость, Анна Андреевна! —

Подошедший Блок ждал руку для символического поцелуя. Она протянула ладонь, но не к поцелую, а к рукопожатию, как бы обозначив границу между понятиями «дама» и «товарищ по профессии». Он слегка задержал тонкую кисть в надушенной перчатке, измеряя степень своей заинтересованности дамой — екнет, не екнет. Екнуло. Да, она возбуждала его. Но не как прекрасная дама его мечты, будоражащая эротические инстинкты. Скорее, эта молоденькая провинциалка несла притягательный «задор свободы и разлуки», способный приструнить завладевший им сплин.

Несколько общих фраз под мокрым ноябрьским снегом, и вдруг слова:

— Анна Андреевна, я нынче хвораю. Не могли бы вы навестить меня через недельку-две? Кажется, нам есть о чем поговорить…

Все дни до пятнадцатого декабря, на которое Блок по телефону назначил визит, Анна летала на крыльях. Дело в том, что Блок в последнее время был совершенно недоступен даже для близких друзей, безуспешно добивавшихся встречи с ним. Само по себе полученное Анной приглашение уже было знаком высшего отличия. Анна терялась, представляя события предстоящей встречи…

Пятнадцатого декабря ровно в полдень, под бой старинных часов в квартире Блока, Анна, не опоздавшая, вопреки обыкновению, ни на минуту, стояла в полутемной гостиной. Окна, почти закрытые шторами тяжелого темно-зеленого бархата, прятали тихий уголок от полуденной, залитой солнцем улицы. Лампа под золотистым абажуром в углу у дивана подчеркивала мягкость и тепло гнездышка питерского отшельника. Запах восковой мастики недавно натертого паркета напомнил Анне Смольный. И время, отделявшее ее от робкой девочки в синем платье с пелеринкой, показалось бездной. Да и она ли это?

Встретивший ее Блок выглядел совсем как на портретах — с шапкой кудрей над длинным бледным лицом то ли моряка, то ли мученика. Анна сразу уловила искру мужской заинтересованности в его серых глазах.

Расположившись в углу под лампой, заговорили о чем-то литературном. Анна упомянула между прочим: поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что Блок мешает ему писать.

С тяжелой серьезностью Блок ответил:

— Понимаю. А мне мешает писать Лев Толстой.

Анна опешила — она чувствовала себя чуть ли не ровней этому кумиру страны, а он единым махом поставил себя на одну высоту с Толстым, обозначив собственный масштаб и место: не

только живой классик, но уже и памятник.

Стало ясно, что визит не может перейти в лирическую встречу и даже в беседу собратьев по перу. Анна, трепетавшая в ожидании некоего торжества, померкла.

Угас и Блок. При близком рассмотрении зацепившая его мужские струны гибкая дерзкая девчонка казалась грубой и вульгарной. Оттенок южной экзотики в балаклавском варианте. Браслеты, шаль, носатое лицо причерноморских гречанок, напоминающих византийских мадонн. Увы — категорически не в его вкусе. Канон женской прелести Блока требовал совсем иных красок, иного стиля — чего-то изысканно-скандинавского, отсылающего к образам пьес Стриндберга, Метерлинка, Гамсуна. Чего-то златовласого, нежного и изысканного.

В глазах Блока обозначилась всегдашняя скука и тягостная необходимость как-то продолжить встречу. Он давно отработал ход, применяемый в таких случаях:

— Расскажите о себе, Анна Андреевна. — Откинулся в кресле и полуприкрыл веки.

Анна заранее заготовила тему разговора, способную расшевелить дремлющего классика. Море! Все знали, как детски нежно и верно поэт любил море. Он не умел плавать, боялся глубины, редко выезжал за пределы пригородов Петербурга, но, неведомо почему, завораживающая сила морской стихии манила его. Ее образ в разных вариантах проходит по всей его поэзии. Свою тягу к морю он удовлетворял рисованием кораблей и наклеиванием в альбом их фотографий.

И тут — в морских глубинах — Анна нашла свою силу. Рассказы об отце — капитане второго ранга, о диком херсонесском детстве и отрочестве на черноморском берегу… Ей было что вдохновенно поведать, какие стихи прочесть. «Вижу выцветший флаг над таможней…»

Вспыхнул и Блок. Они проговорили три часа как близкие друзья.

Выйдя на морозный воздух, окрашенный мутным послеполуденным солнцем, Анна направилась пешком с Офицерской улицы до Васильевского острова, к своей Тучковской набережной. Сорок минут энергичной ходьбы пролетели в победном темпе. И ветер, и мороз, пугавший всегда Анну, в тот вечер приятно будоражили кровь. Выковывались строки в необычном для Ахматовой ритме.

Добравшись в синеющих сумерках до своей комнаты, Анна записала:

…И я подумала: не может быть,

Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете — припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил и прелесть милой жизни.

Уходя, Анна оставила Блоку трехтомник — на подпись. Он в ту же ночь сделал подписи, сам доставил книги в дом на Тучковской набережной и, не зная номер квартиры Гумилевых, передал пакет дворнику.

Получив блуждавшую довольно долго посылку, Анна нетерпеливо открыла книги. В первых двух томах значилось лаконичное «Ахматовой — Блок». А в третьем ее ждал целый мадригал, написанный в ночь после встречи!

«Красота страшна», — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

«Красота проста», — Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

«Что ж, — сказала себе Анна, — испанский мадригал, славно… — Она с трудом подавляла злость. — А стишки откровенно слабоваты. И далась ему шаль! Никаких розанов отродясь не втыкала… Вытащил откуда-то образ плясуньи из испанских трущоб. Хорошо-то он меня оценил…»

Она была разочарована — чары на Блока не подействовали.

Даже морская тема душевного диалога не изменила его отношения — он не воспринимал Ахматову как первую красавицу с магической силой притяжения. Да и ее поэзией, как видно, не очарован. Обидно… Она подумала, а не наговорил ли Чулков своему близкому приятелю лишнего? Уж ему-то, вращавшемуся в центре светской молвы, отлично известны все приключения Ахматовой… А если и наговорил — Бог ему судья.

В это время Анна уже достаточно была напоена восхвалениями, влюбленностями, вожделениями. Она знала себе цену. И если этот окаменевший в своем скучном величии невротик не способен понять, что они уже стоят рядом, — это его проблема.

Анна написала благодарственное письмо. В эпистолярном жанре она, в отличие от соперницы Цветаевой, не была сильна. Беспомощное послание наивной гимназистки. В переписке, как и в умных дискуссиях, ей лучше было бы молчать. Но этикет требовал ответа: «…А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг; а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни. Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости…»

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Получив стихи, Блок заглянул в зеркало. Он знал силу своего взгляда, околдовывавшего женщин, и не замечал болезненных

мешков в подглазьях, сонной туманности потухших глаз. Двусмысленность ахматовского пассажа о том, что лучше «в них и вовсе не глядеть», была воспринята в качестве скрытого комплимента, как и полагалось поэтическому божеству трех десятилетий, кумиру дам самого высокого полета.

Он написал письмо Ахматовой, испрашивая разрешения напечатать свой мадригал в пару с ее стихом в журнале Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам».

Не ведал Александр Александрович, что относительно его взгляда она написала и другие стихи, которые при жизни Блока не публиковала:

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой.
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый — полуночника.

Не слишком лестно — Анна отвела душу.

И все же случилось чудо — визит Анны Андреевны разбудил в Блоке дремавший писательский зуд. Он, давно мучимый творческим бесплодием, написал еще одно стихотворение, на адресность которого будут претендовать несколько женщин, в том числе Любовь Менделеева. Ахматова же решила однозначно, что стихи посвящены ей.

О, нет! не расколдуешь сердца ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым,
Все призрак, все мертвец, в лучах мечты.

И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Все будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.
(…)
И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой —
Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? — Да, такой…

Решив, что она таки нашла путь к сердцу Блока и он воспринимает ее как достойного собрата по перу, Анна отослала ему сигнальный экземпляр «Четок», вышедший в марте 1914 года,

сопроводив его слишком интимной надписью: «От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи». Сближающее «ты», не имевшее оснований, и сама претензия на творческий союз равных величин покоробили Блока. Его ответ звучал издевательски: «Вчера получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери… Сегодня утром моя мать взяла книгу и читала, не отрываясь: говорит, что это не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски подлинно».

Не читал сам! Отдал матери. То есть — решительно оттеснил Ахматову в круг дамского чтива, занятого лишь любовно-страдальческими всхлипами.

…Блок ушел из жизни, так и не поняв, что Анна Андреевна в истории поэзии прочно заняла место в одном ряду с ним.

А она спустя несколько десятилетий в «Поэме без героя» напишет убийственный портрет «героя», отвергнувшего ее женские и поэтические чары.

…На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон за ухом —
Все таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале,
Или все это было сном?..

Приходится разочаровать публику, желающую объединить Ахматову и Блока в любовную пару: не только романа, но и лирического оттенка в их взаимоотношениях не было. Не стал Блок паладином Ахматовой, и черная роза в бокале «золотого, как солнце, Аи» предназначалась не ей.

Но молва стойко зафиксировала их поэтический диалог, и на тот момент Анна получила желаемый резонанс, слегка «подретушировав» события в свою пользу.

Часть четвертая

Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много.
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя.

Николай Гумилев

Глава 1
«Мы на сто лет состарились, и это Тогда случилось в час один…» А.А.

Внезапно разразившаяся в июле 1914 года война многим казалась поначалу фарсом. И лишь когда все поняли, что война — мировая и Россию охватила всеобщая мобилизация, настроение изменилось.

В Слепневе Анна видела воющих крестьянок, провожавших в эшелонах на поля сражений мужей, — теперь уже солдат. Описала тронувшую ее картину в стихах:

Над ребятами стонут солдатки
Вдовий плач по деревне звенит…

Чуть позже в стихотворении «Памяти 19 июля 1914 года» с поражающей силой прозрения, она говорит о полном перевороте судьбы в скорбную годину, начавшую «не календарный, а настоящий двадцатый век».

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня.
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Казалось, именно так и случится — героическая фигура скорбной Ахматовой, как статуя Родины, поднимется на границе войны и мира, ее стихи станут «книгой грозовых вестей». Решительное отречение от утех мирного времени вынесет Анну на передовую кровавой битвы.

Но стихи — не клятва, не присяга. Не надо путать и ждать от

поэта подвига. Стихи — воззвание. Воззвание к другим, готовым подхватить поднятое знамя, но пронзительности «голоса» не имеющим.

В бытии самой Ахматовой и в ее «песнях» мало что изменилось. Жизнь текла привычным порядком — в общении с «друзьями», в круговерти светских событий и собственной поэтической славы. Первая мировая война для Анны Андреевны — это прежде всего воюющий на фронте муж. Не впервые она провожала Гумилева в рисковый поход. Только на этот раз он подвергал жизнь смертельной опасности не в своих экзотических приключениях — он воевал за Родину. Миссия не безопасная, к тому же несомненно — героическая. Надо отметить, что собратья Гумилева по поэтическому цеху по большей части старались увильнуть от призыва, искали лазейки освобождения от воинской повинности. Николай Степанович же рвался под пули с первых месяцев войны.

Для многих он остался в памяти таким, каким изображен на знаменитой семейной фотографии 1915 года: военная форма, Георгиевский крест (тогда еще — один), левая рука на эфесе сабли.

Гумилев вступил добровольцем в действующую армию и был направлен вместе с другими на обучение кавалерийской службе в Новгород.

Анна поехала навестить мужа. Нашла его в полку под Новгородом. На плацу, где Гумилев учился верховой езде заново, под руководством опытного ефрейтора, гарцевали несколько всадников.

Фигура направившегося к ней стройного кавалериста показалась Анне незнакомой, она отвернулась, ища глазами мужа среди обучающихся. Спешившись, всадник, оказавшийся Николаем, тронул ее за плечо:

— Я рад, что ты приехала. А у меня успехи!

Анна удивилась:

— Право, не узнала. Тебе идет мундир и лошадь. Но… ты же отличный наездник, скакал в Слепневе — подолгу и по много верст.

— В походе не та езда требуется. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанет лошадь. И представь, все это не так уж легко дается. Без битья не обходится учение. Даже великого князя ефрейторы секут по ногам.

— Воображаю, как ты устаешь!

— Нисколько! — Николай предложил жене присесть на лавку у плетня и сел рядом. — Учение бывает два раза в день часа по

полтора — по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, то есть писать. Представляешь, от гостей — вольноопределяющихся и добровольцев — нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки. Пойдем в дом, я тебя все покажу и с новыми друзьями познакомлю.

Анна выдержала минут сорок в натопленной избе, пропахшей потом и сапогами. Задала для порядка вопрос:

— А что у вас тут слышно, говорят, война скоро кончится?

— Да прижмем мы немчуру, вы уж не извольте волноваться, барыня, — отозвался денщик, разжигавший самовар. — Если во всю силу воевать будем. Извольте чайку с нами испить! Мед только с пасеки доставили — гречишный.

— За приглашение спасибо. Но мне ехать пора. А вы не подведите, господа. — Перекрестив присутствующих, коротко обнявшись на пороге с мужем, Анна поспешила завершить свой героический визит.

Здесь стоит кратко очертить военную карьеру Николая Степановича, памятуя, что две жизни, хоть и соединенные браком лишь формально, шли рядом. Анна и Николай остались если и не друзьями, то людьми близкими, связанными жильем, сыном, общими отношениями, сохранявшими перед матерью Гумилева иллюзию семьи…

После обучения Гумилев был зачислен в лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. О боевых делах этой дивизии Гумилев рассказал в «Записках кавалериста», выходивших в газете «Биржевые ведомости» с 3 февраля 1915 года по 11 января 1916 года.

13 января 1915 года Гумилев был награжден первым Георгиевским крестом и произведен в унтер-офицеры. Второй Георгиевский крест он получил 25 декабря того же 1915 года. Как известно, эту награду вручают за храбрость на полях сражений. Анна могла гордиться мужем.

В январе 1915 года, на короткое время приехав в столицу, Гумилев читал в Петроградском университете новые стихи, посвященные войне:

…Свыше пастырь вдохновенный
Перед ними идет со крестом;
Венцы нетленны обещает
И кровь пролить благословляет
За честь, за веру, за царя.
(…)

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Дело войны для Николая Степановича еще «светло и свято». Он возмужал, движения стали более уверенными, речь — твердой. К тому же мундир с двумя крестами на груди необычайно шел Гумилеву…

Одетая в белое платье с высоким «стюартовским» воротником, сжав на груди руки, Анна прочла в ответ свое «Утешение»:

Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами, скорбной Польше
Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь:
Он Божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь…

Гумилев вернулся на фронт и вскоре попал в госпиталь с воспалением почек. Но, не долечившись, вновь помчался на поля сражений. Весной 1915 года он был ранен, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. Свекровь Анны впервые не смогла выгодно сдать под дачу царскосельский особнячок и еле-еле сводила концы с концами. По причине безденежья Анна все лето просидела в Слепневе. Там была написала большая часть стихов для следующего сборника. Лишь на короткое время съездила в Питер по трагической надобности — на похороны отца.

В то же сырое лето у нее обострился хронический бронхит, а осенью обнаружилось затемнение в верхушке левого легкого.

Встревоженный Гумилев перед очередным отъездом в армию с трудом нашел средства, чтобы отправить жену в хороший финский санаторий. Две недели октября 1915 года Анна провела близ Гельсингфорса. Дважды здесь ее навещал Гумилев.

…Словно чужие, они сидели на террасе, в беседке с облетающими красными листьями «девичьего винограда». Анна в глубокой шляпе с вуалькой, с зеленоватым цветом лица, бледными губами, поникшая, погасшая, произвела на Николая тягостное впечатление. Да она и сама это знала:

Как страшно изменилось тело,
Как рот измученный поблек!
Я смерти не такой хотела,
Не этот назначала срок.

Она была напугана болезнью, подавлена, во всем ей виделась прощальная тоска, и жизнь как бы уже обтекала ее стороной. Да и Николай казался нездешним, будто серый налет фронтовой гари покрывал старый, размытый временем снимок.

Сидели, перебрасываясь неспешными вопросами, не слушая ответов.

— Как Левушка?

— Мама пишет, немного простудился, но все теперь нормально. Она пока не знает о нашем намерении развестись. — Он вопросительно покосился на Анну. — Ему хорошо с моей мамой — души в нем не чает Анна Ивановна.

— И славно… Я не настаиваю на формальностях. Довольно и того, что каждый живет своей жизнью… — Анна помолчала. — Врачи советуют мне непременно поехать на юг.

— Думаю, они правы. — Он не сказал, что выглядит Анна поблекшей и забытой. Скорее, не от болезни, а от отсутствия привычной светской суеты. — Хотя я уже и не знаю, что для вас вреднее — питерская промозглая зима с круговертью поэтической жизни или одиночество под южным солнцем.

— Моя жизнь — стихи. Я должна читать их людям. Как ни странно, Муза не покидает хворую.

— И воюющего тоже. И знаешь даже, когда вокруг смерть.

Она везде — и в зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка,
То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.

Анна помолчала. Положила ладонь на его руку и слегка пожала:

— Думаю, твои стихи бессмертны. Ты поздно стал известен публике, но будущее все расставит по местам. Впрочем, и меня не забудет.

Он поцеловал ее впалую холодную щеку, коротко заглянул в глаза и поднял руку к козырьку. Анна улыбнулась натянуто и болезненно. Другая женщина взвыла бы сейчас, хватаясь за его шинель, причитая… Шанс увидаться еще раз был совсем невелик. Она смотрела, как удалялся он по дорожке к воротам чугунной

ограды… Рябины стояли совсем голые, без ягод. Почему? Говорят, к холодной зиме. Она гнала мысли подальше…

Который раз Анна видела спину уходящего Гумилева. Теперь — в длинной шинели со шпагой, муж, а не сватающийся жених, пишущий прекрасные стихи, — Николай тот, кого можно было бы полюбить. Она трижды перекрестила его, а он, словно почувствовав это, обернулся и помахал ей.

— …Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства, —

бормотала Анна. — Ай да «конквистадор»! Мастер. Храни его Бог…

Глава 2
«Но образ твой, твой подвиг правый До часа смерти сохраню». А.А.

Бои, в которых участвовали уланы 2-й кавалерийской дивизии, были тяжелыми и кровопролитными. Особенно кровопролитной оказалась летняя кампания. «За два дня дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону, — писал Гумилев Анне Андреевне 16 июля 1915 года. — Здесь тоже непрерывный бой, но много пехоты, и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы… Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных германцев, а уж убивают без счету. (…) Погода у нас неприятная: дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много — вот уже 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками».

На фронте отрадой Гумилева стала переписка с Ларисой Рейснер. С высокой светлоглазой красавицей скандинавского типа он был знаком предположительно с начала 1914 года. Тогда же и произошло сближение, оскорбившее Ларису своей примитивной грубостью. Но на расстоянии Гумилев оказался более интересным и чутким. Во время войны развернулся их игривый роман — обмен пьесами и стихами, полный романтизма и нежности.

Под пулями Гумилев написал новую пьесу, «заказанную» ему Ларисой Рейснер (о Кортесе), она же отыскала и выслала ему необходимую для его темы книгу Прескотта «Завоевание Мексики».

Гумилев, называя ее Лери, Лера, вносил ее образ в сочиненные в те месяцы пьесы, писал теплые письма, восторженные стихи. Особенно ярко образ победной Лери Гумилев обрисовал в стихах.

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами —
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье…

Рейснер была моложе Гумилева на десять лет, ее чувства к Николаю Степановичу переполнялись юной восторженностью. Она писала ему на фронт: «И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам — окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей, — стала творчеством. (…) Но будьте благословенны, Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог».

Стихотворение «Письмо» — ответ Гумилева Ларисе, создает ошеломляющую картину его фронтовой эпопеи.

Мне подали письмо в горящий бред траншеи,
Я не прочел его — и это так понятно:
Уже десятый день, не разгибая шеи,
Я превращал людей в гноящиеся пятна.

Потом, оставив дно оледенелой ямы,
Захвачен шествием необозримой тучи,
Я нес ослепший гнев, бессмысленно упрямый,
На белый серп огней и на плетень колючий.

Ученый и поэт, любивший песни Тассо,
Я, отвергавший жизнь во имя райской лени,
Учился потрошить измученное мясо,
Калечить черепа и разбивать колени.

Твое письмо со мной. Не тронуты печати.
Я не прочел его. И это так понятно.
Я — только мертвый штык ожесточенной рати,
И речь любви моей не смоет крови пятна.

В мае 1915 года Анна, подхваченная патриотизмом, написала знаменитую «Молитву».

В Царскосельском парке цвела ранняя сирень, белое облако покрывало вишни. Анна быстро шла к беседке, увлекая за собой Недоброво. Круглый шатер оплетали ветви еще едва зазеленевшего плюща.

— Присядьте, пожалуйста, а я встану в центре. — Она волновалась. Опустила веки, несколько секунд стояла, сосредотачиваясь, ломая пальцы. Начала тихо и торжественно, словно раскачивающийся колокол:

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком светлых лучей…

Недоброво молчал долго и тяжело.

— Ну… Что, Николай Владимирович? Это моя «Молитва».

— Я знаю, вы верите в силу произнесенных слов, особенно предсказаний. Тем более молитв…

— Именно с этой верой я просила у Всевышнего победы в кровопролитной войне. — Анна закашлялась, отвернулась. Исхудалая, плечи дрожат, рука зажала искаженный рот. У Недоброво дрогнуло сердце. Принести в жертву это бренное тело — подвиг. Но погасить столь редкостный дар — кощунство!

— Насчет друга конечно же справедливо. Мною можно и нужно пожертвовать ради «светлых лучей» над Россией. И то, что вы готовы пожертвовать собой, — похвально. Такие стихи нужны сейчас всем, для кого слово «родина» — не пустой звук. Будь я годным к воинской службе, рвался бы на фронт… Только вот вы упоминаете ребенка… Ребенком жертвовать нельзя.

— Кажется, впервые вы не поняли меня. Я готова пожертвовать своей близостью с ребенком. Не увидеть его никогда больше, только знать, что жив… — Она с трудом подавила новый приступ кашля. — Нервы стали как у девицы! От этого кашель привязался.

— Милая моя, милая… — Владимир обнял ее плечи. — Я понимаю вас, и это меня или многих, подобных мне, должно приносить жертву. Но не вас! Поймите, вы — государственное, общенародное достояние. Достояние цивилизации. Ваша миссия — творить!

— Моя миссия — выплескивать то, что рвется из сердца.

— Господи… — Недоброво стиснул виски, отошел. — Настоящий поэт — тот, что живет болью человечества, — всегда самоубийца. Сейчас это яснее ясного. Он пишет кровью сердца, иначе — фальшь. Постыдная фальшь… — Он резко повернулся к ней, взял руки, сжал: — Я уверен, Творец сохранит вас, ваш голос. Но испытаний будет много, почти непосильных… Вы выдержите, чтобы рассказать о них всем.

«Молитва», прочитанная Анной на вечерах, посвященных

героям войны, имела грандиозный успех. Последние строфы публика скандировала хором.

У Вали Срезневской, зашедшей к хворающей Анне на Тучку, были красные, заплаканные глаза:

— Анна… Я, конечно, понимаю, патриотизм и все такое… Но ты ж накликаешь беду! Ладно, на себя — на ребенка, на друга!

— У меня муж на фронте. Борис на фронте. И тысячи неизвестных мне солдат России! — Она закашлялась, на щеках выступили пятна. — Я не могу так вот сидеть и молчать.

— Милая моя, храбрая… — Валя взяла в свои горячие руки ее ледяные. — Но ведь страх-то какой! Мой Срезневский, хоть и профессор, тоже сказал: «Это она лишку хватила. Сильная женщина, отчаянная, опрометчивая».

— Ни капельки не опрометчивая! Я все продумала — целую ночь эти строки в меня ввинчивались. Значит, *кто-то* меня призвал их написать! Призвал! Тут не отвертишься… — Анна твердо посмотрела на подругу. — Верь мне. Я своей Музе верю.

— Анька, ты — героиня! Это им всем на тебя молиться надо — тем, кто хотел унизить тебя, называя «певицей адюльтера». Где они сейчас, сладкоголосые? Попрятались? За шкуру свою трясутся? Стыдно, думаю, им сейчас, ой как стыдно!

— А мне — покойно! Знаю одно: пиши, Анна, как пишется, а что и должно случиться, то и случится. Послушай, что я написала — все правда:

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует,
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей,
И голубь ест из рук моих пшеницу…
А недописанную мной страницу,
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука.

15 декабря 1916 года вышла книга Гумилева «Колчан», в которой были опубликованы первые стихотворения военного цикла. В них заметно, что для Гумилева — поэта и человека — годы, проведенные на фронте, стали переломными. Произошло

обретение новых идеалов, разрыв с прежней декадентской системой ценностей. Романтизм и пафос дерзких приключений сменили страшные будни ратного подвига.

В марте 1916 года Николай был переведен в 5-й гусарский Александрийский полк Ее Величества и произведен в прапорщики. Он ослаб и сильно кашлял. По настоянию медиков, подозревавших у больного развитие туберкулеза, в мае его направили на лечение в Массандру (Крым), где он написал драматическую поэму «Гондола». Врачи уверяли, что окопная жизнь могла кончиться для Гумилева плохо. Но боевого прапорщика не удержать. На фронте в полной мере проявилось то, что в мирные времена казалось лишь героическими фантазиями, маской позера-сочинителя. Он, «отвергавший жизнь во имя райской лени», теперь «учился потрошить измученное мясо, калечить черепа и разбивать колени», он так же храбр в бою, как и в своих романтических историях, правда, без брабантских кружев и высоких ботфортов.

Летом Николай Степанович снова вернулся в действующую армию, где принимал участие в военных действиях вплоть до конца января 1917 года.

Анна Андреевна посвящала мужу стихи, которые с успехом читала на выступлениях.

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною на колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,

Мне хочешь рассказать о том,
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.

Стихи написаны летом 1917 года. Анна не позерствовала — она со всем душевным пылом встала рядом со своим мужем, гордилась им и, не лукавя, «до часа смерти» готова была сохранить и образ его, и «подвиг правый», и память о некогда пригрезившейся, пусть и обманувшей, молодой любви.

Вскоре «подвиг правый» Добровольческой армии превратится в жестокую бессмысленность Гражданской войны. События буржуазной революции расшатали и без того слабую дисциплину и организацию в армии. Гумилева гоняли с места на место. В нем уже не было былого патриотизма и желания сражаться в братоубийственных бойнях. Гумилев ощущал горькую обиду кровавого обмана, бедственной смуты, происходящей в стране.

Новое обострение хронического бронхита позволило ему уехать в Петроград. Здесь Николай Степанович выхлопотал назначение на Салоникский фронт. Отправился он туда через Париж. И задержался. «Я остаюсь в Париже, — писал он Анне Андреевне, — в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства (…), на более интересной и живой работе».

Работа в комиссариате не оказалась, вопреки ожиданиям, «интересной и живой». Вслед за разочарованием в бессмысленном военном героизме Николая Степановича вновь охватила старая страсть к путешествиям в экзотические страны. Он собирает коллекцию персидских миниатюр, увлекается китайской поэзией и, в конце концов, решает ехать в Персию, руководимый не столько рвением участия в боевых действиях, сколько желанием повидать новые страны.

Однако поездка в Персию не состоялась. В январе 1918 года Гумилев отправляется в Англию, пытаясь получить назначение на Месопотамский фронт, но и здесь хлопоты его бессмысленны, а значит — пора домой. Его отговаривали, пытались объяснить глобальный ужас разразившихся в России бедствий. Но ведь Родина в опасности, она нуждается в помощи честных патриотов.

Гумилев рвался в растерзанную, теряющую силы Россию. В марте через Норвегию он вернулся в Петроград. «Это был самоубийственный поступок», — заметил Алексей Толстой.

Глава 3
«Словно ангел, возмутивший воду, Ты взглянул тогда в мое лицо». А.А.

Но вернемся в Петербург 1914 года. Здесь, несмотря на войну, живут красиво, сытно, по-прежнему увлекаются диспутами о тонкостях искусства, флиртуют, закатывают грандиозные приемы…

Из Парижа приехал Борис Анреп. В честь него в музейной обстановке царскосельского дома Недоброво состоялся торжественный обед. Омары, лакеи в белых перчатках, рассуждения о Тютчеве. Изящная фигура Недоброво рядом с викингом Анрепом казалась хрупкой статуэткой. И тут же, в волне нового чувства, изменилась оптика: для Анны стал игрушечным весь парковый роман с «фарфоровым мальчиком».

В гостиной, где каждая вещь принадлежала эпохе итальянского Ренессанса, в присутствии этого отправляющегося на войну воина стихи Ахматовой звучали с новой силой, и разговор об искусстве приобретал особую окраску: Анна блистала тонкими замечаниями, почерпнутыми у Недоброво или Гумилева. Время прошло незаметно. Прощаясь, Анреп задержал руку Анны:

— Я очарован. Вы не просто необыкновенная женщина, вы — волнующая личность. А главное — пишете прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Недоброво ставит вас выше всех остальных поэтов нашего времени.

— Владимир слишком добр ко мне. А про вас он рассказывал с такой теплотой как о ближайшем и лучшем друге. — Анна опустила глаза, мысль об измене Недоброво с его ближайшим другом хоть и приятно обжигала пикантностью, все же сильно горчила…

Однако через пару дней, накануне отъезда Бориса, Анна не отказала ему в интимном свидании на Тучке. Сдержанные, как в менуэте, нежности Недоброво померкли перед мощными объятиями этого воителя с душой художника. Анна поняла, как истосковалась по близости с настоящим, не «фарфоровым», мужчиной. Ее не зря считали чрезвычайно сексуальной особой в том волнующем варианте, когда «в тихом омуте» обнаруживаются кипящие в смоле страстей черти.

Смущало одно: и Анреп, увы, был несвободен. Женолюб и эстет ухитрился иметь сразу две семьи — законную супругу Юнию Хитрово, с которой он много лет состоял в формальном браке, и англичанку Хелен Мейтленд — тоже законную жену,

родившую ему двоих детей. Кроме того, Борис фон Анреп находился на службе в штабе армии и мог бывать в Петербурге лишь короткими набегами.

Едва вырвавшись в недолгий отпуск, он тут же спешил к Анне. Однажды он подарил ей рукопись своей поэмы «Физа». Она зашила папку в чехол из парчи и пообещала беречь ее как святыню. Вот и пригодился кусок антикварного шелка шестнадцатого века, подаренный Недоброво.

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги.
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне Архангел Божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в Его раю.

В написанной Анрепом «Сказке о Черном кольце» передана история его любви с Анной Ахматовой, история длинная и довольно тяжкая, ведь почти год влюбленным приходилось скрывать свои отношения от Недоброво. Причем Анна не порывала с бывшим уже возлюбленным, а фон Анреп все еще считался его самым близким другом. Мотив предательства в «сказке» отсутствует, и потому, передавая ее почти целиком, позволим себе некоторые комментарии.

«Мы катались на санях, обедали в ресторанах, и все время я просил ее читать мне стихи; она улыбалась и напевала их тихим голосом. Часто мы молчали и слушали всякие звуки вокруг нас. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. Анна Андреевна строго меня отчитывала, указывала на путь веры как на залог счастья. «Без веры нельзя».

Позднее она написала стихотворение (кстати, Анна Андреевна терпеть не могла слово «стихотворение»), имеющее отношение к нашему разговору:

Из памяти твоей я выну этот день,

Чтоб спрашивал твой взор
Беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?
О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!
При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

(Эти стихи написаны в апреле 1915 года, всего же Анрепу Анна посвятит более тридцати произведений. Начинался их тайный роман бурно. Анреп, сгорая в плотском огне, с трудом переносил дни разлуки. — *Л.Б.*)

В начале 1916 года я был командирован в Англию и приехал на более продолжительное время в Петроград для приготовления моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском Селе, там же жила Анна Андреевна. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать только что законченную им трагедию «Юдифь». «Анна Андреевна тоже будет», — добавил он. Вернуться с фронта и попасть в изысканную атмосферу царскосельского дома Недоброво, слушать «Юдифь», над которой Николай долго работал, увидеться опять с Анной Андреевной было очень привлекательно. Николай Владимирович приветствовал меня, как всегда, радушно. Я обнял его, облобызал и тут же почувствовал, что это ему неприятно: он не любил излияний чувств, его точеная, изящная фигура съежилась — я смутился. Любовь Александровна (его жена) спасла положение: поцеловала меня в щеку и сказала, что пойдет приготовлять чай, пока мы будем слушать «Юдифь». Анна Андреевна сидела на диванчике, облокотившись, и наблюдала с улыбкой нашу встречу. Я подошел к ней, и тайное волнение объяло меня, непонятное болезненное ощущение. Я их испытывал всегда при встрече с ней, даже при мысли о ней, и даже теперь, после ее смерти, я переживаю мучительно эти воспоминания. Я сел рядом с ней.

Николай Владимирович открыл рукопись «Юдифь», сидя за красивым письменным столом чистого итальянского ренессанса, с кручеными резными ножками; злые языки говорили, что Николай Владимирович женился на Любови Александровне из-за ее

мебели. Правда, Николай Владимирович страстно любил все изящное, красивое, стильное, технически совершенное. Он стал читать. Николай Владимирович никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов, он читал их, выявляя ритм, эффектно модулируя, ускоряя и замедляя меру стихов, подчеркивая тем самым смысл и его драматическое значение. Трагедия развивалась медленно. Несмотря на безукоризненное стихосложение и его прекрасное чтение, я слушал, но не слышал. Иногда я взглядывал на профиль Анны Андреевны, она смотрела куда-то вдаль. Я старался сосредоточиться. Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши, как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. «Возьмите, — прошептала Анна Андреевна. — Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я сжал руку в кулак. Недоброво продолжал читать. Наконец кончил. Что сказать? «Великолепно». Анна Андреевна молчала, наконец промолвила с расстановкой: «Да, очень хорошо». Николай Владимирович хотел знать больше. «Первое впечатление замечательной силы. Надо вчитаться, блестящее стихосложение». — Я хвалил в страхе обнаружить, что половины я не слышал. Подали чай. Анна Андреевна говорила с Любовью Александровной. Я торопился уйти. Анна Андреевна осталась.

Бабушка завещала Анне Андреевне «перстень черный». Так сказала: «Он по ней, с ним ей будет веселей». В Англии такие кольца в свое время назывались «траурными». Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи покрыто черной эмалью, оставлявшей лишь золотые ободки. В центре черной эмали сверкал маленький брильянт. Анна Андреевна всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу. (…)

Несколько времени перед этим я подарил Анне Андреевне деревянный престольный крест, который я подобрал в полуразрушенной заброшенной церкви в Карпатских горах Галиции. Вместе с крестом я написал ей четверостишие:

Я позабыл слова и не сказал заклятья,
По деве немощной я, глупый, руки стлал,
Чтоб уберечь ее от чар и мук распятья,
Которое ей сам, в знак дружбы, дал.

Семейный талисман, даже если его история — лишь вымысел Анны, подарок слишком знаменательный. Анна не подарила кольцо ни Гумилеву перед его отъездом на фронт, ни хворому Недоброво, ни балансирующему на краю гибели Модильяни. И

вдруг — талисман получает Анреп! Что означает поступок Анны? Возможно, она, желая привязать уезжавшего Бориса, передала ему старинное кольцо как благословение?

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу, и свободу,
И на память чуда взял кольцо.

Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Возможно, это был ответ на необыкновенный подарок в виде престольного креста, сделанный Анрепом? Вероятно и другое. Анреп усиленно старался замять ситуацию с «изменой». В день приглашения к Недоброво на чтение его пьесы Анна и Борис провели несколько часов наедине. В момент откровения Анреп рассказал Анне про свое двоеженство. Похолодев от ярости, она назвала его изменником. Он же клялся в том, что лишь ей одной принадлежат его сердце и мысли. А запутанная история — дань увлечениям неразумной юности.

Возможно, кольцо было подарено, чтобы обозначить, кто из троих (две жены и Анна) — истинная любовь и суженая Анрепа. В любом случае поступок Ахматовой свидетельствует о силе ее чувств к Борису — отчасти, конечно, наигранных. Ибо не наигрывать в любовных историях она не могла: истинного пыла для умопомрачающей «любви-судьбы» не хватало, а жанр «любви-трагедии» (типа: «на тебе сошелся клином белый свет») требовал огромного накала эмоций. Именно эту иллюзию восполняли стихи, превращая для каждого «друга» Анну в Незабвенную.

Вернемся к «Сказке»: «Через несколько дней я должен был уезжать в Англию. За день до моего отъезда получил от Анны Андреевны ее книгу стихов „Вечер“ с надписью:

„Борису Анрепу —
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет“».

К чему это? Намек на то, что кольцо — прощальный подарок? В любом случае — слова, означающие прощание. Последовал мелодраматический жест взволнованного влюбленного: он предъявлял Анне доказательства своей горячей любви и висящее на его груди кольцо. Нанизанное на цепочку, оно стало его оберегом. Слова, клятвы, объятия…

За четыре дня до отъезда в Лондон Анреп закатил прощальный банкет в дорогом ресторане со свойственным ему размахом. Супруги Недоброво, Анна и фон Анреп. Две пары. Анне и Борису в самом деле казалось, что они соединены мистическими силами. Борис сидел рядом — огромный, сильный, пышущий энергией красавец. Анна не удержалась — протянула руку, словно желая пощупать ткань его галстука — она знала, что под крахмальной рубашкой Бориса висит на цепочке ее кольцо. Словно током ударило — кольцо было на его груди! Вспомнила, как целовала нагретый теплом его могучего тела металл, лежа рядом с обнаженным атлетом. И вьюжную февральскую ночь, и оплывшую свечу, и жар печи, растопленной для нее Борисом… Очевидно, они на мгновение забылись, скрестив пылкие взгляды. Николай Владимирович замер, заметив накал чувств, словно электродугой соединивший Анну и Бориса.

Любовь Александровна взглянула на смертельно побледневшего мужа, все поняла и сжала под столом его руку. Она торжествовала: теперь ее мальчик возненавидит предательницу.

Но случилось иначе.

Влюбленным удалось почти год скрывать свой роман от Недоброво. И вот — тайна раскрыта.

— Вы больше не принадлежите мне? — спросил Николай Владимирович Анну с какими-то старомодными интонациями. Его голос сорвался. Возможно, от февральского мороза. Они стояли в аллее Царскосельского парка возле заснеженной статуи, которую так любил Недоброво за сходство с Анной. Анна резко зашагала к выходу.

— Вам принадлежит ваша супруга.

— Анна! Вы же сами понимаете, наш брак с вами невозможен… Но ведь нам было так хорошо вместе. И теперь… Я опустошен, раздавлен… Мое доверие к вам, мое доверие к Борису были безграничны… Это жестоко… Слишком жестоко…

— Владимир, перестаньте, идет война, Борис может погибнуть в любую минуту. Право, не время для ревности.

Но он ревновал! Да еще как!.. Потерять сразу отраду своей души, свою любовь и друга… Да ведь вся жизнь рухнула! У Недоброво начался жар и кровохарканье. Любовь Александровна, сразу сообразившая, что сразило ее мужа, негодовала. К тому же, зная, что Анна лечит легкие, она считала: муж заразился от нее.

— Николя! Я так свято берегла ваше здоровье не для того, что бы эта… эта шансонетка, — она не могла подобрать более приличного слова, — погубила в одно мгновенье… Господи… Она заразила вас! — Любовь Александровна сжала виски, повернулась

спиной к кровати больного. Фарфоровое лицо на кружевных подушках старинного ложа и смятый батист с пятнами крови предстали той картиной смертельного ужаса, которой она больше всего боялась. Дрожь охватила ее.

— Императрица! Я поднимусь, не стоит волноваться. Так уже было не раз… Вам же известно — я болею давно. Болезнь Анны не опасна для окружающих, — почти весело заверял он, зная приговор врачей — туберкулезный процесс перешел на почки. Сейчас он не хотел жить, и смерть казалась легким избавлением от душевных мук двойного предательства. Николай Владимирович не желал влачить жалкое существование преданного и беспомощного существа те пять лет, которые с натяжкой давали ему врачи. Может, в самом деле болезнь будет так любезна, что не заставит его ждать? Но бедная Любушка… — Милая, присядьте ко мне. Простите… Я так виноват перед вами… — Он отвернулся, пытаясь скрыть слезы.

Присев на край кровати, Любовь Александровна неистово целовала мокрое от слез, любимое лицо.

— Не надо, радость моя, я все уже забыла. И простила — Бог с вами! — Она перекрестила больного и взяла его протянутую руку. Горячую, нежную. Ее пальцы дрожали.

— У тебя ледяные руки, Любушка. Тебе надо прилечь. — Он тяжело дышал.

Задыхаясь от негодования, Любовь Александровна вскочила:

— Пусть придет и посмотрит — это ее работа. Убийца! Твоя гризетка — разлучница и убийца!

…Только через пять лет Анна узнает от вернувшегося из Крыма Осипа Мандельштама, что Николай Владимирович умер в декабре 1918 года и похоронен в Ялте на Аутском кладбище. Стихи компенсировали моральный урон и физические потери. Они останутся в вечности.

Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон,
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он (курсив автора. — (Из отступления в «Поэме без героя»)

…Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон.
Где цвела его юная сила,

Где забыта его могила,
Словно вовсе и не жил он…
(…)

Любовь Александровна эмигрировала за границу, прожила долгую жизнь и умерла в Сан-Ремо…

Вернемся к рассказу Анрепа: «Я уехал в Лондон, откуда должен был вернуться недель через шесть. Но судьба сложилась иначе. Я никогда не писал Анне. Она тоже отвечала полным молчанием.

И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Эта встреча никем не воспета,
Словно новая жизнь началась.

Сводом каменным кажется небо,
Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи —
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

1916. Слепнево

Глава 4
«И только совесть с каждым днем страшней Беснуется: великой хочет дани». А.А.

Осенью 1916 года Анна вынуждена была уехать в Севастополь — подлечить в уже знакомой больнице бронхи и легкие. Здесь, под хмурым, совсем не летним небом, рядом с неузнаваемо чужими, зло ревущими свинцовыми волнами она в полную меру ощутила свое одиночество, потерянность. Исчезло ласковое очарование теплого, льнущего к ней моря — с детства верного друга и утешителя. Солнце забыло про скудную, зябкую землю, рядом не было никого из близких — только страх за всех оставленных, далеких. И терзающие муки совести. Их она любила как главного властелина и мучителя. Любовь-ненависть, любовь к той живой крови, без которой самые бурные поэтические всхлипы — всего лишь в меру талантливый муляж.

Всё отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
А голову в веночке темном клонит,
Изнеможенная, на грудь мою.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей…
Но больше нет ни слез, ни оправданий.

В декабре 1916 года Анну ждало новое знакомство — с только что появившемся в столице молодым поэтом Сергеем Есениным. 28 марта в огромном зале Армии и Флота Ахматова принимала участие в благотворительном концерте. В белом платье, стройная, изящная, сложив руки на груди, она читала «Вестей от него не получишь больше…».

Сидевший в зале Есенин был покорен Ахматовой и добился через друзей встречи с королевой русской поэзии. Шел к ней волнованный и вдохновленный, вернулся совершенно разбитым, с

обвисшим чубом и растерянным крестьянским лицом.

Провинциальный парень, ошеломленный столичной роскошью, ожидал встретить королеву в достойных ее величия покоях. К нему вышла усталая женщина, зябко кутавшаяся в шаль. Она недавно похоронила отца и не была расположена к беседам с бодрым, рвущимся к победам юнцом.

Несмотря на разочарование личной встречей, Есенин, пожив год в столице, хорошо понял, кто есть кто, и написал про Ахматову стихи. Сам передать не решился, но все же постарался, чтобы поэтесса узнала себя.

…Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет,
И кто от родины далече.

И всё тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в Отчизне!

Анна Андреевна, прочтя попавшие к ней стихи, осталась недовольна панибратством рвущегося в поэзию нахала. Молиться за него?! Пока он тут шляется по кабакам, а солдаты гниют в окопах! Цветущая физиономия здоровяка, отлынивающего от армии, отирающегося по злачным местам столицы, в то время как больной Гумилев кормит вшей в окопах, бесила Анну.

Все же надеясь покорить Ахматову блеском своего таланта, Есенин передал ей «Кабацкий цикл». Не стоит и говорить, что стихи ей не понравились.

«Он был хорошенький мальчик раньше, а теперь его физиономия — сплошная пошлость!» — брезгливо отбросила она сборник.

Здесь можно упомянуть, что безупречный поэтический вкус Анны Андреевны сильно зависел от личного расположения. Она не любила Чехова, пьесы его считала абсурдными. К Бунину, после его злой эпиграммы насчет ее худобы, навсегда потеряла расположение, записав в плохие поэты и никчемные писатели. Той же участи удостоился и Есенин.

Случай с Пастернаком — особый. Уважая и любя Бориса Леонидовича, Анна Андреевна была огорчена «Доктором Живаго»: «Что там у него за женщины? Вы таких женщин видели? Абсурд! Описания природы, как всегда, отличные. Но сам Живаго! Послушайте, какой он доктор? Разве он там кого-то лечит?

Никого ни разу!.. А стихи хорошие. Правда, не все».

Однако вернемся к рассказу Анрепа.

«Меня оставили в Англии, и я вернулся в Россию только в конце 1916 года и то на короткое время. Январь 1917 года я провел в Петрограде и уехал в Лондон с первым поездом после революции Керенского. В ответ на то, что я говорил, что не знаю, когда вернусь в Россию, что я люблю покойную английскую цивилизацию разума (так я думал тогда), а не религиозный политический бред, Анна Андреевна написала:

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.

Вокруг тебя — и воды и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917

И позже в том же году:

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы
И над озером тихим сосну.
(…)»

За два с половиной года Анреп смертельно устал от войны, от бессмысленности происходящего. Военная кампания превратилась в машину для перемалывания человеческого мяса.

Разочарование не способствовало и накалу лирических настроений. Любовные чувства притупились. На протяжении романа Ахматовой с Анрепом секс из разряда высших наслаждений могучего вояки перешел в удовлетворение

естественных потребностей — время страстей миновало. Анна вообще, как оказалось, не его тип — слишком болезненна, нервна. Но Анреп — рыцарь, он способен на отчаянный поступок ради Анны. Он чувствует свою ответственность за нее и искренне хочет спасти от надвигающейся катастрофы.

«Революция Керенского». Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы, железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с Анной Андреевной. Она в это время жила в квартире профессора Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой, на Выборгской или на Петербургской стороне, не помню. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов. Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает Анна Андреевна. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах». — «Я снял погоны».

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». — «Ну, перестанем говорить об этом». Мы помолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете». — «Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо». Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. Анна Андреевна тронула кольцо. «Это хорошо, оно вас спасет». Я прижал ее руку к груди. «Носите всегда». — «Да, всегда. Это святыня», — прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. Анна Андреевна ласково улыбнулась. «Так лучше», — сказала она».

Анреп, несмотря на свою богемную легковесность в отношении с женщинами, был человеком надежным, не способным оставить в беде близкого человека. Он убеждал Ахматову уехать вместе с ним — в это время массовой эмиграции Борис мог получить для нее визу в Англию. В аналогии с Французской революцией и утверждении, что «даже будет еще хуже», — желание не испугать, а спасти.

Анна отказалась «предать родину», отобразив оскорбленные патриотические чувства в стихах:

…Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».
(…)
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Простившись с Борисом, Ахматова собрала тридцать посвященных ему стихотворений в отдельную тетрадь и постаралась забыть о своем увлечении. В 1917 году они были изданы сборником под названием «Белая стая». В этом же году предложение Анрепа покинуть Россию уже не покажется Анне Андреевне столь безнравственным и оскорбительным.

И снова — повествование Анрепа:

«С первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи.

Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки Анне Андреевне, и единственное известие, которое я получил от нее, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:

«Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите. Анна Ахматова».

Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль. Я остался в Лондоне и мало-помалу вернулся к своей работе по мозаике. Как-то раз, раздеваясь, я задел цепочку на шее, она оборвалась, и кольцо покатилось по полу. Я его уложил в ящичек из красного дерева, обитый бархатом внутри, в котором сохранялись дорогие для меня сокровища: военные ордена; золотой портсигар, подаренный мне командиром английского броневого отряда в России Локер-Ламсоном; запонки самоубийцы, которого я похоронил, и другие вещицы. Я собирался отдать цепочку в починку, но не сделал этого. Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей. Перед его отъездом я просил его передать Анне Андреевне большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый материал на платье. Он нехотя взял, говоря: «Ну что

вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена». Я разинул рот от удивления. «Не глупите, Николай Степанович», — сказал я сухо. Но я не знаю, получила ли она мой подарок…»

«Сказка о черном кольце», написанная Анрепом, еще не окончена, ее героям предстоит встреча через сорок лет. Но роман Анны Андреевны с Борисом Васильевичем — роман во плоти и в стихах завершился расставанием в 1917 году.

Каждый новый день приносил страшные новости — «окаянные дни» — окаянная жизнь. Мир встал на дыбы. Человеческая жизнь — копейка. «Поэтесса? Мадам, встаньте-ка к стеночке поаккуратней, пальтишко мозгами изгадить не хочется».

В эти дни, запуганная, заметавшаяся в смертном ужасе Анна получает письмо от Гумилева, находящегося в Париже. Он тоже просит ее подумать о переезде во Францию. Она гневно отвергла предложение Бориса об эмиграции, но теперь — немедля побросать тряпки в чемоданы — и прочь! Для оформления визы Анна ждет письма из Парижа с вызовом, а пока направляется в Слепнево собрать свои и Левушкины вещи. Она все еще не решается рассказать свекрови о намерении уехать, дрожа от мысли, что бабушка может не отпустить внука. Анна знает о новом головокружительном увлечении Гумилева. Он пишет запоем стихи «девушке с газельими глазами», не рассчитывая на успех ухаживаний. Его пассия — невеста богатого американца. Какое это теперь имеет значение? Отъезд в Париж — дело решенное. Но вызова все нет. Почта работала плохо. Письмо от Гумилева пришло на адрес Срезневских за неделю до выстрела «Авроры» — теперь уж о выезде за границу мечтать не приходилось. Пара недель решили судьбу Ахматовой, сына, а, возможно, и Гумилева. Кто знает, стал бы он так рваться в Россию, даже вдохновленный идеями антибольшевистского заговора, если бы рядом была семья и, возможно, важные дела по организации эмигрантской литературы.

Вспомним, как мучительно решала вопрос об эмиграции Марина Цветаева. Она должна была уехать для воссоединения с мужем — бывшим офицером белой гвардии. С нею была дочь Аля, которую Марина едва не потеряла в голодном Петрограде, как и младшую Ирину, умершую от голода. И все же — расставание с родиной было для нее крайне болезненным шагом. Ахматова, как видно в случае с Анрепом, яростно сопротивлялась отъезду, считая уезжавших предателями. Но ситуация изменилась, для отъезда в Париж к Гумилеву уже были собраны подаренные к свадьбе баулы. Зов Гумилева был решающим. Несмотря ни на что, именно ему Анна Андреевна была способна доверить судьбу свою

и сына. Увы, история распорядилась по-своему. Анне суждена была слава патриотки, презревшей эмиграцию. Тридцатипятилетнему Гумилеву — безымянный овраг, Льву — мученичество в лагерях.

Анна осталась. Очень быстро вокруг нее образовывалась пустота — друзья и знакомые либо спешно уехали, либо погибли, а развитие событий в России не вызывало оптимизма. Было очевидно, что прежний порядок если и вернется, то очень не скоро. А чем чреват новый, не знал никто. Предчувствия, обманувшие Анну всего несколько месяцев назад, когда она, в надежде на расцвет России, давала гневный отпор умолявшему ее уехать в Англию Анрепу, молчали и сейчас.

Глава 5
«Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит». А.А.

Двадцативосьмилетняя Анна Андреевна осталась в Петрограде одна. Царскосельский дом продан, в Слепнево, где живут свекровь с сыном, с каждым днем становится все опасней — крестьяне жгут барские дома. Анна Ивановна, женщина мудрая, не стала дожидаться погрома — приобрела домик в Бежецке, маленьком южном городке, и увезла туда внука.

Анна, переселив свекровь с сыном на новое место, в Бежецке не осталась. Почти деревня, сплошные сады и огороды. Выжить там можно, но жить? Она пока еще Анна Ахматова и, как многие в то смутное время, надеется на какие-то позитивные перемены, «новые веяния». Пока же выживать было трудно — никаких гонораров, катастрофа с продуктами и жильем. Анну приютили Срезневские, жившие в казенной квартире при клинике. Вячеслав Вячеславович столовался дома, и дровами квартиру профессора обеспечивала больница. У Срезневских было так покойно и сытно, что оголодавший Мандельштам взял за правило приходить к ним с визитом к обеду. Гости не задумывались, как крутится Валя, чтобы прокормить всех.

Однажды ночью Анна застала ее на кухне над грудой мерзлой картошки.

— Что ж теперь будет, Анька? Пролетариат с голодными глазами рыщет, лица какие-то волчьи. Того и гляди, за полбуханки хлеба пристрелят. Приличные квартиры «буржуев» национализируют — всех за шиворот и на улицу. А под горячую руку и к стенке. Дров в больнице больше выдавать не будут, а продовольствие — совсем бросовое.

— Да, Валюша, смутное время. — Подняв скользкую картофелину, Анна брезгливо подержала ее в пальцах. — Думаю, и это скоро исчезнет. Я тут на митинге с Осипом вылезла читать «Молитву» — «Дай мне горькие годы недуга…» Так что? Хорошо, не побили. Им хлеб нужен, а не какие-то абстрактные «золотые лучи» славы над Родиной. Знаешь, кого в толпе встретила? Шилейко. Он по болезни из армии демобилизовался.

— Вундеркинд и полиглот Владимир Казимирович! Его не забудешь, вот уж пациент моего Вяч Вяча — крыша совсем набекрень съехала. — Валя высморкалась и стала перебирать картошку, отбрасывая гнилье в помойное ведро.

— Он же гений. Лучшие друзья Гумилева — Вольдемар и

Лозинский. Гумилев уверял, что Шилей — самый из них умный. — Анна распутала узел волос и пыталась расчесать его щербатым гребешком.

— Это потому, что он кучу каких-то идиотских языков знает и слова все выворачивает: «трампуся», «телефонкель», «кастрюленция»… И физиономия странная — шизанутый гений! — Валя с отвращением отправила кучу оставшейся гнили в ведро. — Твоя грива совсем свалялась. Небось месяц не мыла?

— Тут ведром воды не обойдешься. — Анна с отвращением свернула потуже тяжелые космы. — Надоели. И Шилей говорит — как ведьмачка нечесаная… Он вообще-то — голова. Ассиролог с европейским именем!

— Физиономия у него точно ассирийская — на козла похож. — Присмотревшись к Анне, Валя задумалась. — Идея на тысячу рублей! Сейчас «маленькие головки» в моде. Потому что вши, и мыла нет, и воды…

— Поняла, согласна. Тащи ножницы. Пора менять стиль. Я же сейчас, считай, женщина влюбленная…

— Да ну! Не морочь голову. В кого? — Валя, вооружившись ножницами, примерилась к длинной пряди и смело отсекла ее. — Вначале начерно острижем, потом ровнять будем.

— Нет, Гумилев не дурак, разглядел в Шилее нечто… И знаешь, он мне вчера совсем другим показался. Представляешь, снег валит, под ногами каша. Ботиночки мои насквозь промокли, от его солдатской шинели несет козлом… А он мне руку подставил! Я и вцепилась, чувствую же — свалюсь в грязь, и никто не остановится, не поможет. Ого, настригли! На полу уже гора! Амадей был осторожней с моей красотой… — Она закурила, задумалась, «слетав», наверное, вместе с дымными кольцами в майский Париж… — Зато подушку можно набить. Нет! Гумилев говорил: непременно, чтобы враги для сглаза не воспользовались, волосы необходимо сжигать!

— Сожжем! — Валя сгребла веником черный ворох. — Выходит, ты с ним почти сутки гуляла? С Шилеем? К утру явилась. Ой, кажется, сзади много хватила!

— Ничего, отрастет! Какие гулянки?! Промокла до трусов. Дрожу, кашель разобрал, и чувствую, что синею от холода. Закрыла глаза — пусть ведет куда хочет… Да режь ты, режь… Не мучай. Я ж своими волосами ох как гордилась… Только Амадею разрешила кромсать и тебе.

— Ты, Анька, вообще рисковая… Я не про Париж — дело давнее. Про вчера — так с ним и пошла?

— Да что он — разбойник? Дружок моего мужа всетаки. Как-никак Шилей был домашним учителем младших сыновей графа

Шереметева. И проживает знаешь где? Во флигеле дворца — Фонтанного дома! Две комнаты, теплынь, как на пляже в Крыму. Во дворце трубы с теплым воздухом сквозь стены пропущены. Из котельной в подвале их до сих пор топят! Я рухнула в мягкое кресло — тоже, наверно, бывшее графское, и в дрему меня потянуло. Чую запах кофе, и не какого-то там с цикорием или морковного, а самого первосортного! Вольдемар хвастается: «Это я еще у дворцовых буфетчиков покупал — запасся». И бутылку припрятанного коньяка достает.

— Выходит, шиза шизой, а жизнь себе организовал! Да не крутись ты, оставь хоть на минуту папиросу — фасон придавать буду! Ножницы-то острые — из хирургической Вяч Вяч принес, так пол-уха и оттяпаю.

— Шилей организовал жизнь?! Не смеши. — Анна потрогала остриженные волосы, взъерошила. — Так легко стало… Ой, как же я вшей боялась! Теперь поняла, почему на меня Шилей косился, когда я косу распустила! Ха! — Она встала и заглянула в зеркальную дверцу буфета. — Мадам Гумилева-Шилейко в восторге! Ты гений, Валька.

— А гривы твоей искусительной все же жаль.

— Сколько отменных кавалеров сейчас растащили бы на память эти пряди — свидетели нежнейших сцен… Ладно, отрастут как на собаке. А винца, отметить событие, нет?

— Увы… Наливку бабушкину до донышка вытянули… Погоди… Так ты что, на Шилея запала? Ну и вариант! Хата хоть графская?

— Берлога отшельника. Койка, покрытая простым тканым одеялом, зеркало в старинной позолоченной раме, кресло развалющее, и все! Никаких полок — книги разбросаны повсюду, маленький стол с простой чернильницей и пресс-папье. А на нем ворох старинных книг и спиртовка! Представь, он так ловко с ней управляется!

— Не ожидала, что Шилей такой хозяйственный. Слушай, а ты мне с такой прической нравишься! — Валя с ножницами ходила вокруг подруги, шлифуя форму.

— Вот и праздничек организовали. Помолодела, а?

— Лицеистка. Малость засидевшаяся в старших классах. Эх, подкормиться бы тебе.

— Шилей подкормит. Хозяйственный и впрямь оказался: спиртовочку разжег, кофе сварил, коньяк по рюмочкам наверняка еще барским разлил, настольную лампу зажег, очки снял и смотрит на меня, как на царицу, — все свои богатства к моим ногам метнул, значит. Глаза большущие, умные и преданные, как у сенбернара.

— Мне давно казалось, что он к тебе не ровно дышит, в «Собаке» как зачарованный на тебя пялился, и ты вроде с ним кокетничала… И что дальше было?

— Да все было! Он меня замуж зовет.

— Так у него жена венчанная!

— Ой, Валя, все наши прежние браки… испарились, «как сон, как утренний туман». — Анна зевнула. — Пойду посплю немножко…

Ахматова переехала в берлогу Шилейко, состоящую из двух смежных комнат, жутко запущенных. Вскоре вспышка эротической увлеченности прошла, и она с ужасом поняла, что совершила глупость. Между тем Владимир Казимирович оказался ревнивцем, да еще каким! После каждого ее выхода в город устраивал скандалы. Анна отмалчивалась, но вдруг откуда-то прорвались визгливые базарные интонации и жест тот самый, популярный при разборках пролетарок в коммунальных кухнях. Жили голодно, перебиваясь кое-как, перекусывая у знакомых.

Из бывших друзей, кроме Вали, ближе всего территориально и по-человечески оказалась Ольга Судейкина, жена того самого носатого композитора Лурье, что совершал неудачные пассы вокруг Анны во времена «Бродячей собаки». Смешливая, все на свете умеющая, танцорка и певунья действовала на Анну животворно, обещая твердо: «Все перемелется — мука будет. Ты, Анна Андреевна, еще свое возьмешь. Попомнишь мое слово». При этом подкармливала отощавшую до неприличия подругу.

Однажды у Ольги Анна встретила приехавшего из Москвы Георгия Чулкова. Вмиг осознала свое бедственное положение: истоптанные ботинки, заношенное платье, повисшее как на вешалке. А он — хоть бы что. Затертая кожанка — и та к лицу. Анна тщетно пробежала неухоженными пальцами по волосам, подстриженным до мочек ушей. Чулков отвел глаза и стал с преувеличенной живостью рассказывать какой-то анекдот. Жене он написал: «Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья… Она, по рассказам, в каком-то заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе».

Однажды Шилейко дошел до того, что стал запирать любимую на ключ. Зимой Анне и не хотелось уходить из тепла. Но ее попытка в марте выйти прогуляться по саду едва не закончилась дракой. Задыхаясь, она стояла у стены, испепеляя психопата убийственным взглядом.

— Ой! Ой, плечо прихватило! — Он отскочил от нее. Толстый том энциклопедии, которым ассиролог с мировым именем только

что замахивался на сожительницу, выпал из бессильно повисшей руки. — Чертовка, Акума!

Акума — прилипло, стало бытовым «псевдонимом» Анны. Шилей умолчал поначалу, что на каком-то из известных ему языков это слово означает «ведьма». Но звучание нового имени в самом деле шло Анне.

Она и впрямь часами могла молчать и смотреть с такой силой пренебрежения, что нервный Владимир от ее взгляда прятался. Кровать — место обитания гражданской жены — отгородил ширмой. Там она и пребывала в заключении, читала, немного писала.

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем.
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Взбешенный Шилейко сжег листок и целую неделю держал Анну на голодном пайке: лишил кофе, но печеные картофелины и полугнилые луковицы честно делил пополам — с грациозным поклоном приносил утром на медном подносе.

Наконец он сдался. Вытащил Анну из постели, усадил перед большой чашкой горячего кофе и стал диктовать ей какой-то античный перевод.

А вечером, вынув откуда-то спрятанную котиковую шубку, вывел пленницу прогуляться по Невскому.

— Меня в Эрмитаже берут в штат, и в университете работу обещают. Нынешняя власть в знающих людях нуждается. Старая гвардия-то разбежалась.

— Планы интересные. — Анна не разделяла энтузиазм радостного Владимира Казимировича.

— Вы поверьте мне, Анусик, быть вам лет через пять женой академика. И пусть мадам профессорша Срезневская завидует.

— Перспектива заманчивая, особенно для человека, «принимающего ванны» несколько месяцев под рукомойником. Как хочешь, а завтра я к Вале мыться пойду. Если, конечно, дрова им выдадут.

Анна не узнавала город: забитые витрины, разгромленные вывески, запертые подъезды, а люди… Шныряют мимо, как крысы — серые, зыркают острыми глазами. И запах… Дегтя и помоев. Разве так пахло на Невском? Неужели навсегда этот мрак, страх, мерзлая картошка, грязь, ноющий от голода живот? И это будущий «академик» рядом? А ведь ей только двадцать девять лет, и все так бурно начиналось.

Валя встретила подругу сообщением:

— Гумилев приехал! Зайти должен.

— Выходит, не усидел в Париже.

— Его ж в самое пекло всегда тянет — «вечный бой, покой ему только снится». Охотник за впечатлениями.

— Не навпечатлялся еще. Ищет приключений… — Анна села, закрыла глаза: голова кружилась в последнее время часто. Летишь и будто куда-то проваливаешься, а там, в кружении какого-то темного вихря — видения и тени. Просятся в стихи, мучают неотвязностью. — Валь, он смерти ищет. Я давно поняла. Ему надо, чтобы она рядом шла, как прирученная пантера. Вроде и ластится, а чуть замешкаешься — в горло вцепится.

Вскоре Гумилев прибыл и тут же передал Анне привет и презент от Анрепа — монету времен Александра Македонского с женским профилем, напоминавшим ахматовский.

— Он вам еще и материал на платье со мной передать хотел, но я его в ближайшей урне, уж извините, обронил. Муж все же, а не поставщик подарков от любовника.

Анна посмотрела холодно, отвернулась и произнесла ледяным тоном:

— Николай Степанович, будьте так любезны, выдать мне разрешение на развод.

— Вы что, замуж собрались?

— Да.

— И кто он?

— Шилейко.

— Не может быть! Не верю.

— Однако это именно так. Я люблю его.

Окинув Анну насмешливым взглядом, Гумилев повернулся и ушел, зло хлопнув дверью.

Валя заглянула в комнату:

— Что это его так вынесло? Быстро договорились.

— Разводимся, наконец. — Анна отвернулась к окну, проследив, как исчез за липами такой знакомый силуэт.

«Что-то не так… Что-то толкает, а непонятно куда…» — стучало внутри. А в уши вместе с задорным маршем из репродуктора лезло нагло-самоуверенное: «Да все путем, Анна Андреевна! Устроится!»

На Троицу Анна с бывшим мужем поехали в Бежецк навестить сына.

Пятилетний мальчик просил у отца подержать шпагу, осторожно трогал его погоны, ордена. Кудрявый и светленький — Колина порода. Глаза умные, с потаенной мыслью — отцовские.

Анна, как во сне, подбирала с пола и машинально складывала в сундучок разбросанные игрушки. В голове не укладывалось: чужая комната, чужие муж и ребенок… Этот светленький, кудрявый мальчик не обжигал сердце, как когда-то красоты Италии — чрезмерно накаленные чувства лавой протекали мимо, не задевая души невыносимой мукой или восторгом. Не ранили. Хотелось скорее сбежать, спрятаться и уже наедине с собой пережить, перебрать все, внимательно и осторожно приглядываясь. В психологии Анны срабатывал некий предохранительный клапан, допуская в глубину души «токи высокого напряжения» лишь в моменты творчества. В быту она могла срываться, закатывать истерики — «спускать пар», но не в полную силу, как-то театрально. Чаще же ей удавалось держать себя в руках, сохранять образ невозмутимого, хотя и глубоко печального покоя.

— Может, все же в Италию, к этому мерзавцу поедешь? — Гумилев не мог забыть о ненавистном Модильяни.

— Мы давно не поддерживаем отношений, — смиренно заверила Анна.

— Думаешь, с Шилейко будет лучше? Говорят, вы с ним воюете? Будто даже он запирал тебя?

— Ревновал, он же бешеный.

— И я был бешеный, когда за тобой четыре года ходил, в жены звал. А ты меня мучила. Чего ж теперь так быстро решилась?

— Взрослая стала. — Анне не хотелось трогать то, что таилось под тонким слоем мрачного спокойствия: раздражение к Шилейко, злость на себя, сожаление о потерянном. Может, именно сейчас общие бедствия сблизили бы их с Николаем и вышла бы нормальная человеческая семья? «Если позовет, скажу да», — решила вдруг она, и сердце заколотилось в волнении.

— Анна, хотел тебе сообщить… Видишь ли, мои чувства к тебе были, наверное, чрезмерно сильны. Потому все и выгорело… Почти все…

Она замерла, слушая стук сердца. Он медлил.

— Видишь ли… Имею честь сообщить вам, Анна Андреевна, что тоже женюсь. — Он шутливо поклонился. — Мою избранницу зовут Анна Николаевна Энгельгарт. Двадцати лет, хороша отменно. — В его голосе был вызов. Может быть, и он ждал, что Анна встрепенется, накинется на него с бранью, припоминая всех пассий. А потом скажет: «Давай начнем все заново!»

Но она лишь пожала плечами, молвила бесцветно и холодно:

— Удачи тебе с лучшей из женщин.

Увы, вторая жена Гумилева оказалась далеко не лучшей.

Глупость в сочетании с самоуверенностью дают неприятный эффект. А потом еще открылось, что и самоуверенность — сплошной пшик: в трудных жизненных обстоятельствах молодая терялась и опускала руки. Родив дочь, грозилась даже отдать ее в приют.

Гумилев так и не достал из кармана френча сложенный листок с недавно написанными стихами. Он хотел показать их Анне.

Нежно-небывалая отрада
Прикоснулась к моему плечу,
И теперь мне ничего не надо,
Ни тебя, ни счастья не хочу.

Лишь одно бы принял я не споря —
Тихий, тихий золотой покой
Да двенадцать тысяч футов моря
Над моей пробитой головой.

Что же думать, как бы сладко нежил
Тот покой и вечный гул томил,
Если б только никогда я не жил,
Никогда не пел и не любил.

Глава 6
«Я рад, что он уходит, чад угарный». Н.Г.

В августе 1918 года был оформлен официальный развод Ахматовой и Гумилева, а в декабре того же года она заключила брак с Шилейко. Через год, в конце 1919 года, Шилейко и прописанную к нему жену попросили освободить помещение во флигеле национализированного дворца.

Анна Андреевна нашла выход — устроилась на работу в библиотеку Агрономического института и получила от работы комнату. Туда и заявился бездомный Шилейко. Пришлось оставить — не гнать же на улицу законного мужа. У него оказался огромный багаж — стопки увязанных веревкам книг. На улице мела метель, и, стоя на коленях, он спешно обмахивал драгоценные издания облезлой шапкой. Анна смотрела, как на полу растекается лужа, но даже не встала с топчана, на котором проводила большую часть свободного времени. Голод отнимал силы и желание двигаться. Невероятно, что когда-то она могла часами бегать на лыжах с Недоброво. Вот под таким снегом…

— Анюсечка, помоги, там соседи ругаются, что дверь на лестницу открыта, — взмолился взмыленный Шилей.

Она нехотя поднялась и пошла через темный, пахнущий застарелым жареным салом коридор к лестничной клетке. Подняла вязку книг и, шатаясь, закусив губу, потащила ее в комнату.

…Как раз в этот морозный декабрьский день в солнечном Бахчисарае, в доме, убранном оранжерейными гиацинтами — лиловыми и синими, умирал Николай Владимирович Недоброво. Анна ничего о судьбе бывшего друга не знала, а он не знал, что стало с ней. Заставлял себя не гадать, как сложилась судьба Анны Андреевны, где она теперь — с Анрепом или, может, с Гумилевым? Предположить, что исхудавшая Анна, жмурясь от головокружения, помогает новому мужу затаскивать в комнату по темному коммунальному коридору связанные бечевками книги, он, конечно, не мог. В тот миг, когда на подушку Николая Владимировича вдруг легло пятно яркого солнца, он понял, что это знак — призыв. Вдохнул последний раз, попытался сжать руку Любови Александровны и навсегда закрыл глаза. Синева его ввалившихся глаз, так поражавшая ее в последние дни, особенно яркая, оттененная лиловыми тенями на фарфоровом лице, погасла. Настала чернота, словно во всем мире выключили свет. Любовь Александровна потеряла сознание.

Ясновидение Анны не принесло ей весточку от Николая Владимировича, лишь на душе было тяжко и горько.

— Ну, ничего, устроимся, — огляделся Шилей, отдуваясь после перетаскивания тяжелого чемодана. Чемодан был старый, пахнущий плесенью из каких-то графских кладовок. Смутно в углу просматривался тисненный золотом герб Шереметевых «Deus conservat omnia» — «Бог сохраняет все».

События последних лет — буржуазная революция, отречение Николая Второго, Октябрьский переворот, Гражданская война, разруха, мучая страхом, голодом, холодом, не зацепили Музу Ахматовой, не заставили «стать летописцем утрат» и, к счастью, «провозвестником светлого будущего». Социальные потрясения — не ее стихия, романтическое упоение химерами — презренный жанр. Жизнь — какая она стала — вошла нарастанием тревоги и боли в ее лирику. Анну, наполненную тоской и ужасом, ее «смуглая Муза» не лишила голоса. Лишь бы только возобновили работу издательства.

С началом НЭПа издательская нива оживилась. Ожила и Анна. Весной 1921 года вышел сборник ее стихотворений «Подорожник» тиражом в тысячу экземпляров. Стопки белых книг красовались на подоконнике. Одна — распакованная — прямо на столе вместо букета цветов.

— А ты умничка, Анюшечка, хоть денег за эти книжки и на колбасу приличную не хватит. Наскреб последние на «собачью радость».

— Возьми, купи себе, что захочется. — Она бросила кошелек на стол.

— Вот мы и литературой кормимся. — Шилей стал пересчитывать бумажки. — Я много не возьму — на пропитание. — В последние месяцы он стал говорить с юродствующими интонациями. — Рассуждаю так, что Блоку твоему поболе отваливают за добрую службу. Ведь он как старается: русскую революцию приветствует, в комиссии по расследованию преступлений царского (заметь!) правительства работает, и еще написал поэму «Двенадцать»! Прорвало гения.

— Гнусная эпитафия. И себе, и своим героям, да и заказчикам. — Анна ушла на кухню и вернулась с графином воды. — Кипяточку согрей, зябко.

Шилей достал свою неизменную спиртовку:

— Честно говоря, не совсем ясно, как эта «совесть Российская», «душа наша чистая» — Александр Александрович Блок — сподобился оправдывать и даже приветствовать поэтически, разумеется, бессудные расстрелы и грабежи! А во главе революционного сброда матросни пьяной и прочих Катек

кощунственно поставил Иисуса Христа!

— Гумилев говорил, что этой своей поэмой Блок вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя! — Анна отодвинула в сторону лежавшие на грязной клеенке беленькие сборники. Этому ассирологу ума хватит колбасу на ее стихах резать. Причем со своих талмудов пыль стирает, а ее труд и не считает за книги.

— Эх, безрассудный наш Николушка — так на рожон и лезет со своими монархическими убеждениями. И в личных беседах, и на литературных вечерах провозглашает! — Сорвав обложку с книжки Анны, он скрутил ее, поджигая от спички спирт.

Анна открыла рот, но от возмущения слова застряли в горле. Только и смогла выдавить:

— Вон! И чтобы никогда, нигде на моем пути! — Царственным жестом она распахнула дверь и навсегда выдворила Шилейко, швырнув вслед шматок ливерной колбасы.

О смерти Модильяни Ахматова узнала случайно. В один из январских вечеров 1920 года открыла старый европейский журнал по искусству и увидела маленький некролог, где сообщалось о невозвратимой потере для живописи — скончался хороший художник. Снились ей дурные сны с присутствием ее Амадея, хотя и думала о нем мало.

Проводив Анну в страну, где вскоре произошел переворот, Модильяни понял: встретиться им не придется, эта страница его жизни перевернута. Спустя год он увлекся двадцатилетней девицей Жанной Эбютерн. Они стали жить вместе, и осенью 1918 года Жанна родила Модильяни дочь. Художник был счастлив, наконец-то он обрел семью и долгожданный покой. Однако силы его, подрываемые наркотиками и алкоголем, таяли с каждым днем. В конце 1919 года Модильяни сильно простудился и спустя месяц умер. Обезумевшая от горя супруга, уже восемь месяцев носившая под сердцем второго ребенка, не смогла пережить смерть любимого. Она выбросилась из окна на следующий же день, поскольку хотела уйти из жизни вместе с Амедео.

Анна сопоставила темные знаки сна с горькой информацией, полученной от парижских знакомых, решила, что все предвидела заранее, еще увидав тогда его оборванную линию жизни. Вздохнула, зажгла свечу и мысленно поставила на этой истории крест. К счастью, у нее была Муза — ей и вменялось хранить архивы памяти до надлежащего случая.

А вот обрыв линии жизни на еще одной знакомой ей ладони настораживал. Эх, Николушка, боевая головушка, не найти тебе здесь магов в пурпуровых хитонах. Ох не найти… Тихо чеканя

слова, она прочла вслух стихотворение, которое совсем недавно пришло ей по почте. Она удивилась, увидав почерк Николая. А на вложенном в конверт листе были стихи, так точно отражавшие бродившие сейчас в ней темные предчувствия.

«…Мы с тобой раньше часто говорили об этом — о шестом чувстве… Все бродило, бродило во мне, как вино в бочке, и вдруг — написалось».

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

«Эх, Николушка, буйная головушка… — Анна вложила листок в конверт и сунула его в томик Пушкина. — Быть тебе в истории поэзии в первых рядах. Живи только, покоритель мустангов и красных комиссарш…»

Ахматова словно вынырнула из топи: она свободна, и она —

писатель! В июне издательство «Петрополис» устраивало вечер встречи с авторами. За последние годы это был первый светлый день в жизни Анны Андреевны — день торжества. Как казалось — начало нового этапа. Она ощущала себя легкой, грациозной и почти нарядной в синем платье, выменянном Валей на толкучке за колечко. Стоя в кружке поздравлявших ее, Анна наткнулась взглядом на прислонившегося к колонне Гумилева. Выражение его лица — мечтательно-настороженное и азартное одновременно, как у державшего прицел охотника, — было знакомо ей. Увидав бывшую жену, радостную, торжествующую, Николай внезапно ощутил внутри пульсацию новых стихов. И замер, боясь расплескать. Только бы не спугнуть, дать им простор произрасти — сила, кажется, рвется недюжинная.

Он слегка удивился, узнав в окрыленной надеждами женщине Анну. Попытался восстановить в душе отголосок прежних чувств, расковырять рану, хоть и затянувшуюся давно, но начинавшую ныть при любом соприкосновении с ней. И вот — ничего! «Все сметено могучим ураганом». Только бьются в висках скорбные строки. О, это, похоже, погребальный плач по его чувствам к Анне — долгим, мучительным попыткам обрести цельность вдвоем.

В ночь после этой встречи он написал:

Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознанье
Застлавший, как туман кровавый очи
Схватившемуся в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шорохе травы.

Прощание с умершей страстью стольких лет оказалось символическим: это были последние стихи в жизни Николая Степановича. Как и последней была мимолетная встреча с Анной, ее ясновидением, как прощальная, впрочем, не отмеченная.

Его арестовали в ночь с 3 на 4 августа. В день ареста Гумилев, знавший, что за ним следят, провел последний вечер литературного кружка, окруженный влюбленной в него молодежью. Он был оживлен, в прекрасном настроении, засиделся, возвращался домой около двух часов ночи. Девушки и молодые люди провожали его. Около дома его ждал автомобиль. На квартире была засада.

В тюрьму Гумилев взял с собою Евангелие и Гомера. Не думал, что жить ему остается несколько дней, но и не

сомневался, что смерть не упустит столь близкой встречи. До сих пор нет единой версии причастности Гумилева к заговору. Существуют подозрения, что Таганцевское дело было фальсифицировано ЧК с целью убрать лидера петроградской молодежи, каковым к этому времени стал Гумилев. Об этом говорит и отсутствие следствия, и поспешность расстрела без предъявления вразумительных обвинений.

В последние годы на родине Гумилев много работал: редактировал рукописи в издательстве Горького «Всемирная литература», читал в Институте искусств молодым поэтам теорию и практику стихосложения. И главное — активно писал и выступал на собраниях творческой молодежи. Успешная деятельность в многочисленных поэтических школах и студиях (современники замечали, что те, кто побывал на гумилевских семинарах, навсегда погибли для «пролетарского искусства»), блестящие выступления на поэтических вечерах, наконец, завоеванный им пост главы петроградских поэтов, когда он при баллотировке обошел А. Блока, сделали популярность Гумилева огромной… История с выборами «главы поэтов» была довольно знаменательной. Супруга Блока Л. Менделеева с театральным пафосом прочла поэму «Двенадцать» на общем собрании поэтического цеха. Свист и гиканье заглушили последние кощунственные строки. Блок, должный выступать следующим, с трясущейся губой повторял: «Я не пойду, я не пойду!» Гумилев, насмешливо глядя на дрожащего классика, сказал: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не писали». И вышел вместо него на эстраду. Он спокойно смотрел на бушующий зал «своими серо-голубыми глазами. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье». И когда зал утих, стал читать свои стихи. Чтение сопровождалось бурными аплодисментами. Затем умиротворенный зал согласился выслушать и Александра Блока. Но ставка Блока на лидера петроградских поэтов была проиграна.

Очевидно, советским руководителям явно мешал кумир молодежи, не желавший принять советскую идеологию, да еще открыто объявлявший себя монархистом. Операция ликвидации была подготовлена заказной статьей Блока «Без божества, без вдохновенья», направленной против акмеистов и, главное, Гумилева. За Николаем Степановичем была установлена открытая слежка, друзья советовали немедленно уехать, но «конквистадор» шел навстречу опасности. О мужественном поведении Гумилева в ЧК ходят легенды. Он был спокоен при аресте и при допросах — так же спокоен, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, призывая к верности своему Государю. Перед расстрелом Гумилев

написал на стене камеры: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь».

Сергей Бобров, поэт-футурист, кокаинист и большевик, рассказывал о последних минутах жизни Гумилева: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление… Мало кто так умирает…»

Мать Гумилева так и не поверила, что ее сына расстреляли. До последних дней своей жизни она верила, что он ускользнул из рук чекистов и уехал на Мадагаскар.

10 августа на Смоленском кладбище хоронили Блока. Огромная толпа, много знакомых лиц. Жаркий день с короткими грибными дождиками. В природе радость жизни. Вспомнив тот ноябрьский день визита к Блоку, Анна поняла, что тогда уже похоронила его в своем сердце. Потому такими странными казались последующие случайные столкновения с ним на вокзале или на станции — Блок словно выныривал из небытия, на мгновение скользнув в ее орбите, и пропадал. Теперь уж пропал навсегда…

— Анна Андреевна, что-то слышно от Николая Степановича? — шепнул ей в щеку кто-то из общих знакомых.

— Что слышно? — не поняла Анна.

— Так вы… Вы же, очевидно, не в курсе. Отойдемте в сторонку.

У ограды чужого надгробия, изображавшего скорбящего над мраморной плитой ангела, Анна узнала, что Гумилев арестован.

— Это какая-то ошибка! — горячо заявила она. — Он ни в чем плохом не может быть замешан! — Доброжелатель лишь криво улыбнулся и исчез в толпе.

Анна, не интересовавшаяся баталиями на политической арене, напоминавшими какую-то тараканью возню, не могла понять, что произошло. Конечно же — ошибка! Герой войны, поэт, человек кристальной честности… В ближайшие дни она пыталась выяснить, в чем дело, куда идти жаловаться. На нее смотрели как на ребенка, предлагали выпить воды и успокоиться, а потом приглушенным голосом просили:

— Не надо никуда ходить, дорогая Анна Андреевна! Не надо вам сейчас вообще мелькать. Сидите тихо в своей библиотеке и поменьше рассказывайте о бывшем муже. Время такое.

Утром 1 сентября «Правда» сообщила о раскрытом силами ВЧК контрреволюционном заговоре. Были расстреляны участники петроградской боевой организации. В списке уничтоженных врагов народа под тридцатым номером значился Н. С. Гумилев.

Его расстреляли еще 24 или 25 августа, где-то в районе станции Бернгардовка под Петроградом, в долине реки Лубья. И никакой могилы — общая братская яма…

Анна не могла смириться с произошедшим. Африканские людоеды, поле боя — все что угодно, но так… Она поняла вдруг, что Гумилев — главный человек в ее жизни, что ворох обид, взаимонепониманий, раздражения, навалившийся за годы совместного бытия, — нелепость! Нелепость, которую, увы, уже нельзя исправить. Только написать:

Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза…

Тот день, когда на афишной тумбе она прочла в расклеенной газете о расстреле Гумилева, стал переломным в судьбе Ахматовой. Ее жизнь повернулась в другое русло, и она сама стала иной. Горести любовных разлук и предательств, выступавшие как высшая мера мучений души в ее прежних стихах, теперь понизились в ранге. Анна узнала, что такое — расстаться навек. Это и есть высшая мера. Расстаться, не успев ничего толком объяснить, понять. Только теперь стало ясно, что значил для нее этот такой неудобный, такой невозможный для семейного счастья муж. Рядом был огромный человек, огромный поэт, так, собственно, при жизни и не узнавший славы. Да и любви, о которой настойчиво и слишком красиво грезил…

Николая Степановича убили в самом расцвете его таланта; каждый новый сборник его стихов был новой гранью его творчества, новой вершиной, им завоеванной, и бог весть каких высот достигла бы русская поэзия, если бы Гумилева не вырвала из жизни Петроградская ЧК.

Александр Блок тяжело умирал от застарелой болезни сердца, незадолго до смерти его воспаленным мозгом овладела навязчивая мысль: надо уничтожить все экземпляры поэмы «Двенадцать», из-за которой многие русские люди перестали подавать ему руку. Ему чудилось, что он уже уничтожил все экземпляры, но остался еще один, у Брюсова, и в предсмертном бреду Блок повторял: «Я заставлю его отдать! Я убью его». Нам неизвестно, сколь мучительна была насильственная смерть Н. Гумилева, но зато мы знаем, что умер он так же мужественно, как и жил: никого не предав, не оговорив никого из друзей и знакомых, не попытавшись спасти свою жизнь ценой подлости, измены, позора.

Гибель Гумилева потрясла русское общество, уже привыкшее с февраля 1917 года к бессудным расстрелам, убийствам на

улицах, на дому и в больницах, а с 1918 года — к казням заложников, к так называемому «красному террору». После долгих лет забвения Николая Гумилева, сопровождавшихся посмертно лживыми обвинениями поэта и искажением исторической правды, мы еще не вполне ясно осознаем, что для многих современников его смерть была равнозначна смерти Пушкина. Известие об аресте Гумилева вызвало в литературных кругах шок. Несмотря на всю рискованность такой акции, группа литераторов обратилась к советскому правительству с письмом в защиту Николая Гумилева. Ходили легенды, что якобы Максим Горький лично ездил в Москву к Ленину просить за него. Даже после расстрела многие не могли поверить, что советская власть решилась уничтожить поэта.

Интеллектуальная элита Петрограда не оставила без внимания казнь Гумилева. В Казанском соборе была заказана панихида. Фамилия его, конечно, не называлась, но всем были понятны слова священника: «Помяни душу убиенного раба твоего, Николая, о коем проходит сея служба». Несколькими днями позднее была проведена еще одна панихида — в весьма популярной в народе Спасской часовне Гуслицкого монастыря, которая находилась на Невском проспекте перед портиком Перинной линии (ныне не существующей). Часовня была битком набита людьми, пришедшими отдать дань великому русскому поэту. В толпе неузнанной осталась худая, изможденная женщина в черном платке, надвинутом чуть не до бровей. Бледные ее губы были плотно сжаты, а глаза сухи.

Красный комиссар Лариса Рейснер, женщина поистине легендарной и героической судьбы, послужившая прототипом знаменитого Комиссара в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, с конца лета 1920 года — жена командующего Балтфлотом Федора Раскольникова, была одной из ярчайших фигур в столице. В 1917 году, после разрыва с Гумилевым, Лариса примкнула к революции, к самым верхам власти. В это время в голодном Петрограде, в трудный момент для семьи Гумилевых, она хотела взять на воспитание Леву — сама пришла к Анне, рассказала ей все о своих отношениях с Николаем Степановичем и просила разрешить ей помочь. Анна доброжелательно приняла гостью, но от помощи отказалась. Известие о смерти Гумилева оказалось для Рейснер страшным ударом…

Анна Андреевна получила от нее письмо лишь осенью 1921 года: «…Злосчастная судьба! Если бы я была в Петрограде, то наверняка смогла бы спасти Николая Степановича! В эту жаркую дыру (мой муж с весны назначен послом в Афганистан) скорбное известие пришло лишь через несколько недель. Никогда не прощу

себе, что ничего не смогла сделать для его спасения…» Позже мать Ларисы переслала Ахматовой письмо дочери: «Если бы перед смертью его видела — все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть (…) Девочку Гумилева — возьмите. Это сделать надо — я помогу (…) Если бы только маленькая была на него похожа». Речь шла о дочери Гумилева с Энгельгарт, которую та собиралась отдать в приют.

Ахматова положила в старую сумочку оба послания — она отнесет их на кладбище, когда найдется могила. Но могила так и не нашлась. К скорбным «документам» Анна добавила и свой — записанное по памяти стихотворение Николая «Заблудившийся трамвай», появившееся на свет все в том же роковом 1921 году:

В красной рубахе, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне.
Она лежала вместе с другими
Там, в ящике скользком, на самом дне.
. . . . . .
Смерть в дому моем,
И в дому твоем, —
Ничего, что смерть,
Если мы вдвоем.

А в подвал памяти занесла еще одну свою клятву. Обдирая в кровь руки, ржавым гвоздем выскребла на кирпичной стене на веки вечные слова:

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, ждет.

Часть пятая

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной,
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно…
Ни роз, ни архангельских сил.

Анна Ахматова

Глава 1
«Соблазна не было
Соблазн в тиши живет…» А.А.

Разузнать о гибели Николая удалось немного — расстрелян без суда и следствия, захоронен в общей могиле. Неизвестно где — много их повсюду в лесочках да оврагах.

Без могилы, без креста? По христианскому канону не отпет? Анна в отчаянии билась о закрытую дверь, пытаясь выяснить место захоронения Гумилева, но никаких справок ей больше не давали. Лишь всплывали в памяти его юношеские романтические видения, испугавшие многих предчувствием ранней смерти:

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
К усыпляющей, мертвой земле.

Пусть высоко на розовой влаге
Вечереющих горных озер
Молодые и строгие маги
Кипарисовый сложат костер…

Накликал, говорили. А может, там ему и в самом деле лучше — «высоко на розовой влаге вечереющих горных озер»? Лучше, чем в «усыпляющей, мертвой земле» сырого российского оврага? Николай верил в свободу души выбирать пристанище. Да сбудется же это по его вере.

А вот разорванная линия жизни и у него, и у Амедео оказалась трагическим знаком — ушли молодыми, талантливыми, с разницей в год. Не верь после этого хиромантии. Да и в сны надо вглядываться, не отбрасывая, как ночной бред. В ночь расстрела Гумилева Анна пережила ужас — ее закапывали живьем, и, прорываясь сквозь тяжелые комья земли, она звала Николая. Ведь не знала — никто не знал, что засыпают его еще теплый труп в безымянном овражке. Впрочем, ей часто снились кошмары с участием близких — живых или умерших. Подумать было о чем. Или придумать вокруг смутных видений целую историю.

Шилей в сны и предсказания не верил, но привидений опасался. Прочел древний ассирийский трактат о переселении

душ и пытался Анну застращать. А она и так не поймешь на каком свете — чуть жива от слабости. Пронесся даже слух, что Ахматова покончила с собой. В каких-то городах устраивали вечера ее памяти…

Но Анна старалась жить. Действительность, плодящая зло, казалась ей устрашающе нелепой, но тем сильнее росло желание вступить с ней в борьбу. Как? Конечно же, данной ей взрывоопасной силой — силой слова. Анна Андреевна носила в себе зачатки еще только зреющих, только набухающих мощью стихов. Изможденная, бездомная, она все же цеплялась за жизнь, ощущая ответственность перед этими новыми жизнями. Стойкости духа, вдохновляемой ее могучей Музой, Ахматовой было не занимать.

Выживать физически ей помогали Ольга Судейкина, бывшая жена художника Сергея Судейкина, одного из основателей «Бродячей собаки», и Артур Лурье, неунывающий музыкальный гений. Оптимистичная пара, несмотря ни на что, старалась радоваться жизни и вытягивать Анну из мрака уныния. Но и у них не хватило терпения переждать «временные бедствия». Супруги всерьез задумались об отъезде из России. Лурье развил бешеную деятельность, добиваясь разрешения на гастрольную поездку по Европе, из которой возвращаться он, естественно, не собирался. В дальнейшем Артур планировал взять к себе Ольгу. И оба уговаривали уехать с ними Анну.

— Тебе хоть сейчас понятно, что здесь происходит? — который раз бралась агитировать Ольга, включив радио — защиту от соседских ушей. — Они же всех бывших, всех порядочных, кто не убивал и не грабил с ними, истреблять будут! Ты же не из их шайки — ты подлежишь уничтожению!

— Я же не пишу антисоветских агиток. — Анна крутила в длинных пальцах саксонскую статуэтку танцовщицы в костюме Коломбины. На полированном, карельской березы столе уже выстроилась веселая группа отобранных для продажи безделушек. — Смотри, вылитая ты на карнавале в «Собаке», когда тринадцатый год встречали… Как ты отплясывала с Судейкиным! Вроде сто лет прошло. Гумилев был в черной маске домино и злючий, бедняга.

— Еще бы! Граф Зубов вокруг тебя тогда такие пассы выписывал! Розами завалил! Помню, когда корзину притащили, в бумагу закутанную, все было снегом заметено. Разворачивали долго — бумага тонкая, слоями шуршит. И вдруг — аромат и красота неземная… Ты еще один цветок в волосы заткнула…

— Ага… Я и забыла… Много тогда шампанского утекло. Но… но ведь Блок «Собакой» брезговал. Откуда про «розан» вспомнил?

Ну, тогда в испанском «мадригале», что мне написал?

— Да Чулков сказал — они ж друзья близкие были, жену и то делили! Чулков — сплетник. Блок — сволочь. После всех его революционных «подвигов».

— Больной он был… Совсем надломленный. Только с Чулковым и общался. Вся эта история мне хорошо известна… — Анна вспомнила камин в полутемной комнате Чулкова и его чтение романа… Сладкий глинтвейн на теплых губах, ласкающие руки… Неужели ничего больше не будет? Ни молодости, ни шелковых чулок, ни томных поцелуев?

Ольга вздохнула:

— Прямо поверить не могу: ни «Собаки» нашей, ни «Башни» ивановской, ни роз, ни шампанского… Ни кутерьмы всей этой бесшабашной, талантливой, хмельной…

— Ни графов, ни дворцов… Иных уж нет, а те далече… Только Ахматову с места не сдвинешь. Приросла к родной земле, собака старая.

— Забываешь, милая, что ты — вдова расстрелянного заговорщика! А значит — по лезвию бритвы ходишь. Тебе не страшно оставаться с ними, с этими упырями?

— Страшно. Ночью только и прислушиваюсь: то шаги во дворе, то на лестнице двери скрипнут. И машины тихонько так подъезжают, крадучись. «Черные воронки». Кажется даже, что кандалы звенят… — Анна вздохнула. Оставаться патриоткой в бандитском государстве было смертельно опасно. — А ты подумай, Оль, кому я нужна там? Я ж даже французский кое-как знаю. И публика моя — здесь!

— Господи, Париж — уже почти русский город. Брат Лурье пишет, что в кафе и на бульварах — сплошная русская речь, а в ресторанах, как на Дерибасовской, — одесская мова! Кроме того, там чрезвычайно ценят русское искусство. Тем более сейчас, когда здесь его большевики истребляют!

— Я слышала, что Цветаева в Париже бедствует.

— Так она ж только из Чехии прибыла, и вообще человек трудный. Гордячка, с людьми плохо ладит, и стихи ее на любителя… — Ольга принялась отбирать из резного шкафчика с гранеными хрустальными дверцами антикварные чашечки и рюмки — она постепенно распродавала оставшийся еще от Судейкина антиквариат. — Там по крайней мере никого не расстреливают, а известных поэтов печатают. Тебе есть о чем сейчас писать, чем взбаламутить эмигрантское болото.

— Ох есть… Надеюсь, моя публика меня и там не забыла. — Анна символически подняла старательно протертый бокал венецианского стекла. — За Париж! Устроитесь, тогда и меня

зовите.

— Эй, погоди! Пустыми плохая примета чокаться. — Ольга достала бутылку вина. — Из Артурова загашника. Представляешь — еще массандровское! «Изабелла»!

Анна долго смотрела сквозь лиловатую толщу вина, пытаясь разглядеть тот жалкий номер в приморской гостинице и рыжего человека, посланного ей небесами. Было или приснилось? Да за что в этой жизни можно твердо поручиться? Двоится, троится, ломается реальность, как в граненом стекле. Или разбитом… Одни осколки.

В конце сентября Лурье наконец получил разрешение на выезд. Анна перебралась к Ольге в хорошо обставленную, не разграбленную еще квартиру Судейкина. Желание уехать, бежать из ада, уничтожившего Николая, все настойчивей посещало ее. Все складывалось — даже огромные деньги, необходимые для оплаты визы и билета, Ольга выделила из заграничного «довольствия» — собранных на первоначальное устройство за границей средств.

— Ничего! Артурик на рояле отбарабанит, да и я плясать пока не устала! Не пропадем!

— А я на что? Билетами в кассе торговать?

— Нет уж, дорогая, на тебя у нас главная надежда. Литературные вечера! Мы с Артурчиком весь бомонд поднимем. А народ подтянется. У них там ведь знаешь красавиц вообще нет. А тут сама из себя — сплошной Лувр, да еще и такая поэзия!

Возможно, Ахматова на этот раз и стала бы эмигранткой, и жизнь ее развернулась бы совсем в другое русло. Ее и Левушкина. Да и многих других людей. Но судьба распорядилась иначе.

В день отъезда Артур устроил отвальную в ресторане гостиницы «Европейская». Щедро, шумно, как он любил, вытаскивая всех, кто еще прятался в щелях старой жизни.

— Все наши «собачники» будут, естественно, кто не успел отсюда свалить. Тебе надо с людьми встретиться! — Ольга непременно хотела заманить на банкет Анну.

— Я не пойду. Не уговаривай — категорически! — Анна сидела на банкетке перед трельяжем в малиново-розовой спальне.

— Может, носки вязать начнешь? Что так-то сидеть? — Ольга выбрасывала на огромную кровать карельской березы нарядные, духами пахнущие платья. — Ой, боюсь, в последний загул идем. Квартирку эту покупатель уже ждет. Вместе с мебелишкой.

— Грустно. — Анна ощущала, как уходит в прошлое этот островок старой жизни. Словно льдина отломилась и поплыла в черной реке. А на ней — она одна.

— Грусть заливают весельем! Шевелись, Ахматова!

— Оль, никого видеть не хочется. В прошлое шагнуть страшно.

— Куда от него денешься, от прошлого? Оно всегда за спиной. А дальше-то жить надо.

— Не поверишь — самой показаться страшно. Кто меня узнает, такую завалящую чухню? Ты на ногти эти глянь!

— Приведи в порядок, вон — лаков полно. Это ж у меня сейчас такая лафа — хоть салон открывай. У других и ножниц-то не осталось. Только грызть.

— Надеть совершенно нечего.

— А я для чего? — Ольга достала из зеркального шифоньера платье. — Смотри — это же роскошно! Конечно, не новое, естественно, перекупленное, но ведь — натуральный Париж! У Женьки Синявской за копейки выдрала — она теперь в него все равно не влезет. На картошке раздуло.

— А на мне повиснет. — Анна потрогала шелковистый трикотаж, вдохнула аромат духов, несущих память о каких-то давних банкетах, флиртах, сердечном волнении…

— Что за проблемы! Ты ж меня знаешь! Подгоню в лучшем виде!

Анна примерила наряд, и ловкая Ольга тут же превратила видавшее виды платье в современный вечерний туалет. Платье сидело на отощавшей Ахматовой как на профессиональной манекенщице.

— Вот так! — Ольга надела на шею подруги бусы из искусственного жемчуга. — Причесон а ля «комсомольская богиня», малость макияжа… Капля «Коти». И вспомни свои былые примадоннские замашки. Пора ликвидировать разруху в собственном теле. А то выедем мы с тобой в Европу и будем людей пугать.

Так Анна оказалась среди шумного пира. Пира во время чумы, «у бездны мрачной на краю». В общем хмельном веселье она обратила внимание на представительного интеллигентного мужчину — высокий, лицо киноактера, задумчивый, мягкий взгляд ученого. К тому ж — без дамы! Откуда еще такие берутся?! Он сидел визави и явно не решался заговорить с ней. При такой внешности — и не ловелас!

Анна припомнила, что мельком видела незнакомца в «Аполлоне» и вроде даже была представлена… Но теперь разве вспомнить?

— Будьте добры подвинуть ко мне вазу с фруктами, мне не дотянуться. Благодарю. — Оторвав виноградину, Анна

насмешливо взглянула на смутившегося соседа: — Сомневаетесь, является ли совместный ужин поводом для знакомства?

— Простите, мне показалось, вы задумались, и я уже хотел, хотел представиться… но не решался… — Он поднялся, подошел к Анне: — Позвольте представиться, Николай Николаевич Пунин.

— Ни-ко-лай… — раздельно произнесла Анна, пробуя на вкус это ставшее священным имя. — Анна Андреевна Ахматова. — Она подала руку для поцелуя. Он склонился, уронив на широкий лоб прядь каштановых волос…

Одинокий красавец оказался работником Русского музея, искусствоведом. Анна по привычке пустила в ход привораживающие флюиды и с неожиданным удовлетворением заметила, что собеседник поддался ее чарам.

После банкета Лурье отвезли на вокзал, с песнями и взрывами шампанского усадили в бархатом обитый международный вагон. Прощаясь, он шутливо препоручил Пунину присматривать за его женой и Анной, остававшимися в большом нарядном доме.

— Вот мы наконец на свободе! Две одинокие красотки в роскошной квартире. — Ольга с визгом восторга сбросила туфли. — Начинаем грустить по полной!

— Не ехидничай. Мне лично грустить расхотелось! Этот музейный работник совсем не плох. — Анна рухнула поперек кровати в гору пестрых шмоток. — Оказалось, что мы жили рядом в Царском, учились бок о бок и ни разу не встретились!.. — Она метнулась к зеркалу, опустилась на пуфик, вглядываясь в свое отражение. — Оль, у меня правда такое хмурое лицо? И желтое какое-то.

— Выглядела ты сегодня очень даже ничего… Если честно — бывало и лучше. Но не караул.

— Вот я и пытаюсь понять, на что еще может рассчитывать эта худая, носатая, мрачная дама. — Анна подкрасила губы, томно улыбнулась своему отражению. — А музейный работник совсем, совсем не плох.

— Плох! — отрезала Ольга, снимая платье. — Ой, бретельки надавили жутко…

— И чем же плох? Гуляка и выпивоха? Интеллектуальный червь?

— Ах, если б только. Слушай внимательно. — Накинув японские кимоно (привезенные из прежних гастрольных поездок Лурье), подруги переместились на кухню к чашкам горячего чая. — Представляешь, этот мужик — огромный, сильный, с такой брутальной физиономией… — Ольга сделала интригующую паузу.

— Неужели поклонник мужского пола? Вот бы не сказала… Я их за версту чую… — изумилась Анна.

— Нет. Хуже — застенчив, как девочка, и наивен, как ребенок. Женат на одной из дочек генерала Аренса — самой серьезной и скромной, к которой не побоялся посвататься. Год назад она родила ему девочку. Николая Николаевича назначили комиссаром Эрмитажа, и он каким-то образом ухитрился заполучить четырехкомнатную квартиру в жилой пристройке Фонтанного дворца.

— Фонтанного дворца! Удивительно! Мы ж там с Шилейко жили! Но Шилея выгнали.

— А Пунина как ценного работника — нет!

После революции последний владелец усадьбы граф Сергей Шереметев передал ее вместе с коллекцией предметов искусства народу. Фонтанный дворец стал филиалом Русского музея. Флигели, расположенные в парке, в музейную собственность не входили, и Пунин как комиссар Эрмитажа получил квартиру на третьем этаже правого флигеля.

— Так он вовсе не растяпа! И почему ж ты его забраковала? Думаешь, мне уже не по зубам? — Анна показала крепкий оскал.

— Такие не разводятся, милая моя. И амуры под носом жены заводят редко. Совестью мучаются, вены режут. Нужен тебе такой?

— Совестлив — ах как трогательно! Так и я всегда грехи свои тяжело несла. Каялась. И что это меняло?

— Грешить и каяться — девиз «ночных бабочек».

— А также самых знаменитых поэтов! Надеюсь, тебе не надо объяснять разницу?

— Не обижайся, у меня ж язык без костей.

— Они за себя каются. А я за всех. И за все. За них, между прочим, тоже. — Анна проверила на растопыренных пальцах шелковые чулки — не порвала, слава богу! Хорошая примета. Если чулок после первого же свидания в пух — больше можно и не встречаться.

— Ну, все-то ты знаешь, ведьма киевская. — Ольга увернулась от брошенного в нее тапка. — Ладно, если тебе поднимет настроение попытка соблазнить этого тихоню — вперед! Только потом мне в жилетку не плачься!

Глава 2
«Непоправимые слова Я слушала в тот вечер звездный». А.А.

Анна ждала, что верный поручению Артура присматривать за оставленными женщинами Пунин вот-вот появится. Но он не появлялся. Пришлось сделать первый ход самой. Заглянув как-то в Дом искусств, где Пунин бывал на заседании комиссии, она передала ему записку с приглашением на полутайное собрание поэтов, устраиваемое в память о Гумилеве. Лишь позже поняла, что повод и место для флирта неудачные, но именно там ей удалось незаметно сунуть в карман Пунина записку: «Милый Николай Николаевич, если сегодня вечером Вы свободны, то с Вашей стороны будет бесконечно мило посетить нас».

«Нас» звучало безобидно, хотя Анне было известно: в это день Ольга вернется домой поздно.

Пунин появился с пунктуальной точностью, с коробкой конфет и цветами. Вечер вдвоем удался настолько, что они уже не могли жить друг без друга. Долгие прогулки в парках и по улицам Петрограда, интимные свидания в квартире Судейкиной — общительная Ольга часто уходила на целый день. Но от приглашения зайти к Пунину Анна решительно отказалась.

Впервые она попала в квартиру Пунина осенью 1922 года. Ее поразило фантастическое совпадение — именно здесь, но в левом флигеле она жила с Шилейко! Разве не знак? Разве мало в Питере других домов? И опять — Николай! Судьба? Кто бы спорил.

— Сегодня я холостякую — жена с дежурства вернется утром, дочку взяла тетя. Пойдемте в мой кабинет, а я чаю принесу? У меня уютно. — Радушно распахивал Николай Николаевич двери перед гостьей. Она огляделась и с облегчением вздохнула — почуяла свой угол.

Шкафы с книгами до потолка. Чайник с чашками на подносе, низенький столик у дивана. Пепельница для Анны. Устроившись в углу дивана и привычно поджав ноги, она ловила блаженные мгновения тепла, уюта, влюбленности, которой окутывал ее сидевший рядом уже бесконечно дорогой ей мужчина.

Сразу же прояснилось многое. Оказывается, Пунин был арестован по Таганцевскому делу одновременно с Гумилевым. Он был последним, кто видел Николая Степановича живым, столкнувшись с ним при разводке в тюремных коридорах.

— Но вы остались живы!

— Они довольно быстро выяснили, что арестовали меня по

ошибке.

— Разве такое бывает, чтобы они выпускали?

— Вмешалась моя жена Анна Евгеньевна — она была уже на девятом месяце беременности. Поехала в Москву и умолила Луначарского, с которым я одно время работал, поручиться за меня. Анатолий Васильевич походатайствовал.

Анна долго молчала:

— За Николая Степановича тоже просили. Но не я. Я даже не знала, что его арестовали, ведь мы уже состояли в разводе. У него были другие покровительницы.

— Боюсь, никто не помог бы в случае Гумилева. Его признали руководителем Таганцевского дела по показанию свидетелей. Потому и приговор привели в исполнение с такой поспешностью.

— Ничего не понимаю в заговорах. Только… — она строго посмотрела на Пунина, — только уверена, что «красные» этого достойны. А мой бывший муж — герой!

И очень уж молодежь за ним потянулась. А он приспосабливаться никак не хотел — везде за монархизм ратовал. Оставь они его на свободе — недолго бы протянул, затеял бы новый заговор. Николай — олицетворенное чувство справедливости. Это понимала молодежь, сохранившая совесть и святыни православные. Шла за ним. — Анна горячо защищала погибшего, словно только теперь открыв, каким отчаянным правдоборцем и смельчаком был Гумилев.

— Неразумно отчаянный и доверчивый человек. Уверен, его предали.

— Николай Степанович всегда был наивен как дитя, особенно если речь шла об участии в «великом деле борьбы за справедливость»!.. И все же удивительно, что последним, кто видел Николая, были вы… Как будто он препоручил меня вашей заботе. Ведь я же вещунья — во всем вижу знаки и предсказания. Вы еще убедитесь, как редко я ошибаюсь.

— Удивительная женщина! Чтобы понять это, достаточно ваших стихов. А уж личное знакомство…

— Хотите, угадаю, о чем вы думаете?

— Это очень трудно.

Анна засмеялась:

— Ваши мысли вовсе не такая уж страшная тайна. Не надо смущаться, я думаю о том же: нам очень хорошо вместе!

Пунин смотрел на Анну с мольбой:

— Поверьте, я сделаю ради вас все, что в моих силах.

— Спасибо, Николай. Не обращайте внимания на мой сумрачный вид. Моя печаль всегда со мной. Со мной и мое чувство к вам, подаренное свыше. Вас ко мне ангел прислал. —

Она стала читать, слегка раскачиваясь и как бы напевая:

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней.
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

— Бесовские и алые зори, солнце «как вошедший в столицу мятежник…» — все хочется немедля впитать в себя и запомнить. — Пунин благоговейно сжал ее руки. — Ничего более возвышенного и нежного о встрече двоих я никогда не слышал и не читал.

— Мандельштам говорил, что мои стихи можно извлечь из него только хирургическим путем. Он невероятно талантлив. Я непременно познакомлю вас.

— Анна, Анечка… — В синих глазах блеснули слезы. — Боже, как же мне повезло встретить вас!

Восторженное бормотание перешло в пылкие поцелуи. Размеренно и солидно ходил латунный маятник напольных часов. Иллюзия собственного дома пьянила Анну…

Увы — островок ложного благополучия не мог продержаться долго: они таились, боясь попасться на глаза жене, знакомым, соседям, тем более — родным Пунина.

— Так больше нельзя! — Николай Николаевич кутал своим шарфом продрогшую Анну. — Мы полдня скитаемся по переулкам и подворотням. Мрачно, холодно, ветер, впереди зима. Я еще простужу вас! Все! Решено: мы идем ко мне пить чай!

— Но ведь ваша жена дома! Что она подумает? — Анна насторожилась: уж не означает ли решимость Николая легализовать отношения с ней, разрубив узел мучительного треугольника? — Боюсь смутить вашу супругу.

— Аннушка решит, что я привел в дом ее любимую поэтессу! И будет очень рада.

— Рада! Прекрасный выход! — иронично фыркнула Анна. — Я вовсе не сторонник тройных браков!

— Избави бог! — Пунин перекрестился. — Мы все же не мусульмане какие-то.

— Но и христианам «возжелать жену ближнего» не рекомендуется.

— Аннушка, счастье мое!.. — Пунин бережно и крепко обнял дрожащую возлюбленную. — Устроится все! Уж не знаю как — но устроится непременно!

В самом деле, милая жена Пунина любезно приняла знаменитую Ахматову, поила чаем, говорила о поэзии. Из детской комнаты отец принес показать гостье полуторагодовалую дочку Иринку, тершую сонные глазки.

Визит удручил Анну: теплый дом, семья, о какой можно только мечтать. И все это взять и разрушить? Она поторопилась уйти. В парке, в укрытии продувной арки, горячо уговаривала провожавшего ее Николая Николаевича расстаться и забыть о ней. Притом была так трагически прекрасна на фоне почти облетевших деревьев и круговерти палой листвы, гонимой порывами ветра, что глаза Пунина наполнились слезами, руки, завладевшие руками Анны, дрожали.

— Умоляю вас, драгоценная моя, умоляю! Если вы уйдете, моя жизнь, моя научная карьера да и семья — все пойдет прахом! Поймите, без вас я совершенно не способен жить. Работать, дышать…

Анна дала себя уговорить. «Знакомая, впрочем, ситуация», — отметила про себя знаменитая разлучница.

Прогулки влюбленных возобновились, но теперь они чаще заходили к Пунину «на чай», особенно в те дни, когда его жена, врач, бывала на дежурствах. В кабинете Пунина царил пыльный уют ученого логова. Анне все здесь нравилось, лишь охватывало легкое содрогание, когда после их свиданий Пунин тщательно обшаривал весь дом, боясь оставить следы. Перетряхивал плед, аккуратно смывал в унитазе черные волосы Анны, внимательно проверял кухню и раковину. Она ждала его в сквере, представляя эти унизительные метания пылкого возлюбленного… «Не замечать… Я — Ахматова, — твердила она себе как заговор. — Странно ждать от жизни мужчину «ростом вровень», если даже с Гумилевым все наперекосяк вышло».

— Анна, вы задумались? — Он взял из ее пальцев папиросу со столбиком пепла, но пепел упал на паркет, и, встав на колени, Пунин старательно сдул его под диван. — Чай готов! С черничным вареньем! — Он с легким усилием выпрямился и наполнил чашки.

— Отлично. Мое любимое. — Анна вспомнила, как

ненавидела собирать чернику в Слепнево в комарином лесу, и не понимала — ради чего затеваются все эти муки? Ради баночки чернильного сладкого варева? Но об этом Пунину говорить, конечно, не стала, изобразила удовольствие, облизав ложечку.

— А ведь мы давно знакомы! — с сюрпризным выражением доложил Николай Николаевич. — Помните, в поезде, идущем в Царское, мы оказались соседями, разговорились…

— Припоминаю смутно. Когда это было?

— В четырнадцатом. Могу сказать точно, ведь я как ученый зануда веду дневник. Сейчас, сейчас найду! — Пунин порылся в ящике стола, достал тетрадь в коленкоровом переплете. — Вот нашел. Двадцать четвертое декабря. Зафиксирована встреча с протокольной подробностью! — Раскрыв страницу, он пробежал текст глазами и быстро захлопнул тетрадь. Испуганное лицо Николая Николаевича удивило Анну:

— Что там у вас? Секретные записки? Признания в любви? Покажите сейчас же!

— Нет, это пустяки, это не стоит даже читать. Сейчас возьму и сожгу! — Он торопливо схватил спички.

— Николай! Если вы сожжете записи, я буду думать черт знает что… Что вы английский шпион или грабите Государственный музей. Дайте сюда! — Она требовательно протянула руку.

Пунин побагровел:

— Но я тогда видел вас совсем иначе… Удивительно все переменилось, как в волшебном зеркале… Идиот, полный идиот! Как я мог написать такое?!

— Да, я «тогда моложе и лучше, кажется, была…», постарела на восемь лет, померкла под тяжестью жизненных испытаний. Нелегок груз. Но отдайте же немедля тетрадь! Зачем вы скрываете? Вы же не гимназист, чтобы стесняться сделанных в дневнике признаний.

Он отдал Анне дневник не без колебаний:

— Поклянитесь, что не обидитесь! Вы же знаете, каким божеством являетесь теперь для меня… Я был ослеплен…

— Не говорите глупостей! — Анна взяла тетрадь с надписью «1914». — О, это был победный год для меня. Вышли «Четки», в меня был влюблен Недоброво, хвост поклонников и обожателей сопровождал после каждого выступления. Меня рисовали, лепили… И конечно, бешенный успех в «Бродячей собаке»…

— Вы были усталой и почти дремали в поезде, идущем в Царское. Я сидел напротив… Вы рассказали много интересного про мир искусства…

Анна припоминала, как всю дорогу гипнотизировала видного

мужчину своими «фирменными» приемами — задумчивым, как бы отсутствующим, взглядом, томными движениями усталой знаменитости. Откидывала голову на спинку дивана, прикрывала глаза, нашептывала какие-то стихи… Он, кажется, совершенно обомлел. Молча смотрел на нее, ловя каждое слово… Да сколько было таких встреч, околдованных попутчиков, завороженных поклонников. Анна излучала магию очарования, устоять перед которой было дано не многим.

Она нашла нужную страницу в дневнике и стала читать: «Сегодня возвращался из Петрограда с А. Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротничком и манжетами, в черной бархатной шляпе — она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развиты скулы и особый нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым выражением или вопросом; ее руки тонки и изящны, но ее фигура — фигура истерички; говорят, в молодости она могла сгибаться так, что голова проходила между ног. Из-под шляпы выбивалась прядь черных волос, я ее слушал с восхищением, так как взволнованная, она выкрикивала свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна, она прошла большую поэтическую культуру, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, от того, что я ей не даю для этого достаточного повода…»

Анна читала, и каждое слово хищно вгрызалось в ее сердце. Заорать, швырнуть тетрадь в это красивое лицо «ценителя», наговорить гадостей про его шашни под боком милейшей жены, про его клятвы в любви и гаденький страх быть пойманным на месте преступления. Мелко и противно для такого сильного, красивого самца…

Переведя дух, успокоив биение сердца, Анна подняла глаза. Пунин сидел за письменным столом, обхватив руками поникшую голову.

Она секунду поколебалась, но подавила острое желание уязвить его и решила оставить разборки для другого случая. А сейчас, сейчас стоило свести все к шутке.

— Повинную голову и меч не сечет. Немедля сожгите эту гадость — и забудем о ней. — Она положила перед ним дневник. И поняла, что жги не жги она никогда не забудет прочитанного. — А вы, однако, злой, Пунин. С виду такой мягкий, пушистый, а как женщину критиковать — сплошной яд:

«истеричка», «кривляка»… Невероятно… Неужели кто-то мог так меня видеть?

— Анна! — Он упал перед ней на колени. — Вы должны забыть мою глупость, я сделаю все, чтобы вымарать из вашей памяти этот бред.

— Боюсь, вам придется непросто. Что ж, выходит, вы мой должник…

Жизнь Ахматовой в годы НЭПа при всех своих абсурдных безумствах приносила какие-то подарки.

Вышли одна за другой три книги: «Подорожник» и два издания «Anno Domini». Они не принесли заметных гонораров, но пролетарских критиков, вопящих, что Ахматова потонула в темах буржуазного адюльтера, несколько усмирили.

Анну защитила сама Александра Коллонтай, разъяснив всем, что «стихи Ахматовой ценны и актуальны, ибо повествуют о пробуждении в женщине некогда попранной гордости и человеческого достоинства». Лариса Рейснер — лидер нового времени, с упоением громившего останки старого мира, признавала, что «для нее поэзия Анны Ахматовой — дорогая страница ее собственной прежней жизни, прежних переживаний и волнений». «Она вылила в искусство, — писала Рейснер об Ахматовой, — все мои противоречия, которым столько лет не было исхода. Теперь они — мрамор, им дана жизнь вне меня, их гнет и соблазн перешел в пантеон. Как я ей благодарна…»

И все же было совершенно очевидно, что Анну Ахматову как представительницу старого мира новые власти только лишь терпят, и то потому, что ее поэзия не укладывается в антисоветскую схему. Более того, представители литературной критики Ленинграда с большой охотой обращались к ее творчеству, спасаясь тем самым от воспевания достоинств новых народных поэтов типа Демьяна Бедного. Именно они, ставшие в послевоенные годы ведущими фигурами советского литературоведения, заложили основу будущего пиетета к феномену «Анна Ахматова». Ее стихи переводили на английский и немецкий. В. В. Виноградов написал исследование, посвященное языку ее лирики. Борис Эйхенбаум занялся анализом поэтических приемов…

Все это стало возможно лишь потому, что творчество Ахматовой не расколола взрывом революционная волна. События Октябрьского переворота словно прошли мимо нее, не вызвав поэтических откликов, как можно было бы ожидать — антибольшевистских. Она слишком была погружена в личные проблемы и слишком брезговала событиями в красной России,

чтобы обременять ими свою Музу. В то время как разворачивалась правительственная кампания против Алексея Толстого, Бабеля, Зощенко, обвиняемых во «враждебности рабочему классу», Ахматову упрекали лишь в социальной индифферентности. В эти годы она вообще писала мало, объясняя это погруженностью в личную жизнь с Пуниным.

Почти год им удавалось скрывать свои отношения от жены Пунина, но в 1924 году Николай, не выдержав мучившей его лжи, письменно исповедовался жене: «…Трудно мне вам рассказать, до какой степени мне дорог и мил этот человек, ибо как ваши, так и многие суждения о ней совсем неверны; неповторимое и неслыханное обаяние ее в том, что все обычное — с ней обычно и необычно в самую неожиданную сторону; так что и так называемые «пороки» ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться; но с ней трудно и нужно иметь особые силы, чтобы сохранить отношения, а когда они есть, то они так высоки, как только могут быть высоки «произведения искусств»; я не буду спорить, моя дружба с ней может быть гибельна для меня, но не только я один предпочитаю эту гибель страху ее потерять или скуке ее не иметь».

Несчастный, инфантильный труженик науки, он и не заметил, сколько раз больно ранил и оскорбил своей «честностью» жену, мать своего ребенка. Говорить о неповторимом, «неслыханном обаянии» и «высоких» отношениях с любовницей он мог бы с кем угодно, но только не с той женщиной, которая преданно и нежно его любила. Потрясенная и униженная Анна Евгеньевна потребовала развода: Пунин добился желаемого.

— Аничка! Я свободен! Галя, — так в семье звали Анну Евгеньевну, — дает мне развод!

— Что, готова подписать документы?

— Не сейчас… Она так взволнована ситуацией, мое признание так неожиданно… Ей надо немного прийти в себя…

— Ну, это мы проходили. — Анна вздохнула. — Вы, надеюсь, просили у жены прощения за измену?

— От всего сердца просил! Галя добрая, славная женщина, и мы жили вполне благополучно… — Он растерялся: вот теперь хвалит Галю, Анна может обидеться… Трудно с этими женщинами.

— Так вот, поверьте мне — ваша милая супруга больше никогда не заговорит о разводе, — категорически заявила Анна. — Я фигура в вашей жизни проходная. Она — постоянная. И не станет рушить семью из-за каприза заболевшего от любви мужа. Галя ведь врач?

— Но ведь я не могу без вас! Клянусь, я уйду из жизни, если вы покинете меня!

В результате перед Анной встал выбор: либо утвердиться в статусе официальной любовницы, по сути — второй жены, либо решительно выйти из игры, пожертвовав своими чувствами к Пунину.

Если оценивать ситуацию с позиции обычной женщины, всеми силами держащейся за приглянувшегося мужчину, решение одно — биться до последнего, оттесняя соперницу. Но речь шла о женщине выдающихся качеств, наделенной, судя по ее стихам, феноменальной гордостью и чувством чести. Какие тут могут быть сомнения? Бежать сломя голову, жертвуя своими радостями, влюбленностью, удобствами. В подвал, на улицу, в заводское общежитие… Пунин грозит самоубийством? Банальная мелодрама, Анна угрозам любовника не верит… Но формально это причина, чтобы выбрать первый вариант — стать официальной любовницей известного всему городу человека. Не дожидаться же, в самом деле, самоубийства? Главным аргументом в решении Анны стал квартирный вопрос: уходить ей было некуда. Да и уходить сама она не умела, ее надо было увести за руку и куда-то пристроить — совершенно внебытовая королева слова…

Глава 3
«Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как с солнцем в теле». А.А.

Комната, в которую Анна с Ольгой переехали, продав роскошную квартиру Судейкина, оказалась казенной, принадлежавшей фарфоровому заводу. Анне пришлось ее освободить. Уехать в Бежецк к бывшей свекрови невозможно. Там жила вдова Николая Анна Энгельгардт с болезненной девочкой. Мать, проживавшая у тетки в Киеве, сама нуждалась в помощи. Шилейко, с которым Анна все еще состояла в законном браке, нашел работу в Москве, но уже почти потерянную жилплощадь в Мраморном дворце ему удалось придержать. Он стал присылать крошечные деньги, чтобы Анне хватило на оплату квартиры и на прокорм его огромного сенбернара. Оставалось лишь на папиросы, но и это жилище со дня на день она могла потерять. Анна пожалела о том, что решительно отказалась уехать с Ольгой.

— Не судьба, Олюшка. Завязла я с этим Пуниным… И потом — деньги-то огромные на визу вы мне по доброте душевной ссуживали. А каково мне такой долг нести? Здоровье у меня сама знаешь какое — возок не вытяну. Да и мать больную тут брошу — с ума сойдет. Не говоря уже о Левушке… Крепко я тут застряла. Никак не выбраться!

— Ах, да все же как-то вырываются! — возмущалась Ольга пассивностью подруги. — Потом своих перетаскивают. Ты пойми: Левке твоему тут не житье, отец — расстрелянный враг народа! Да по нем с пеленок тюрьма плачет.

— Ну ведь что-то должно перемениться! — Анна в сердцах раздавила в пепельнице окурок, словно врагов своих душила. — Не вечны же большевики эти смрадные.

Ольга рассмеялась:

— Словечко любимое вспомнила! Как занудит какой-нибудь юный гений в «Собаке» свои «символические откровения», ты отвернешься, только и бросишь с тоской: «Стишки-то смрадные!»

— А сейчас сколько их расплодилось: «За партию! За Ленина!» — смрад!

— Ладно, Анька, ты не бушуй. Я в твою звезду верю. Значит, твой козырь еще впереди. Тебе бы с квартирой подшустрить.

Зачем старыми поклонниками пренебрегать?

— Какими же?

— Чем тебе Михаил Михайлович Циммерман плох? Уж как тебя добивался! Заведующий режиссерским отделом Ленинградского академического театра оперы и балета — Мариинки, считай! Жених вполне респектабельный. Как запасной вариант вполне можно рассматривать.

Анна рассмотрела. В пору расцвета романа с Пуниным она часто отлучалась на свидания с Циммерманом, вызывая у Николая Николаевича острую ревность. Она всерьез думала о сближении с холостым Циммерманом, обладавшим жилплощадью и довольно заметным общественным положением. И если бы не вмешался случай — стала бы Ахматова супругой благоустроенного Михаила Михайловича. Но бедняга заболел острой чахоткой и был вынужден уехать в Крым, где вскоре умер, удостоившись теплых стихов Анны Андреевны.

В ноябре 1924 года Ахматовой удалось возобновить прописку в служебном корпусе Мраморного дворца — в сохранившихся чудом «апартаментах» Шилейко. Ситуация для Пунина сложилась вполне комфортная — стоило лишь перейти через сквер к другому флигелю, и он в объятиях любимой.

Но уже через месяц Анну посетил весьма импозантный юноша — выпускник Ленинградского университета, филолог Павел Николаевич Лукницкий. Этот милый молодой человек выбрал темой диплома творчество Николая Гумилева. А к кому же и обратиться за материалом, если не к его вдове?

Встреча оказалась счастливой — взаимная влюбленность сразила обоих. Анна не утруждалась скрывать свои чувства. Пунин совсем заболел от ревности. Он дрожал и заикался, пытаясь «выяснить отношения»:

— Анна, зачем вам этот молокосос? Вы только мучаете меня.

— Вы же искусствовед? А вопрос в духе слесаря. Кто я, вам хорошо известно. Разве вам как искусствоведу не понятно, что творцу требуется определенный накал чувств для созидания? Вы выбрали в подруги не скучную домохозяйку, а личность творческую. Гумилев, венчанный муж, и то даже во время медового месяца ревностью не изводил. Понимал: для меня главное — писать! А следовательно, нужны впечатления, приподнятость чувств…

— А как же я? Разве наших возвышенных отношений, моей безоглядной любви к вам недостаточно для впечатлений, для творчества? — Он почти плакал.

Анна спокойно курила, перелистывая какую-то книгу.

— Послушайте, мой дорогой! — Она захлопнула том. —

Только обыватель или революционный коммунист может утверждать, что мы хозяева нашей жизни. Нет, нет и нет! На все воля Божья. Я не звала Лукницкого. Он сам ко мне в дом явился, а значит — привели его пути Господни.

— Я, я — ваш путь! — колотил себя в грудь несчастный Пунин.

— Ах, милый, куда вы денетесь? Этот мальчик появился, озарил и исчез. А вы еще долго будете со мной. Я уже принесла в жертву вашей ревности Циммермана. Несчастный умер с горя, лишившись возможности видеть меня. Теперь вы требуете прогнать Лукницкого? А вы тиран, Пунин.

Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.

Я-то вольная. Все мне забава, —
Ночью Муза слетит утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать.

Обо мне и молиться не стоит
И, уйдя, оглянуться назад…
Черный ветер меня успокоит,
Веселит золотой листопад.

Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать.
Но, скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?

К кому обращено это самобичевательное самолюбование? К Лукницкому? К Пунину? Ко всем. Беспроигрышный вариант — тема уязвленной и даже «беснующейся» совести. Любовная лирика Ахматовой приобретает напряжение. Рамки традиционного любовного треугольника раздвигаются, показывая человеческую душу в ее страданиях и боли. В масштабах глобального бедствия, несоизмеримого с конкретной, банальной житейской ситуацией.

После долгих колебаний Анна, избегая ревнивых страданий Пунина, отказалась от встреч с Павликом Лукницким (он еще появится в ее жизни, став летописцем великой Ахматовой). Не успел Пунин перевести дух, как свалилась новая беда — на

горизонте Ахматовой вырисовался человек, способный в самом деле заставить ее забыть робкого искусствоведа и успешно решить квартирный вопрос.

В те годы Борис Андреевич Вогау, молодой провинциал с немецкими корнями, был не только известным беллетристом, опубликовавшим под псевдонимом Борис Пильняк роман «Голодный год», но и человеком знаменитым. Еще в 1922 году Анна Андреевна была приглашена на чествование Пильняка в ресторан, где с большой пользой для себя познакомилась с Фединым.

В 1924 году они вместе выступали на литературных вечерах. После одного из выступлений Пильняк написал в «Чукоккале» Чуковского, что Ахматова «была похожа на черный бриллиант».

Несмотря на близкие отношения с властью (Пильняку благоволил сам Сталин), окружающие ценили Бориса как добряка, остряка, щедрого на помощь и доброе слово компанейского человека.

Он был неравнодушен к Анне Андреевне и, как она утверждает, несколько раз делал ей предложение. А когда проездом бывал в Питере, непременно присылал корзину роз. Верны ли утверждения Ахматовой относительно брачных намерений Пильняка, трудно сказать. Ведь блистательный холостяк был свободен от семейных уз короткое время в середине двадцатых — между разводом с первой и браком со второй женой. Но корзины красных роз — деталь красноречивая, их удостаивается лишь предмет страсти.

В 1934 году, купив в Америке очередную машину, Пильняк — смешливый, элегантный, в черном иностранном берете — явился на своем роскошном «Форде» в Ленинград и катал Анну Андреевну по окрестностям. Сплетни зафиксировали развитие бурного романа.

Однако отказы Ахматовой составить завидному жениху партию если и были на самом деле, то имели, по ее словам, веское основание: Пильняк был человеком не ее круга — из простой семьи, мало образован и слишком ухватист в карьерных и денежных делах. Вот уж беда для живущей на птичьих правах невесты! Остается лишь заподозрить, что и здесь, как во многих других случаях, Ахматова придумывает благовидный предлог для своего неустройства: простое происхождение, влиятельное положение жениха — сплошное «фи». Приходится сомневаться и в реальности брачных намерений Пильняка.

Удачливому, ловкому, всегда радующемуся жизни писателю коллеги завидовали самой черной завистью. В самом деле — ездит в Америку менять машины! Буквально напрашивается на

неприятности. Коллеги — инженеры человеческих душ — преуспели в перечислении грехов «врага народа» Вогау. Арестованный по ложному доносу, Пильняк умрет в тюрьме в 1938 году, Анна напишет ночью стихи на смерть друга:

Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.

И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…

О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу,
И каждому завидую, кто плачет,

Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

До этого трагического момента Пильняк, пользуясь возможностями приближенного к властям, еще успеет прийти на помощь Анне.

Пунин оказался на редкость покладист в роли «задушевного друга». Человек бесхарактерный, порядочный до наивности, он привел любовницу жить в свою семью, когда она развелась с Шилейко и потеряла право на его «берлогу». Анна вносила в семью Пуниных деньги на питание и получила свою комнату. Но это странное положение не могло продлиться долго. Внедрившаяся в семейный дом любовница пыталась найти выход — просила друзей подыскать ей комнату, гостила в Москве, умоляла Николая Николаевича как-то решить ситуацию. Но выхлопотать лишнюю жилплощадь он не мог, развестись больше не пробовал и всякий раз, боясь потерять Анну, возвращал ее с заверениями о совершенной неспособности жить и работать без нее. В конце концов к сложившейся ситуации вроде бы все привыкли. Квартира Пунина стала для Анны спасением. Но несмотря на то что Пунины в 1926 году прописали ее на свою

жилплощадь (боясь распространившегося в те годы подселения), она никогда не считала ее своей и называла отстраненно-торжественно Фонтанным домом.

Пунины вели себя деликатно, всегда принимали знакомых Акумы (это имя закрепилось за Анной), не возлагали на нее, категорически неприспособленную к быту, никаких обязанностей по хозяйству. Сам Николай Николаевич, несмотря ни на что, согревал Анну любовью, был ее надежным единомышленником. На многое у них оказались сходные взгляды: на ужасы политической обстановки, на религию, к которой Анна с каждым годом все более приникала. А главное — он нежно и преданно любил ее. И она расцвела, вернула прежний вес, обрела покой. Целых пять лет они, при всей нелепости ситуации, ухитрились быть счастливыми. Однажды весной Анна с Николаем забежали к ее приятельнице переждать дождь. Оба насквозь промокшие, они хохотали и радовались как дети. А когда Анна Андреевна переоделась в предложенную ей юбку и кофточку цвета палевой розы, и сразу вдруг помолодела и похорошела, Пунин смотрел на нее добрым и смеющимся, почти счастливым взглядом. Было ясно — эта весна для них двоих. И хотелось, чтобы она не кончалась.

В 1925 году было принято и опубликовано известное постановление ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы».

После успешных выступлений Ахматовой в Ленинграде и в Москве весной 1924 года это постановление, в сущности, означало прекращение литературной деятельности писательницы. Ее перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на литературные вечера. Мариэтта Шагинян, встретив Ахматову на Невском, улыбнулась: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК — не арестовывать, но и не печатать». Убийственная опала для поэта.

Постановление напугало Пунина. Он уже не раз побывал в камере, знал, что бывает с теми, кто неугоден властям. Близость опальной Анны, опасная шаткость ее положения страшили его.

— Анна, вы понимаете, что с этих пор находитесь под особым наблюдением и должны вести себя осторожнее? — решился Николай Николаевич на предупреждение.

— Я затаилась как мышь. Я совершенно онемела. Что еще? Уйти, освободить вас? — Она, как всегда, перешла в атаку. — Пора! Намозолила тут всем глаза!

— Не говорите глупости! Успокойтесь и постарайтесь понять: молчащая или пишущая о невинных птичках, вы — опасны, потому что позволяете себе думать! И думать не в русле времени!

Инакомыслие, Анна! Вот чего они боятся пуще огня. Поэт такого склада и образа мыслей, как вы, человек, безусловно, крайне опасный, чуть ли не прокаженный, которого, пока не упрятали в тюрьму, лучше остерегаться.

— Я никому не навязываю свое общество. Сторонюсь знакомых. Прокаженная! — Она с кривой ухмылкой протянула ему листок: — Мое обращение в «инстанции».

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной Родине моей?
Пусть так, без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

— Ах, Анна, Анна! Что с вами делать?! Какая неосторожность! — Укоризненно качая головой, Пунин сложил листок несколько раз. — Спрячьте немедленно. Нет, лучше я сожгу сам! Ведь это уже приговор всем нам! Это же тянет на заговор!

Она бросила листок в камин и постучала пальцем по лбу:

— Все останется здесь. Пока меня не уничтожат, материалы «дела» против убийц будут расти. И знаете, Пунин, меня это даже веселит! Намерена собрать в черепушке крупную библиотеку совершенно антиобщественного содержания! Причем — с соблюдением полной секретности. Память у меня отменная. Не знаете, гильотина у комиссаров еще не популярна? Надо бы им завести, в целях профилактики вольнодумия. — Заметив окаменевшее лицо Пунина, она чмокнула его в щеку. — Я все понимаю, дорогой. Я не самоубийца. Меньше всего мне хочется подвести кого-то из вашей семьи. Обещаю быть предельно осторожной — как пациентка чумного барака.

Ахматова прекрасно понимала свою отверженность в государстве-застенке. Контакты с внешним миром «прокаженная» сократила до минимума. Ее мир — кабинет, поле ее деятельности — книги. Анне удалось извлечь из долгих лет молчания несомненную пользу — восполнить пробел в образовании, который мучил ее с юности. Пятнадцать лет «университетов» —

чтения научных изданий, приносимых Пуниным из библиотеки, — обогатили ее эрудицию не хуже университетских занятий. Отбросив поэтические амбиции, Анна переводила для Николая Николаевича искусствоведческие статьи и книги. Четыре года вместе с Павлом Лукницким собирала материалы по биографии Гумилева, серьезно увлеклась изучением истории Петербурга и творчества Пушкина. У Анны Андреевны обнаружился феноменальный филологический дар и отменное упорство. В короткое время она выучила английский — чтобы читать Шекспира, итальянский — дабы читать в подлиннике Данте, да еще вполне сносно разбиралась в немецком.

Глава 4
«Все унеслось прозрачным дымом, Истлело в глубине зеркал…» А.А.

В 1929 году Анне Ахматовой исполнилось сорок лет. «Земную жизнь пройдя до половины…» — звучало ответственно и мрачновато. Особенно если впереди — неизвестность. Все же кое-какие итоги можно было подвести и не стенать над морщинами. Она написала стихотворение «Тот город, мной любимый с детства…». В нем хорошо видны и напластования лет, уже легших на душу нелегким грузом, и терзания «неукротимой совести», и неожиданное ощущение… счастья — как новое предчувствие надвигающейся громады жизни, неукротимой в своей вечно обновляющейся красоте и прелести.

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Все, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал…
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг, от века милый,
Всходил со мною на крыльцо.

За шестнадцать лет жизни с Пуниным Анна написала не

больше двадцати стихов. Муза забыла о ней, потеряв интерес к женщине относительно благополучной. А может, ей не по нраву пришлось такое сомнительное благополучие? Парадокс заключается в том, что для Пунина эти годы стали порой научного расцвета.

Не имея возможности печатать стихи, Ахматова углубилась в научную работу. Но иногда слова нет-нет да и прорывались на волю, как, например, одно опасное четверостишие. Не четверостишие — вопль, вобравший накопившуюся взрывную ненависть. И не написала — сочинила и внесла в память.

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

Предполагалось, что форма взаимососуществования в семье Пуниных устраивает всех членов сообщества. Однако для Анны Евгеньевны условия, в которые поставил ее муж, были мучительны. Муж, причем любимый, находился рядом через стенку с другой женщиной, а она должна была упорно делать вид, что это обстоятельство ее не беспокоит. Надо было бы уйти куда глаза глядят. Но Анна Евгеньевна понимала, какой ненадежной опорой является для ее супруга эта увлекающаяся, кружащаяся среди знаменитостей бывалая разлучница. Поэтесса, фатально не приспособленная к быту, — ни постирать, ни приготовить, ни убраться. Любимое место — диван, на котором и пишет, и читает, и дремлет, и пребывает в поэтической прострации.

Анна же страдала от бессонницы и отсутствия «голоса». Ночи напролет она, недремлющая, измаявшаяся, призывала Музу, являвшуюся прежде в бессонные часы.

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Так было. Теперь Анне смуглая Муза больше не диктовала.

Измучившись «безголосьем», Ахматова в своей немоте обвинила Пунина.

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Приручeнной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
(…)
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —

И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?»

И трудному, ворованному счастью пришел конец. Размолвки начались с упреков Анны в том, что Пунин не хочет взять к себе ее сына, хотя она относится к его дочери как к родной. Трещина все увеличивалась: к Анне в Ленинград стала проситься и Инна Эразмовна, приведя в панику родственников жены Пунина — засилье потенциальных приживалов пугало в эти годы всех.

Вопрос об устройстве сына в Ленинграде оставался открытым. Пунин сопротивлялся до последнего, но Ахматова, угрожая разрывом, настояла на своем, и в 1929 году семнадцатилетний Лев Гумилев переехал к матери. Пунин даже уговорил брата — директора одной из ленинградских школ — взять Льва к себе в выпускной класс. Николаю Николаевичу и членам его семьи пришлось мириться с наличием еще одного иждивенца. В коридоре парню был выделен закуток с сундуком для спанья — традиционное место обитания прежних горничных. Его терпели как приживала, ведь и Анна Андреевна жила на чужих хлебах. Лев отвечал горячей (и несправедливой) ненавистью к членам пунинской семьи. Старался как можно меньше жить в их квартире — уезжал в экспедицию на целое лето, гостил у кого-то из друзей.

1930 год оказался для Анны тяжким: умерла мать, вслед за ней — Шилейко. Смутило душу самоубийство Маяковского. Да и у Пунина появилась симпатия на стороне — бойкая, симпатичная, весьма навязчивая аспирантка. Анну это бесило, она с наслаждением давала выход гневу в бурных скандалах, после которых наступало нежное примирение.

Глава 5
«Я пью за разоренный дом За злую жизнь мою…» А.А.

В 1934 году Лев Николаевич стал студентом исторического факультета ЛГУ. Гены отца дали о себе знать: он мечтал быть ученым-этнографом. Однако через год его исключили из ЛГУ «как лицо, имеющее дворянское происхождение» и как сына осужденного «за контрреволюционную деятельность». Это было бы полбеды, если бы Льва и Н. Н. Пунина, профессора Всероссийской академии художеств, не арестовали. Обоих — как «участников антисоветской террористической группы». Их арест стал следствием волны репрессий, прокатившейся по стране и особенно по Ленинграду после убийства С. М. Кирова. В то время под угрозой была и свобода самой Ахматовой, но на ее арест не дал санкции глава НКВД Г. Г. Ягода.

Не зная об этом, она и без того ощущала свою жизнь растоптанной:

Я пью за разоренный дом.
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

Осенью 1935 года, через несколько дней после ареста сына, Ахматова, посоветовавшись с Пастернаком и Михаилом Булгаковым, добившимся посредством письма к Сталину своего восстановления в театре, написала письмо вождю:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент ЛГУ).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ. Я живу в СССР с начала

Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то что стихи мои не печатаются и отзывы критиков доставляют мне много горьких минут, я не падала духом: в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет».

Задушевная интонация письма была выдержана правильно — помог опыт Михаила Булгакова, которому Ахматова показала черновик. В те дни ей оказали поддержку и другие собратья по перу: Л. Н. Сейфуллина и Б. А Пильняк, лично знакомый со всемогущим секретарем Сталина Поскребышевым. Борис Пильняк не только сообщил Ахматовой, как и где передать письмо Поскребышеву, но и сам отвез на своей машине к месту встречи — под Кутафью башню Кремля. Борис Пастернак написал письмо Сталину в поддержку Ахматовой, при этом сказав ей: «Сколько бы кто другой ни просил, я бы не сделал, а тут — уже…»

Получив письмо Ахматовой, Сталин 3 ноября 1935 года переслал его Ягоде с резолюцией: «Освободить из-под ареста Пунина и Гумилева и сообщить об исполнении». В тот же день они были освобождены. Таким образом, история первого ареста Л. Н. Гумилева уложилась в две недели. 22 октября — арест, 3 ноября — освобождение.

На этот раз обошлось. Но Анна Андреевна уже знала — следственная машина запущена. Разве они отстанут, те, кто идет по следу на запах крови? Год назад в Москве в ее присутствии арестовали Мандельштама. Сослали…

Зато Муза вернулась, открыв для Ахматовой этап «тайнописи» — выражения нахлынувших на нее тем, чувств не на «белом листе», а в немом крике — в тайниках памяти.

Восстановиться в университете Льву Гумилеву удалось в 1937 году. Но свобода радовала его недолго. 10 марта 1938 года студент 4-го курса исторического факультета Ленинградского государственного университета был арестован вновь.

Месяцем ранее попали под арест студенты 5-го курса филологического факультета ЛГУ Николай Ерехович и Теодор Шумовский. Все трое специализировались в области востоковедения, уже имели научные работы, получившие признание видных ученых-востоковедов. По словам Ахматовой, «взяли весь цвет молодого поколения», «будущих звезд русской

науки».

Арестованные обвинялись в участии в молодежной антисоветской террористической организации ЛГУ и в подготовке террористического акта против А. А. Жданова. Руководителем организации был признан Гумилев, за что его приговорили к десяти годам ИТЛ. Практически это означало расстрел.

Летом 1939 года к Анне Ахматовой пришли строки, которые она надежно спрятала в памяти, дав сочиненному название — «Приговор».

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Хлопотами близких арестованной «группы» было назначено дополнительное расследование. Наступило время мучительного ожидания конца нового процесса и вынесения повторного приговора. Для Анны Ахматовой это было время стояния в очередях, выстраивающихся у тюрем; время встреч с родственниками арестованных студентов, частых поездок в Москву в надежде как-то помочь сыну, обращения к влиятельным знакомым, хождения по разным инстанциям. Очевидцы вспоминали, что в этот период Ахматова жила в крайней нищете, обходясь в основном черным хлебом и чаем без сахара. Она исхудала, часто болела, но в любом состоянии и в любую погоду стояла в бесконечных очередях в тщетной надежде повидать сына или вручить передачу. Именно тогда, в очереди, она начала писать цикл «Реквием». Покойный Недоброво оказался прорицателем, предсказывая изменения в поэзии Ахматовой — смену тембра ее голоса, темы, размах эпичности, народности.

Стих Ахматовой, трагичный по своей природе, чутко и драматично реагировал на народную беду. Ранее категорически антисоциальный, он вобрал в себя и сделал своим достоянием проблемы животрепещущей политической жизни.

Не забираясь в дебри политического анализа ситуации в

стране, она видела главное: в Советском Союзе в годы террора происходит уничтожение человеческого рода. И если кто-то еще пытался прикрыться масками успокоительных иллюзий, безумие самоистребления тогда разрушило последние надежды. «Строители лучшего будущего» в страхе осознали неспособность существовать в таком мире. В 1939 году Ахматова писала:

Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек…

Стихи цикла «Реквием» очень долго не записывались — они держались в памяти самой Ахматовой и нескольких ее ближайших друзей.

Ее смуглая Муза оказалась из породы борцов: рамки поэзии истерзанной женщины неизмеримо расширились, вобрав в себя и материнское горе («…сына страшные глаза — окаменелое страданье»), и трагедию Родины, и неумолимо приближавшуюся черную тучу войны. Все вошло в ее стих, обуглило и закалило его. Она и сама была удивлена неистребимой силой стиха, продолжавшего существовать вопреки беде, смерти и опасности.

В стихотворении «Другие уводят любимых» Ахматова скорбит не только о себе, но и о стране, выставившей на позор всему миру вздернутого на дыбу поэта.

Другие уводят любимых, —
Я с завистью вслед не гляжу, —
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.

Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.

И в тех пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили: виновна она.

Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор…
А где-то темнеет от зноя
Огромный небесный простор,

И полное прелести лето
Гуляет на том берегу…
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.

Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?

Борис Пастернак, стараясь в этой ситуации как-то поддержать Анну Андреевну, писал ей 1 ноября 1940 года: «…Никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако знаете ли Вы, в какой цене Ваша надежда и как Вы должны беречь ее…»

Ахматова надежду берегла; верила она и в то, что страдания, выпавшие на ее долю и долю ее современников, не должны быть забыты. Созданные ею в те страшные годы стихи, составившие цикл «Реквием», явились своеобразным памятником всем тем, кто прошел эти муки ада. В заключительных строках «Эпилога» она писала и о себе:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь,
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Глава 6
«Одна на скамье подсудимых Я скоро полвека сижу…» А.А.

В декабре сорокового Ахматова начала работу над «Поэмой без героя», которую будет тайно продолжать более двадцати лет. В работах этого десятилетия смысл намного шире содержательной конкретики — он достигает общечеловеческих и внеисторических масштабов.

Стали памятником погребенной эпохи большевистского деспотизма стихи, написанные в 1940 году по поводу оккупации Парижа. Это «реквием» по всем годинам лихолетья, по всем сгубившим свое будущее землям:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске…

Эти слова останутся пророческими на все времена, «погребающие» свою историю.

Лидия Корнеевна Чуковская в своих «Записках об Анне Ахматовой» пишет, с какой осторожностью читала та свои стихи, так как опасность была совсем рядом. «В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком… Навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» шепотом, а у себя в Фонтанном доме не решалась даже на шепот: внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: «Хотите чаю?» или «Вы очень загорели», потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче ранняя осень», — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала

бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница — обряд прекрасный и горестный…»

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей.
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука. А сколько там
Неповинных жизней кончается…

«Вы знаете, что такое пытка надеждой? — спрашивала Ахматова у Лидии Чуковской. — После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума».

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень —
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

Как и прежде, смятение и горе заставляют Анну писать, захлебываясь от сдерживаемых ранее чувств. Стихов, написанных в эти годы, довольно для ареста и приговора, но в отличие от Мандельштама, Анна ведет себя осторожно — собирает архив в памяти или записывает на надежно спрятанных листках.

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,

И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшею стеною.

Она скорбела о себе и о судьбе всех, кого знала и любила и чьей смерти, предчувствуя ее, страшилась. Она предощущала гибель всего мира, ибо весь мир, сосредоточенный для нее в рамках определенного индивидуального опыта, всегда был местом бытия всего человечества. Ее боль была болью всех, ее страх — страхом всеобщим.

Так возникали в ее стихах трагические мотивы мгновенности и бренности человеческой жизни, греховной в своей слепой самонадеянности и безнадежно одинокой в великом холоде бесконечности: она искала избавления от охватывавшего ее — и непонятного ей! — ужаса и растерянности в религии; молитва — обращение к Всевышней справедливости — единственное спасение обреченных. Все это запечатлено в главном ее гражданском достижении тридцатых — в поэме «Реквием», непосредственно посвященной годам большого террора, страданиям репрессированного народа.

«Реквием» состоит из десяти стихотворений, прозаического Пролога, названного Ахматовой «Вместо Предисловия», Посвящения, Вступления и двухчастного Эпилога. Включенное в «Реквием» «Распятие» также состоит из двух частей.

Естественно, что «Реквием» был впервые опубликован лишь через двадцать два года после смерти поэта — в 1988 году. В Прологе она рассказывает: «В тогдашние годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Почти весь «Реквием» написан в 1935–1940 годах, и только «Вместо Предисловия» и эпиграф помечены 1957 и 1961 годами.

Все эти даты (кроме эпиграфа и заметки «Вместо Предисловия») связаны у Ахматовой с трагическими пиками

горестных событий тех лет: арестом сына — в 1935 году, вторым арестом — в 1938-м, вынесением приговора, хлопотами по делу, днями отчаяния…

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача…

Нельзя не заметить, что стихи Ахматовой тридцатых годов — и те, что посвящены развязанной в 1939 году мировой войне, и те, что написаны о народной трагедии, вызванной сталинским террором, — заметно отличаются по своей тональности, а нередко и по форме от произведений предшествующих периодов. Она и сама понимала и ясно осмысляла перемены, происшедшие в ее творчестве. «…В 1936 году я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных стихов… Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже, судить не мне…»

Глава 7
«Когда погребают эпоху, Надгробный псалом не звучит». А.А.

В эти дни отчаявшаяся Ахматова решила предпринять очередную попытку апеллировать к самому могущественному человеку страны — к Сталину. Но политическая ситуация в стране была иной, а те, кто помог ей в 1935 году, уже не имели ни сил, ни влияния. Да и положение самой поэтессы изменилось. В 1939 году органами НКВД на нее было заведено «дело» (так называемое дело оперативной разработки — ДОР) с краткой аннотацией: «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения». В нем содержались материалы, собиравшиеся органами ОГПУ-НКВД еще с двадцатых годов, когда Ахматова попала в поле зрения чекистов как бывшая жена казненного поэта. Обо всем этом Анна Андреевна не знала, и для нее Сталин уже во второй раз стал олицетворением надежды.

История второго письма Ахматовой к Сталину сложилась менее удачно. Оно проделало долгий и длинный путь по бюрократическим инстанциям, но до самого Сталина, судя по всему, так и не дошло. К этому убеждению позже пришла и сама А. А. Ахматова. В те же весенние дни, когда она писала вождю, у нее родились и такие строки:

Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.

———
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу —
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать…

В эти дни, замкнутая в мыслях о грозящей сыну смертельной опасности, она понимала, что лишь своим грехопадением — шагами в сторону власти — может спасти его жизнь. Анна Андреевна пишет стихотворный цикл «Слава миру», прославляющий мудрость Сталина. Поступок, который всю жизнь жег ее позором. Пришлось сломить в себе главный стержень — поэтической чести и «в ногах валяться у кровавой куклы палача». После публикации этого цикла у нее, как замечают близкие люди, навсегда появились фальшивые интонации в общении. Она совершила осознанно шаг, которого, знала, будет стыдиться всю жизнь. Сделать это она могла только ради сына. Увы, Лев Николаевич считал, что мать ничем не способствует пересмотру его дела, поглощенная своими выступлениями и публикациями. А у тех, кто слышал ее славящие «кровавого палача» стихи, промелькнуло некое презрение: не устояла, сломалась!

Однако поступок Ахматовой был оценен властью. Неожиданный интерес со стороны издательств подтвердил это — Ахматовой давали понять, что готовы сохранить ее как национальное достояние в обмен на лояльность.

26 июля 1939 года Особое совещание при НКВД СССР вынесло свой окончательный приговор: Л. Н. Гумилев, Н. П. Ерехович и Т. А. Шумовский осуждены к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на пять лет каждый. Гумилев был определен в Норильский лагерь, Ерехович — в Севостлагерь на Колыму, Шумовский — в город Котлас Архангельской области. Пять лет ИТЛ! Это был легкий приговор, объясняли его тем, что на место Ежова пришел добрый Берия. Конечно, дело было не в Берии: Анна спасла сына своим шагом в сторону власти. Знала, за ним должны последовать и другие — власть рассчитывает приручить народных кумиров.

В 1939 году, дождавшись от Льва открытки, что он живым прибыл на место трудового исправления, Анна немедленно подала заявление в Союз писателей с просьбой принять ее в свои члены.

5 января 1940 года Ахматову, ранее из Союза принципиально выбывшую, торжественно приняли обратно. Был снят пятнадцатилетний запрет на публикацию ее стихов, и они стали снова появляться в журналах. В числе почестей, посыпавшихся на Ахматову, было единовременное пособие в три тысячи рублей и повышенное до семисот пятидесяти рублей прежнее четырехсотрублевое пособие. Кроме того, Ленсовет начал хлопоты о квартире для Ахматовой. Как же они хотели ее заполучить! Это даже лестно. Но подкуп не удался. От единовременного пособия Ахматова отказалась. Телефон и так

разрывался от предложений издательств подписать с ней договор.

Дьявол не выдал. Мне все удалось,
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

В мае 1940 года вышел сборник стихотворений Ахматовой «Из шести книг», куда были включены произведения прошлых лет и несколько новых. А. А. Фадеев, А. Н. Толстой и Б. Л. Пастернак собирались выдвинуть это издание на Сталинскую премию. Ахматова, начиненная «антисоветскими бомбами» — стихами, спрятанными в тайниках памяти, не записала на бумаге до 1946 года ни одной крамольной строки. Все стихи сборника далеки от идеологии, абсолютно подцензурны. Казалось бы — зацепиться не за что. Но не этого ждала власть от пошедшей на сближение с ней Ахматовой. «Из шести книг» вызвал гнев высших инстанций. Анна Андреевна рассчитывала, что начисто лишенная общественного пафоса книга не сразу попадется на глаза Сталину, а может, и вообще не попадется. Легкомыслие не по времени. Ее поступки внимательно отслеживали. 25 сентября 1940 года управляющий делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крушин направил секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову записку, в которой с возмущением писал о том, что в сборнике стихов А. А. Ахматовой нет «стихотворений с революционной и советской тематикой, о людях социализма» и что «необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой». Жданов в свою очередь был удивлен, пролистав книгу: «Как этот ахматовский «блуд с молитвою во славу божию» мог появиться на свет? Кто его продвинул?» 29 октября 1940 года не без злорадного удовольствия Жданов подписал постановление секретариата ЦК ВКП(б) об изъятии книги Ахматовой и строгом наказании виновных в ее выпуске. Вопрос с квартирой для писательницы, как и щедрое пособие, отпали сами собой.

На Ахматову обрушился шквал злобной критики, и она боялась, что нынешняя немилость к ней властей усугубит и без того тяжелое положение сына. Не зря. В январе 1941 года военный прокурор ЛВО наложил резолюцию: «Истребовать дело Льва Гумилева для проверки доказательств».

Глава 8
«Мы живем, под собою не чуя страны». О.М.

С первых дней знакомства дружба связывала молодого поэта Мандельштама и его жены Надежды Яковлевны с Гумилевыми. Расстрел Николая Степановича тридцатилетний Осип Эмильевич воспринял как личную потерю и крах всего миропорядка. Утрата еще больше сблизила их с Ахматовой, считавшей Мандельштама сильнейшим среди живущих русскоязычных поэтов. Анна часто навещала друзей в Москве, летом 1933 года Осип с Надеждой приезжали в Ленинград.

Осенью Мандельштам прислал Анне Андреевне телеграмму с приглашением погостить в новой квартире в Нащекинском переулке. Она поехала, рвалась отдохнуть от Ленинграда, от травли критиков, косых взглядов запуганного Пунина. И знала — там, в Москве, Мандельштамы ее по-настоящему любят.

Детски легкомысленный и наивный, Осип жил как бы в ином пространстве, он испытывал то героическую эйфорию, то ужас затравленного зверька. Подозрительный, мнительный, пугливый и в то же время безрассудно, до глупой бравады смелый, он был человеком, категорически несовместимым с безумием тридцатых годов. Ироничное спокойствие Анны Андреевны действовало на него умиротворяюще, она была для него словно надежный причал для затерявшегося в штормовом хаосе суденышка. На этот раз Осип Эмильевич ждал приезда Ахматовой с особым нетерпением — ему было чем ее поразить.

Осенним поздним вечером они прохаживались по ветреной темной набережной. Анна куталась в платок, повязанный поверх ветхого пальтишка, понимая, что неспроста выманил ее Осип на эту прогулку.

— Анна Андреевна, еще летом в Коктебеле я написал оду. Вернее — антиоду. Мечтаю вам прочесть. Вы, именно вы меня поймете! — Перекрикивая порывы ветра, он с отчаянной злобой начал читать:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища…

Эта была широко известная впоследствии «антисталинская ода». Осип торжествовал — наконец-то он посмел выразить свою ненависть к вождю и его приспешникам — выплюнул яд в свиные рыла «полулюдей». Нелепый, похожий на подростка, в замызганной шапке с опущенными ушами, он был похож на хулигана-пацана, выскочившего из подворотни. Дама, закутанная в цветастый платок, слушала его, сурово сдвинув темные брови, и молчала.

— Н-ну! К-как? — торопил он, завершив чтение. Осип повернулся к спутнице и шел, пятясь, закрывая Анну от ветра. На его лице, осененном фантастическими ресницами, играла смесь детского восторга и нетерпения.

— Постоим, — предложила Анна и закурила, склонившись к парапету набережной, за которым черным дегтем качалась вода.

— Я п-понимаю… Понимаю — это никому читать нельзя… Это — расстрел… — И поскольку Анна Андреевна все еще молчала, принял ее молчание за испуг: — Простите… Такими стишатами можно и подставить. Анна — здесь сейчас только ветер! Здесь н-никого нет! Я обо всем подумал!

— Стишатами… С точки зрении героизма… Отдать жизнь — это для них многовато. А с точки зрения литературы… Поверь, Ося, пропуск в бессмертие тебе обеспечат другие стихи.

— Понял… — Он сник. — Я бы собственными руками разорвал этих упырей в клочья… Я бы взорвал их Кремль! Я бы… Я бы казнил их всех… — Он вытянул перед собой узкие кисти еврейского интеллигента: — А что я могу? Даже землю копать слабо… Только писать, захлебываясь от злости…

Анна Андреевна взяла его за лацканы обтрепанного пальто, сохранившего, как насмешку, былую элегантность. Проговорила, прямо и близко глядя в глаза:

— Слушай внимательно, Осип! Очень тебя прошу, и Надю буду молить — не читай ты свой пасквиль никому. Прошу как друг. Серьезно прошу. Думаешь, я меньше тебя их ненавижу? Думаешь, у меня за душой ничего не припрятано? Но не прочту. Не могу тебя подводить. И ты забудь о своем. Пока забудь. Не пугай людей…

— А что, скажите только — сильная вещь? Если ему прямо самому послать? Взорвется от злости, упырь!

— Господи! Как ты наивен. Мешки таких пасквилей по всей

стране жгут, людей по ссылкам гноят. Что им твой иудейский гнилой плевок? И не такое видали… Ты его многим читал?

Осип замялся — врать он не умел категорически:

— Читал…

— Беда-то какая!

— Но ведь не зря же читал! Люди должны от моего слова духом подняться, оду эту антихристову запомнить и про себя как проклятие твердить…

— Осип, — Анна сжала его горячую руку, — это совсем другой разговор. Поверь мне, Осип, ненависть не лучшее вдохновение для поэзии.

— Не получилось, выходит?

— Нет. — Анна отвернулась и быстро зашагала к дому. — Что же ты, в самом деле, заморозил меня совсем!

Анна рассчитывала погостить у Мандельштамов месяц, но оказалась единственным, кроме Надежды Яковлевны, свидетелем ареста Осипа Эмильевича в ночь с 14 на 15 мая. Мандельштама сослали в Воронеж, где три года (с 1934 по 1937) он вместе с женой вел нищенский образ жизни в полуподвальной комнатенке. Пошли слухи, что психика Мандельштама, надломленная арестом, не выдержала: полубезумец не способен был больше сочинить что-либо вразумительное. Анна Андреевна приехала в Воронеж и убедилась, что именно сейчас, объятый желанием успеть выговориться сполна, Осип пишет свои лучшие стихи.

В мае 1937 года поэт с женой получили разрешение выехать из Воронежа. И вместо того чтобы рвануть куда подальше, бунтари немедля вернулись в Москву. Разрешения на жизнь в столице у них не было. Очевидно, человек более осмотрительный, чем этот чудак с детскими наивными глазами, смотрящий на все с удивлением пятилетнего ребенка, предпочел бы скрыться где-то в глубинке. Осип же постоянно ходил в Союз писателей с требованием провести его творческий вечер! От него шарахались как от чумного — переходили на другую сторону улицы, в упор не замечали, столкнувшись нос к носу. Друзья уговаривали убежать, затаиться в глухой норе. Супруги уехали было в Тверь, но продержался Осип «в подполье» недолго. В начале 1938 года он возвратился в Москву и снова замелькал перед глазами разъяренного писательского начальства. Анна узнала от знакомых, что Осип с отчаянием самоубийцы читает всюду свою «расстрельную» антиоду.

3 мая в квартиру Пуниных позвонили. Открывший двери Николай Николаевич обнаружил на лестничной площадке радостную пару — Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну.

— Прямо с вокзала — к вам! — Осип, сияя, сунул под нос хозяину газетный сверток: — Здесь почти кило воблы — мне с Волги привезли. Вы только понюхайте — свеженькая!

Пунин онемел.

— Да что же вы в дверях стоите? Заходите, сейчас чай будем пить! — с преувеличенной веселостью объявила Анна.

Надежда Яковлевна писала: «Мы провели в Ленинграде два дня, ночевали у Пуниных… Все понимали, перед чем мы стоим, но не захотели губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой. Николай Николаевич шутил и смеялся. Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века».

Они все тогда стояли на краю пропасти (жить Осипу Эмильевичу оставалось несколько месяцев). Уже в марте бы арестован Лев. Вскоре та же участь постигла Мандельштама. Он был отправлен по этапу в лагерь на Дальний Восток и скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном пункте у Владивостока. Был посмертно реабилитирован.

О смерти Мандельштама долго было неизвестно, но и самые худшие предположения не изменили отношения Анны Ахматовой к его стихам. В восприятии Сталина она скорее была солидарна с Михаилом Булгаковым, наделившим фигуру вождя инфернальной, дьявольской мощью с некой даже долей обаяния. «Мастера и Маргариту» она считала высшим достижением русской прозы. Масштаб зла в антиоде Мандельштама, по мнению Ахматовой, снижал фигуру Сталина до водевильного уровня. Злодей с тараканьими усищами, выведенный Мандельштамом, смешон и не страшен… Она же видела в нем дьявола во плоти, самого зловещего инквизитора XX века.

Но как ни странно, именно это злосчастное сочинение, далеко не лучшее из наследия Мандельштама, стало одним из самых известных антисталинских поэтических «выстрелов».

Глава 9
«Из каких ты вернулся стран Через этот густой туман?» А.А.

В феврале 1937 года Ахматова легла на обследование по поводу щитовидной железы в Куйбышевскую (Мариинскую) больницу. Лечил ее профессор-эндокринолог В. Г. Баранов. Однажды он устроил знаменитой больной консультацию со своим коллегой профессором Гаршиным — известным интеллектуалом, любителем поэзии и поклонником Ахматовой. Крупный, красивый человек в белом халате принадлежал к тому поколению российской интеллигенции, что и сама Анна Андреевна, — им обоим было около пятидесяти лет. Кроме того, он поразил ее своим сходством с Анрепом: большой, сильный, надежный и в то же время — мягкий, с покоряющим обаянием.

Вскоре они оказались в больничном сквере, и разговор сразу пошел так, словно знакомы они были много лет и теперь встретились после долгой разлуки. С представительным профессором, кокетливо улыбаясь, здоровался весь женский персонал больницы. Сомнительные взгляды доставались его спутнице.

Ахматова в эти дни была далеко не в лучшей форме. Вот как описывает ее посетительница больницы: «Вышла женщина, такая худая, каких я никогда раньше не видела, с выпученными огромными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной головой и с длинной сизой челкой, непричесанная, в каком-то халате безнадежного цвета. Из того, что я ожидала, подтвердилось одно — тишина. И то не тишина — молчание. Никакой светской беседы. Вообще никакой беседы. Я что-то лепетала, даже мне самой неинтересное, и только пялилась, пялилась на живую Ахматову, страшную, как Баба-яга, которой детей пугают…»

Но для Владимира Георгиевича она была все той же звездой, которой он поклонялся с первого момента знакомства с ее стихами. Выяснилось, что встретиться они могли давным-давно, еще в юности: в одни и те же годы они жили и учились в Киеве. В 1908 году Аня Горенко поступила там на Высшие женские курсы, а Гаршин перевелся с биологического отделения Петербургского университета на медицинский факультет университета киевского. В Киеве в 1910 году состоялось венчание Анны Ахматовой с Николаем Гумилевым и Владимира Гаршина — с Татьяной Акимовой.

Кроме того, Гаршин был фанатичным поклонником поэзии Гумилева, знал наизусть множество его стихов.

— А ведь мы с вами встречались, Анна Андреевна. — Он обволакивал ее восторженным взглядом. — Помните, в доме литературоведа Бориса Михайловича Энгельгардта? Он первым браком был женат на моей двоюродной сестре Наталье Евгеньевне.

— Ах, да… Страшная история. Она кончила жизнь самоубийством после ареста мужа, бросилась в лестничный пролет.

— Да… Борис Энгельгардт «проходил» по «делу Академии наук». Его не расстреляли, и, отбыв ссылку, он вернулся.

— Выходит, Наталья Евгеньевна поторопилась. Так велик страх перед арестом — уж я-то знаю…

— А Энгельгардт, погоревав, женился на Лидии Михайловной Андриевской. И незаконно проживал у нее в Ленинграде на Кирочной, восемь.

— Там я бывала! Всегда большое сборище литературоведов, переводчиков, писателей.

— Бывал там и живший по соседству дальний родственник Энгельгардтов — Николай Васильевич Зеленин, врач-психиатр, внук великой Ермоловой. Я с Зелениными и с их большим другом Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник сблизился еще в начале двадцатых, в Крыму. У нас была чрезвычайно интересная переписка…

— Странно, вы же человек из другой среды — профессия суровая и вовсе не поэтическая — патологоанатом.

— Не только анатом, дорогая моя, а еще и доктор. Странный каприз судьбы. Родился-то я скорее всего поэтом. Хотя стихи у меня плохие, но исследователь я, как говорят, хороший.

— Мне кажется, у вас все должно получаться хорошо — по закону всеобщей гармонии. — Анна Андреевна легкой рукой убрала прядь волос с его лба — движение влюбленности и восхищения.

Владимир Георгиевич Гаршин — не поэт, не художник, не искусствовед, не композитор. Ученый, врач-патологоанатом, коллекционер. С творчеством Ахматовой Гаршин был знаком давно. Любил и знал поэзию: Брюсова, Блока. Особое отношение было у него к Н. Гумилеву — с его стихами он прожил жизнь.

Семья Гаршиных вообще была тесно связана с литературой. Дядя Владимира Георгиевича Всеволод Михайлович Гаршин — известный русский писатель. К писательству имели отношение и другие члены семьи. Сам Владимир тоже писал стихи. Стихи

неровные, иногда — «на случай», иногда же — подлинные.

— Не верю, что в своих сочинениях вы могли оказаться беспомощным — такой большой, сильный, красивый. — Анна подмешала к неизбывной грусти в глазах тайный восторг. Он понял и улыбнулся:

— О, в юности у меня были сильные сочинения. Наиболее «символические» из них носили медицинские названия: «Туберкулез», «Сыпной тиф».

— Прочтите — это в самом деле интересно.

— Чепуха, уже и не помню. Помню только, что названия как бы снимали мистическое содержание стихов и объясняли его диагнозом. В Крыму во время Гражданской войны я сам перенес тиф, и вероятно, в тифозном бреду меня посещали видения рая.

— Меня тоже часто посещают видения. Прочтите хоть что-нибудь.

— Ладно. Вот примерно такие вирши:

Льются радостные звуки,
Чьи-то ласковые руки,
Словно крылья привидений,
Осеняют, навевают благодатный сон.

Это видение рая, а вот ад:

А потом чьи-то лики
Обожгут горящим взглядом.
Вдруг охватит ужас дикий,
Кто-то грозный и великий
Станет близко-близко, рядом,
Сдавит душу, вырвет стон.

— О, я его знаю — ужас без лица. Именно так: «Сдавит душу, вырвет стон»… И не видно, кто, а значит, скрывается самое страшное, что и представить нельзя.

Их руки соединились, как бы защищаясь от вселенского ужаса: ледяные, тонкие, невесомые — Анны и горячие, сильные, надежные — Гаршина.

После этой беседы, пронизанной флюидами взаимного притяжения, расстаться они уже не смогли. Едва Анна выписалась из больницы, Гаршин стал навещать ее в Фонтанном доме. Она жила в пунинском кабинете, хозяева были в отъезде. В пустой квартире сквозняком пролетал шепот:

— Ты меня не будешь обижать?!

— Только носить на руках и оберегать.

— «Ты опоздал на много лет, Но все-таки тебе я рада…» Нашелся наконец мой «опоздавший». Не поздно ли?

— Не поздно. В самый нужный момент. Ведь я не первый, но точно — последний. Навсегда.

Гаршин, так же как Анреп, принадлежал к типу вечных любовников — легкий, подвижный, всегда как будто немного влюбленный в каждую женщину, случайно оказавшуюся рядом. Такое мужское внимание, даже без авансов на продолжение, льстило всем. А когда на лекциях легким взмахом руки профессор откидывал со лба густые, без седины, пряди каштановых волос — студентки обмирали.

Он был эстетом во всем, что бы ни делал. В молодости полушутя утверждал, что на свете есть только четыре идеальные вещи: роза в стакане воды, хороший микроскоп Цейса, стакан чая с лимоном, рюмочка холодной водки.

Могла ли подумать Анна, из какого ужаса приходит к ней этот безупречно одетый, приятно пахнущий человек? В трех крошечных комнатушках коммунальной квартиры проживали, кроме Гаршина, его жена Татьяна Владимировна — тяжелая мрачная женщина с приступами истерии, два сына (старший с женой), да еще сестра Владимира Георгиевича с дочерью. Спал эстет на железной койке, застланной солдатским одеялом.

Встречаясь с Анной, он убегал из семейного кошмара в иной мир и старался сделать его как можно более элегантным — отвести томившуюся по прекрасному душу.

В том, как Гаршин описывал интерьеры для тайных свиданий, виден ценитель красоты и удобства. В мае влюбленные уехали в Москву, и здесь, у друзей Гаршина, нашлись комнаты с интерьером и милыми деталями, создававшими обособленный от реального мрака уголок.

«Светло: окно широкое — в небо и на реку.

Слева поперек — кровать карельской березы. По стенке диван, карельской же березы с бронзой.

Перед ним стол. Ландыши, кекс, чай светлый…

Шкаф — книги — много книг: много стихов.

Люстра елизаветинская с синим стеклом и наивными подвесками».

Анна, несмотря на полный ужас ее тогдашней жизни, оттаивала рядом с Гаршиным:

За ландышевый май
в моей Москве кровавой

Отдам я звездных стай сияние и славу.

А вот стихи, посвященные В.Г.:

Из каких ты вернулся стран
Через этот густой туман?
Или вижу я в первый раз
Ясный взор прощающих глаз?

Казалось бы, с арестом сына огонь радости жизни для Ахматовой навсегда померк. Но по каким-то неисповедимым законам творчества трагедия тридцатых годов словно высекла искру из кремня, и пламя ее творчества взметнулось высоко и торжествующе, несмотря на разрушенный семейный очаг, на мучительные тюремные очереди, на постоянное ожидание ареста. Молнии творчества вызывают столкновения жажды жизни, молодости, влюбленности с тяжким бременем трагических обстоятельств. Вопль существа, заживо погребаемого.

Анна рвется к счастью и уже этим — виновата. Есть «гражданский муж» Пунин, но сын в ссылке. У нее ландыши и чай с лимоном в стакане, а у тюремных ворот рыдают голодные старухи… Анна Андреевна как бы раздваивается, и та часть, что жаждет быть просто счастливой женщиной, не прощает другой — измученной, скорбной — радости этих мгновений.

Мотив вины и прощения, преследующий Ахматову, звучит с новой силой:

За всю неправду, сказанную мною,
За всю мою возвышенную ложь
Когда-нибудь я казни удостоюсь,
Но ты меня тогда не проклянешь.
Но ты, меня любивший столько весен,
Но ты, меня обретший в мраке сосен,
Мне ведомо, что ты меня поймешь.

Обращение безадресное — к Любящему и Понимающему. Вернее — к тому Главному, кто собрал в себе самые лучшие черты Возлюбленного Ахматовой. С миру по нитке, с бору по сосенке — вот и набралось строительного материала на монумент Идеала. Идеальный возлюбленный Ахматовой — образ собирательный, но каждая из его составляющих в какой-то момент подарила ей иллюзию женской радости. И почти каждый

в свою очередь был обманут ею и предан.

В сентябре 1938 года произошел окончательный разрыв Ахматовой с Пуниным: она объявила, что полюбила другого. В который раз эта сцена повторяется в ее жизни: плачущий мужчина, молящий не оставлять его, и она, в эти мгновения помнящая лишь его прегрешения, слабости, недостатки, за которые «бывший» справедливо отлучается от божественной персоны возлюбленной. О, эти записи в дневнике Пунина 1914 года! Вот когда они пришлись кстати. Истеричка, кривляка, похожа на мертвеца… сам же писал, не отвертишься. И в этих-то словах — его подлинное отношение к Анне! А постыдная трусливость в свиданиях в его доме? Выискивание «улик»? Разве такова безоглядная, слепая любовь? Анна Андреевна смогла убедить себя в этом — она всегда умела отбрасывать без особой боли отработанный материал. Сумела и на этот раз.

Ахматова осталась в квартире Пунина в Фонтанном доме, но жила теперь не в кабинете Николая Николаевича, а в бывшей детской. «Гаршин приходил к ней в эту комнату, — вспоминает дочь Пунина. — Это был трогательный и милый человек, с такой необычной деликатностью, которая казалась уже тогда музейной редкостью».

Годовщину веселую празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы — той, алмазной —
Повторяется снежная ночь…

Стихи написаны в 1939 году — к годовщине начала романа с Гаршиным. Фантастичен ничем не удержимый порыв Ахматовой не просто к жизни — к излюбленной ее Музой любовной теме. Ведь было уже далеко не до веселья! И она сопротивлялась, как могла, боясь надвигающегося на нее хаоса, прячась за любовными иллюзиями, юными чувствами.

Второй арест сына и все перевернувший страх за его жизнь загнали Анну в перманентный ужас. Гаршин видел, как погружается во мрак сознание Анны, задыхающееся в душегубке беды. Кошмар его собственного домашнего бытия, умноженный на беду Анны, подтачивал силы. А он был вовсе не железный, этот тонкий эстет, живущий в постоянном аду.

Вальяжный профессор, умеющий быть ироничным, желчным, страстным; человек, занимающийся отнюдь не простым делом, говорящий о себе шутливо: «Режу мертвых и смотрю, какой они губернии», стал крайне сентиментальным, легко впадающим в меланхолию, часто роняющим слезы.

Тонкая нервная организация была у него наследственной. Друзья вспоминали о Всеволоде Гаршине: «Плакал от умиления и восторга» при чтении «Евгения Онегина». Узнав о предстоящей казни народовольцев, «рыдал, дошел чуть не до обморока». После ссоры с матерью «не мог сдержать слез, ими захлебнулся». В семилетнем возрасте Владимир пережил потрясение от самоубийства отца — Георгия Михайловича Гаршина, застрелившегося почти на его глазах. В 1930 году он схоронил свою двоюродную сестру, Наталью Евгеньевну Гаршину-Энгельгардт, повторившую смерть их дяди Всеволода Михайловича Гаршина в 1888 году, случившуюся через несколько месяцев после рождения Владимира Георгиевича и потрясшую всю мыслящую Россию.

Гаршин в полной мере ощущал ту страшную интенсивность духовной и душевной жизни, которая сжигала Ахматову, и одновременно чувствовал на себе гнет ее раздражительности, легко вспыхивающего гнева, мании преследования, обострившихся в страшные месяцы ожидания приговора сыну.

— Поймите же, Володя! Я не человек сейчас. Я — машина для страданий. И если я упрекаю вас за невнимательность ко мне, так это оттого, что все внимание мира не заставит меня забыть о сыне. Я больна! Я не в себе! Уйдите! Уйдите! — Она разбросала таблетки, принесенные Гаршиным. Выбила у него из рук стакан с каплями валерианы.

Он рухнул на диван, уронил голову в ладони. Скорбные всхлипы остановили истерику Анны.

— Милый, я знаю, я мучаю вас раздражительностью! — Анна обняла вздрагивающие плечи Владимира. — Я распущенная истеричка! Если хотите — это диагноз. Я хорошо помню моменты, когда оступалась — я лгала, была эгоисткой. Моя проклятая память уничтожает меня, казнит ежесекундно… Простите…

Он повернул к ней мокрое от слез лицо, взял за руки, покрыл худенькие кисти поцелуями.

— Вы — моя радость, моя жизнь… Без вас… — Он всхлипнул, закрыл глаза платком.

Гаршин успокоился, выпив принесенного Анной чая, но какая-то гнетущая мысль все еще не покидала его.

— Выслушайте меня, Анна… Терзаю себя я сам. Я понимаю, что теперь, сейчас обязан быть с вами, совсем с вами, только с вами. Но честное слово, без всяких фраз, прийти к вам я могу только через преступление. Верьте мне, это не слова. Хорошо, я перешагну, я приду. Но перешагнувший я вам буду уже не нужен!

— Не можете перешагнуть через страдания жены? Не можете отвоевать свободу? — Анна нарочито рассмеялась. — Нет,

дорогой мой, об этом не беспокойтесь. Судьба распорядится сама, кому и с кем быть… Знаете, недавно я встретила цыганку, и она совершенно определенно предсказала мне, что вы будете любить меня до самой смерти. Вы — именно вы!

Да, Анна верила цыганкам, снам, предсказаниям, своим предчувствиям. То, что сбывалось, вносилось в анналы доказательств ее магической власти. Как точно это углядел в ней тогда Амадей…

Страдающий от невозможности «перешагнуть» через мучения жены, грозившей убить себя, Гаршин тем не менее не заронил в Ахматову и тени сомнения в своей верности ей. Два года он, выбиваясь из сил, старался поддержать Анну: как и обещал — «носил ее на руках». Обеспечивал ей прокорм, таскал в муфте горячие судки с едой из больничной столовой, следил за здоровьем, переписывал стихи для так и не состоявшейся публикации в «Московском альманахе». А главное — был рядом, поддержкой и спасением от одиночества.

В июле 1940 года Ахматова подарила Владимиру Георгиевичу свою фотографию, сделав на обороте надпись: «Моему помощному зверю Володе. А.».

Глава 10
«За всю неправду, сказанную мною, За всю мою возвышенную ложь». А.А.

В пятьдесят два года Анна Андреевна, считавшая Гаршина своей последней любовью, подводила итоги женских побед. Поклонники, возлюбленные, мужья, бесконечные предложения руки и сердца со всех сторон (Пастернак, по ее словам, делал предложение семь раз). Список внушительный, ускользала от ее внимания лишь одна интересная закономерность. Все они бросались в водоворот страсти к Северной звезде, Клеопатре Невы, победительнице жизни, влюбившись издали, — в ее необычный облик, стихи, создававшие образ женщины чрезвычайно утонченных чувствований, удивительной душевной глубины, теплоты — той, которая может стать главным смыслом жизни. Вблизи же открывались и сопутствующие качества: раздражительность, мрачность, властность, безапелляционность, капризность. Кроме того, она умела безоглядно влюбляться, но не преданно любить. Не умела жертвовать собой, растворяться в любимом, как могло показаться по исповедальным стихам. Ее способность увлекаться новыми объектами, отработав и выбросив из своей жизни старый «материал», тоже не способствовала верности избранника. Гумилев понял, как просчитался в выборе невесты, уже в медовый месяц. Опытный донжуан Чулков изначально не заблуждался в характере привязанности своей пассии и умел получать удовольствие от того, что представляла из себя Анна Андреевна в непосредственной близости. Недоброво — святая доверчивость — нарвался на предательство, как на пехотную мину. Полнокровному оптимисту Анрепу быстро надоели немощность и нытье его возлюбленной — благо что свидания бывали редки. Шилейко вообще в жизнь Анны занесло случайным ветром. Терпеливый Пунин (с перерывами) держался несколько десятилетий. А с Гаршиным Ахматову развела сама история.

В последние месяцы накануне новой страшной войны Ахматова посетила Москву. Гостила у Ардовых на Ордынке. Больше всех в этом гостеприимном семействе она дружила с красавицей актрисой Ниной Антоновной Ольшевской и ее старшим, от первого брака, сыном-киноактером — Алексеем Баталовым.

Здесь произошла ее первая встреча с соперницей — Мариной Цветаевой. Правда, Анна Андреевна Марину своей соперницей не

считала, тему соперничества подняло время. Но это позже, а пока Марина для Ахматовой — навязчивая, чрезмерно экспансивная дама со специфическими, слишком аффектированными приемами письма. К знакам дружбы и преклонения с ее стороны Анна Андреевна относилась крайне пренебрежительно. С 1916 года Марина Ивановна не раз посылала посвященные Ахматовой восторженные стихи, которые адресатка оставляла без внимания. Цветаева, упорно навязывающая свою дружбу Ахматовой, кажется нам сегодня несправедливо обиженной. Ни по какой иной причине не стала бы искать сближения с Ахматовой чрезмерно гордая Марина Ивановна, кроме одной — самой истинной, близкой к влюбленности очарованности ее поэзией. Увы, чрезмерная экспансивность Марины была категорически противопоказана Ахматовой. Стихи Цветаевой ей чужды — бурные взрывы эмоций, переходящие в крик строфы, и «рваный» язык раздражали. Раздражала и сама Марина Ивановна — московская звезда, беспардонно афишировавшая свои скандальные связи не только вызывающим поведением и в письмах «всему свету», но и в мгновенно распространявшихся стихах. Неприятен был и роман Марины с Мандельштамом в 1916 году, о котором говорили и в Петербурге. Из Европы от Цветаевой к Ахматовой летели длинные, захлебывающиеся в обожании письма с приложением детских Алиных стихов. Особенно она старалась, выражая соболезнования по поводу гибели Гумилева. Тяжко вздыхая, подавляя раздражение, Анна Андреевна отвечала коротко и сухо. И вот — Цветаева вернулась в Москву из эмиграции. Муж в тюрьме, дочь в ссылке, жизнь загнала в угол — Марину держат на плаву остатки воли и ответственность за жизнь сына-подростка. Казалось бы, этих женщин должно объединять многое…

В доме Ардовых произошло короткое знакомство с холодными общими разговорами и быстрым уходом Ахматовой — она торопилась на спектакль.

Не удовлетворенная таким общением, Марина попросила Анну Андреевну о личной встрече. На следующий день две легендарные женщины, наконец, оказались одни в маленькой уютной комнате, которую всегда занимала Ахматова у Ардовых, приезжая в Москву.

Разговор длился полтора часа. Цветаева вышла из комнаты с пунцовым перевернутым лицом и тут же ушла, отказавшись от предложенного хозяевами угощения.

Позже Ахматова записала: «Когда в июне 1941 я прочла М.Ц. кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41-м году

писать об арлекинах, коломбинах и пьеро». Речь, видимо, шла о набросках первой части «Поэмы без героя» «Девятьсот тринадцатый год. Петербургская повесть», где в сцене потустороннего маскарада кружат давно ушедшие персонажи «ахматианы».

Между тем Марина была в эти дни глубоко несчастна — кое-как перебивалась с сыном по чужим углам, переводила как каторжная, чтобы заработать копейки. От руки переписала для Ахматовой свою «Поэму воздуха», но, видимо, не была обласкана величавой Анной Андреевной. Почему же Ахматова, так щедро расточавшая помощь даже мало знакомым людям, осталась равнодушна к Цветаевой, очевидно нуждавшейся в поддержке? Ведь, возможно, доброе слово «самой Ахматовой» дало бы измученной женщине силы жить дальше. Но Ахматова, заласканная дружеской помощью, признанием и преклонением бесчисленных друзей, не сумела понять так близко прошедшего, молившего о понимании горя. И когда через два месяца узнала о самоубийстве отчаявшейся Марины, восприняла сообщение как должное — естественный финал истерички.

Этот эпизод символичен для понимания привязанностей Ахматовой и природы ее щедрости. Ей нужны были не столько приятели, сколько фанаты, она щедро расточала помощь из последних средств кому угодно, но, скорее, рисуясь безмерно щедрой, чем по зову сострадательного сердца. Сердце у нее было мудрое — отлично понимающее расстановку сил, но не чувствительное — бесслезное, эгоистичное. Создается впечатление, что в людях Анна Андреевна больше всего любила свое отражение — ценила их как зеркало собственного неподражаемого величия.

А обиду на реплику Цветаевой о «неуместных пьеро и коломбинах» она запомнила на всю жизнь.

Часть шестая

«Нет! и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был».

Анна Ахматова

Глава 1
«Птицы смерти в зените стоят Кто идет выручать Ленинград?» А.А.

Этот воскресный день запечатлен в сотнях кинокадров, милых летних фотографий, в памяти всех, чьи усталые сердца еще бьются. 22 июня 1941 года солнечную цветущую благодать разделила черная стена страшной беды — на теплое живое «было» и страшное, могильным холодом объявшее «есть», на мир и войну, на жизнь и смерть.

Речь Молотова, оповестившего о начале войны с фашистской Германией, несла страх и недоумение. Как это так — ни с того ни с сего? После подписания мирного договора? Ведь ничто не предвещало войны? (О тех, кто не только предвещал, но и точно указывал время нападения Германии, знали лишь наверху.) Враг застал великую страну врасплох. Сводки о военных действиях молниеносно продвигавшегося противника повергали советских людей в шок.

В середине июля в Москве началась эвакуация писателей и их семей. Ленинград действовал медленней. 30 августа немецкие войска перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город с Большой землей. Возможность эвакуации в тыл отпала сама собой — ловушка захлопнулась, началась блокада. Никто пока не представлял, чем обернется для миллионов ленинградцев это слово. Через три дня начался первый артобстрел города, еще через день бомбежка. Ленинградцы, от мала до велика, поднялись на защиту своего города.

Бесстрашная Ахматова с другими мужественными женщинами рыла окопы вокруг города, ловила фугаски на крышах домов… Так писала в репортажах о героизме ленинградских писателей Ольга Берггольц. Да и сама Анна Андреевна в преклонные годы искренне поверила в свою причастность к обороне Ленинграда.

Нет! и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Эти строки, касающиеся охваченной репрессиями предвоенной страны, в послевоенные годы приобрели глобальный

характер: героическая поэтесса была во всех бедах, выпавших на долю ее народа.

Однако с участием Ахматовой в защите блокадного Ленинграда ситуация была совсем иной… В первый же день бомбежки и без того обезумевшая от постоянного страха Анна попросила своих друзей Томашевских забрать ее к себе, жалуясь на то, что Пунин якобы переселил всю семью в подвалы Эрмитажа. В доме же Томашевских на канале Грибоедова имелось почти настоящее бомбоубежище. Верные друзья, долгое время несшие ответственность за «подкармливание» голодавшей, незамедлительно забрали Анну из Фонтанного дома, заметив, однако, что Пунины оставались в квартире.

Страх Ахматовой был так силен, что после первой же бомбежки она отказалась выходить из бомбоубежища. Томашевские, уговорив дворника принять жилицу, спустили в подвал тюфяк.

17 сентября Анна Андреевна попросила дворника сбегать за пачкой «Беломора» и вскоре узнала, что он убит разрывом снаряда. Почти животное желание немедля бежать оттуда завладело испуганной женщиной.

Энтузиастка Ольга Берггольц, писавшая статьи о бесстрашии советских писателей, вставших на защиту Ленинграда, застала Ахматову в панике и бросилась спасать ее. Опытная Берггольц хорошо распланировала операцию переправки Анны Андреевны на Большую землю. Немедля передала в редакцию «Ленинградской правды» ура-патриотические стихи «Вражье знамя» и добилась разрешения в горкоме партии на выступление Ахматовой по ленинградскому радио. До радиокомитета Ахматова добираться побоялась. Записи были сделаны в квартире Зощенко, находившейся в том же доме. Завершалось выступление написанным в июле 1941 года стихотворением «Клятва»:

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Слово Ахматовой, обращенное к ленинградцам, прозвучало внушительно.

Через два дня она уже летела вместе с Зощенко в Москву, как считали, последним самолетом. До конца жизни Анна Андреевна полагала, что ее вывезли из блокадного Ленинграда по приказу Сталина. Неоднократно с гордостью повторяла: «И тогда Сталин прислал за мной военный самолет». Этот пассаж относится к тем

же завиткам в легенде победительницы, что и бесконечные брачные предложения со стороны самых достойных мужчин. Очевидно, близость к власти, даже кровавой и проклинаемой, льстила женскому и поэтическому тщеславию.

25 сентября Пунин, с которым она не успела проститься, записал в дневнике:

«Вечер, 11 часов. Час тому назад была короткая «воздушная тревога»; теперь тихо. <…> Днем зашел Гаршин и сообщил, что Ан. послезавтра улетает из Ленинграда. (Ан. уже давно выехала отсюда и последнее время жила у Томашевского в писательском доме, где есть бомбоубежище. Она очень боится налетов, вообще всего.) Сообщив это, Гаршин погладил меня по плечу, заплакал и сказал: «Ну вот, Николай Николаевич, так кончается еще один период нашей жизни». Он был подавлен».

Что и говорить, Николай Николаевич Пунин, проведший рядом с Ахматовой почти десятилетие, переживший и влюбленность, и разлуку, и отчаяние арестов, и страх за ее жизнь, был достоин хотя бы прощальной весточки, если не дружеского объятия. Акума очень торопилась, страх гнал ее прочь из обстреливаемого Ленинграда, так что и вспомнить об оставшейся семье, в которой жила столько лет, пришлось только в самолете. Глядя с высоты на обреченный город, Анна Андреевна писала:

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть…

Из Москвы Ахматова благополучно добралась через Чистополь и Казань в Ташкент. Дом, в котором ее разместили, был расположен в самом центре города. Местных жителей выселили, превратив обычное жилое строение в общежитие для эвакуированных деятелей культуры. Одинокой Ахматовой была выделена небольшая комнатка с отдельным выходом. Она сразу назвала свое новое жилье «лепрозорием», хотя условия здесь были куда лучше, чем у многих семей, ютящихся в углах за перегородками из простыней.

Ахматова, обладавшая полной бытовой беспомощностью, не претендовала на особый комфорт. Ей и в голову не приходило комплексовать из-за того, что она никогда не умела облегчить себе или другим условия жизни. Врожденная надмирность поэта, вернее, некое барство и уверенность в том, что всегда найдется кто-то, обеспечивающий необходимым, выносящий помои, делающий постирушку, — позволяли поэтессе сохранять покойную созерцательность. Помимо верной подруги Лидии Корнеевны Чуковской и новой знакомой Фаины Раневской, обожествляемую поэтессу быстро окружили товарки из числа бездетных писательских жен. «Свита» следила за тем, чтобы вовремя накормить, постирать, вымыть пол, вынести мусорное ведро в «лепрозории» Ахматовой. Она же, беспомощная в быту, с легкой пренебрежительностью относилась и к зарабатыванию денег. Когда А. Н. Тихонов нашел Ахматовой хорошую отдельную квартиру, она категорически отказалась:

— Платить дорого! Где я возьму эти двести рублей?

— Да вам стоит в месяц переводить по подстрочнику двадцать строк узбекских поэтов! — побагровел Тихонов.

— Мне пока приходилось переводить только статьи. Я не умею переводить стихов! — возмутилась Ахматова на такое унизительное предложение.

— Вы просто не пробовали!

Когда, уступив настояниям окружающих, Анна Андреевна все же попробовала взяться за переводы по подстрочникам, получилось в самом деле не слишком удачно. «Когда сочиняешь сам — рифма помогает, когда переиначиваешь чужое — она становится орудием пытки», — справедливо жаловалась она. В послевоенные годы жизнь заставит Ахматову переводить много, и хотя мастерства перевода не прибавится, редакторы и друзья будут делать все возможное, чтобы переводы от Ахматовой оплачивались по высшему разряду и получали высокую оценку издательств…

Два с половиной года, прожитые в Ташкенте, Ахматова назовет «волшебными».

Я восемьсот волшебных дней
Под синей чашею твоей,
Лапислазурной чашей
Тобой дышала, жгучий сад…

И это — о грязном, душном, переполненном беженцами Ташкенте?

Какой же волшебный кристалл преобразил взгляд Анны

Андреевны на мир? Конечно же, всесильная оптика влюбленности.

Все время пребывания в ташкентской эвакуации Ахматова, неоднократно тяжело болевшая, переживавшая гибель друзей, подавленная военными ужасами, провела как на качелях — то погружаясь в немощь, отчаяние, старость, то, как Феникс из пепла, возрождаясь, взмывая в небеса, молодея, наполняясь силами, вдохновением. Эффект, знакомый всем, знавшим эйфорию влюбленности, женщинам. Причина очарованности Ташкентом крылась в Алексее Федоровиче Козловском — молодом щедро одаренном музыканте и композиторе. Именно Козловский стал героем той «странной лирики, где каждый шаг — секрет». Правнук знаменитого на всю Европу виолончелиста Козловского, сосланный в южную провинцию в 1936 году, осел с женой в Ташкенте. Работа дирижером в местном драматическом театре, успешные постановки опер, написанных Козловским по мотивам национальных легенд, поддерживали вполне приемлемое благосостояние семьи.

На празднование нового 1942 года Ахматова получила приглашение в дом Козловских, где собирался цвет ташкентской эмиграции. Благоухал настоящий узбекский плов, приготовленный знатоком, витали упоительные фортепианные пассажи второй симфонии Бетховена. Отворив двери, Анна Андреевна окунулась в эту райскую атмосферу и на мгновение застыла. Звуки тут же умолкли — хозяин, оторвавшись от фортепиано, бросился к гостье, поспешно снял с нее тоненькую шубку и залюбовался: «Так вот вы какая!»

«В тоне его молодого голоса, в выражении детского восторга на ошеломляюще красивом лице было нечто, тут же преобразившее Ахматову. Как по мановению волшебной палочки она вмиг расцвела, улыбнулась, развела руками и шутливо ответила: «Да, вот такая, какая есть».

Алексей Федорович поцеловал ей руку, сначала одну, потом другую. И потом так уж повелось, что при встрече и прощании он целовал ей обе руки. Она направилась к печке, стала спиной к ней и начала греть руки. Все увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие». Это воспоминания жены Козловского Галины Логвиновой.

В феврале 1942 года запомнился Галине один сырой ветреный вечер. «Вести с фронта были печальными. Анна Андреевна пришла почти в сумерках. Войдя, она сказала почти повелительно: «Сядьте, я хочу прочесть то, что написала вчера». Это было стихотворение «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Отзвучал голос Ахматовой, никто не решался нарушить благоговейную тишину.

«Она понимала, что мы не могли заговорить обычными словами восхищения, — вспоминает Логвинова. — Этот стих был как отлитый колокол… Алексей Федорович поцеловал ей руки и, сидя рядом, молчал… Потом, присев перед ней и глядя ей в лицо, спросил: «Что вы сегодня хотите?» Она ответила: «Давайте сегодня побудем с Шопеном». Он много в этот вечер играл, больше всего этюды — эти самозабвенные порывы славянской гордости и любви. Играл хорошо, словно в концертном зале. Как часто бывало в те времена, погасло электричество, и Алексей Федорович играл при свете старого индусского светильника…»

Глава 2
«В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». А.А.

Козловский пошел провожать Анну Андреевну через весь город — душный, кишащий ночными ворами и попрошайками, тонущий в грязи и помоях. Но музыкант знал, какую Азию он должен открыть чудесной гостье. Он водил ее по темным старинным улочкам, пропахшим дымом и бараньим салом, и наконец привел в дом, который снимал до войны, — деревья в благоуханном цвету, виноградные лозы, розовый куст, арык, вдоль которого струился аромат кустов всех сортов мяты…

Этот «рай» Анна Андреевна запомнит навсегда, как и самого волшебника-музыканта. Лунный свет и тени в тихом ночном саду, далекое пение флейты, перестуки бубна… Молодой мужчина — талантливый, влюбленный, прекрасный — благоговейно коснулся ее губ…

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.
(…)
И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой…

Какой мерой измерять влюбленности Ахматовой? Той, что она сама устанавливает в стихах. Каждая — неповторимая, каждая — единственная, и не применимы к ним никакие

житейские мерки — ни возраста, ни семейной морали, ни обстоятельств, всегда стоящих за спиной обывателя. Чистая поэзия в преображенном поэзией мире. Такой голос дается избранным, и не стоит его совмещать с женщиной из плоти и крови. Она не героиня, она не трудоголик, она не альтруист, она не идеал правдивости и стойкости. Она едина в двух лицах — повзрослевшая Анна Горенко и уникальный поэтический инструмент по имени Анна Ахматова.

Ташкентская любовь принесла ей свой щедрый дар.

С рождения далекая от мира музыки, Ахматова внутренним слухом улавливала мелодику стихов, как бы даримую ей свыше. Удивительная способность — при полном отсутствии музыкальности и неприобщенности к музыкальной культуре. Эта сфера, являвшаяся для Пастернака, Цветаевой, Мандельштама одной из главных составляющих мировосприятия, была закрыта для Ахматовой. Она ощущала себя раздраженно-непонимающей на музыкальных концертах, которые посещала с крайней неохотой, скрывая от друзей свою «глухоту», как ущербность.

Козловский понял сразу, что в отношении музыки божественная Ахматова — полный инвалид. За два с половиной года он наверстал то, что было упущено, — научил Анну Андреевну слышать и понимать музыку. С тех пор слово «музыка», никогда прежде не упоминавшееся, не сходило с ее уст. А образ волшебного музыканта, зашифрованный в разных героях, никогда не будет ею забыт.

Стихи «Мужество», опубликованные 8 марта в «Правде», подняли статус Ахматовой настолько, что в мае 1943 года в Ташкенте вышел ее сборник «Избранное». Все это время она писала, завершила третью часть «Поэмы без героя», над которой еще будет работать, вплетая новых героев и тексты, составила цикл «Луна в зените» (1942–1944), отражающий жизнь в эвакуации. «Луна в зените» — одно из наиболее живописных произведений Ахматовой. К прежним особенностям поэтики здесь ощутимо подключено музыкальное начало. Построение композиции, держащейся на чередовании мотивов и образов, возникающих за внешними рамками стихотворения. Полусказочная, таинственная Азия, ее «рысьи глаза» в ночном мраке, горький дым ее очагов, ее пестрые сказки — вот начальный мотив этого цикла, разом переносящего нас от военных тревог в мир «восточного покоя». Конечно, покой этот иллюзорен. Его взрывает тема памяти — одна из главнейших в ее лирике военных лет.

В годы войны читатели знали в основном «Клятву» и

«Мужество», печатавшиеся в газетах. Но помимо этих действительно прекрасных произведений, полных живой боли за страну и ее народ, Ахматова написала много других, пронизанных мыслями о войне. Ее Ленинград — в ее сердце, голос набухающей энергией звучит струной чистого патриотизма:

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена! Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все! Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Глава 3
«Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена». А.А.

Еще в 1941 году Анна получила весточку из блокадного Ленинграда. Письмо от Пунина! Позже дочь Пунина Ирина рассказала, что на почве дистрофии у отца возникла неизлечимая флегмона, но усилиями ленинградских врачей он остался жив, медленно возвращались память и силы. В дни просветлений он неотрывно думал об Анне и позже записал свое послание: «Увидеть вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитываю, это было бы действительно предсмертное с вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось особенно ценным, — а той органичностью, то есть неизбежностью, которая от вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, то есть всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным…»

В апреле 1942 года едва окрепшему Пунину с семьей удалось эвакуироваться через Ташкент в Самарканд, и он вскоре приехал навестить Анну. Произошло трагическое совпадение: внезапно, без всякой видимой причины, именно в этот день скоропостижно скончалась в Самарканде жена Пунина. Анна Андреевна искренне ее оплакивала, считая, что смерть случилась от крайней усталости и истощения жизненных сил. Вполне реалистическая трактовка. А как же столь любимый ею момент вмешательства судьбы? Пережившая блокаду, в целом здоровая женщина (насколько это определение подходит к пережившим блокаду), скоропостижно умирает в тот момент, когда ее с такими муками возвращенный муж вновь уезжает к любовнице? А если надломленная психически в блокадном Ленинграде Анна Евгеньевна, бесспорно, имевшая необходимые для сведения счетов с жизнью медикаменты, наконец решилась разорвать столько лет мучивший ее треугольник? О подобной нелепости Анна Андреевна думать отказывалась.

Письмо Пунина — одна из ценнейших реликвий Ахматовой, она носила его, постоянно перечитывая, в сумочке с документами до последнего дня. Искала ответы на вопросы, которые сама себе

задавала: что зависело от нее в этой жизни, что свершилось усилием воли? А что по высшему предписанию? Разные делала выводы. Но слова Пунина, оправдывающие даже те повороты ее судьбы, которые ранее он не мог принять, казались верными. Ушла от Шилейко к Пунину? Так Шилей — психически ненормальный тип. Нарушила жизнь чужой благополучной семьи? Так в лучшую сторону! Николай возродился, повзрослел, пережил, конечно же, единственное в его жизни подлинно высокое чувство к женщине. И жизнь Гаршина озарила светом своей исключительности! Кем бы он был без нее? Кто бы о нем вспомнил? Пунина, конечно, пришлось отодвинуть. Про Недоброво, Анрепа и других он, к счастью, не знает. А знал бы — понял: не Анна выбирала — они сами, как и Павлик Лукницкий, пришли к ней волей Господа, чтобы дать свежее дыхание Музе. Гумилев… Этот вопрос куда сложнее. Потому как и равного ему больше не было. И по дару, и по своеобразию, и по силе характера. Оба они — Король и Королева, только из совсем разных сказок, вместе не складывающихся.

Анна Андреевна не всегда умела или, скорее, хотела отличить веление провидения от собственного каприза, а эгоистическое желание сделать нечто вопреки понятиям о личной чести и совести объясняла происками злокозненного рока, вынужденной необходимостью. Житейский мусор, видимо, не помеха Дару. Ведь голос Музы звучал, рождая прекрасные песни, в калейдоскопе поэзии возникали причудливое узоры, превращавшие банальный сор в драгоценные слитки.

Щедрость Анны Андреевны в эти годы поражала многих — она без колебания делилась последним (огорчая Лидию Корнеевну, с трудом добывшую для Анны молоко или крупу), помогла прикрепиться к писательской столовой осиротевшему сыну Цветаевой Муру, обласкала его достойным обхождением. Шестнадцатилетний вундеркинд, слабый, не приспособленный к жизни, болезненно амбициозный щеголь очень понравился гордой немногословной даме — в отличие от его покойной матери, жившей последние годы на обрывках нервов, считавшей жалкие копейки, чтобы не оставить голодным сына. Его дневниковые записи об Ахматовой полны уважительного восхищения — так величаво, широко и должен вести себя настоящий поэт. Георгий Эфрон, наделенный множеством способностей, обещал стать крупным ученым-филологом, но, призванный в армию, неуклюжий и ранимый, скоро погиб в бою «у незнакомого поселка на безымянной высоте».

Ахматова была щедра, не задумываясь, откуда бралась

нехитрая снедь на ее столе. А деньги ей и вовсе были не нужны. Они появлялись, стоило лишь намекнуть кому-то из «свиты» о потребности одарить кого-то. Всеми любимая, окруженная заботой, озаренная светом восхищения незаурядного человека, она чувствовала себя в Ташкенте вполне уютно.

Самой большой болью Анны Андреевны в годы эмиграции оставалась тревога за сына. Ее друзья — Павел Антокольский, Виктор Шкловский, Корней Чуковский, получившие похоронки на своих сыновей, вероятно, предпочли бы сохранить их жизнь за колючей проволокой ИТЛ. Но каково там Льву? Анна тревожилась за него — северные трудовые лагеря не курорт, а открытки от Левы приходили крайне редко.

Нечасто баловал ее известиями и Гаршин. В октябре 1942 года Анна Андреевна получила от него телеграмму, сообщавшую о смерти его жены. И тут же заболела сама — тяжелая форма тифа почти не оставляла шансов на спасение.

> А я уже стою на подступах к чему-то,
> Что достается всем, но разною ценой…
> На этом корабле есть для меня каюта
> И ветер в парусах — и страшная минута
> Прощания с моей родной страной.

Осмотрительная концовка — впервые как бы последнее «Прости!» уходящей из жизни адресуется не единственному другу, а родной стране.

Но она выкарабкалась. Выздоровление совпало с великой радостью — 18 января 1943 года была снята блокада Ленинграда. Приехавшие в Ташкент ленинградские знакомые рассказали, что, потеряв жену, Гаршин находился на грани смерти от дистрофии, но сумел выжить. Анне лишь осторожно намекнули, что он сильно изменился — сломлен, вернее — психически надломлен.

В 1943 году от Гаршина пришло письмо с предложением руки и сердца. Он даже смог дозвониться ей, чтобы спросить, согласна ли Анна при регистрации взять его фамилию. Анна Андреевна восприняла все столь серьезно, что в разговорах стала называть Гаршина «мужем». В феврале 1944 года Пунин записал в дневнике: «По-прежнему (как летом) говорила о Гаршине — «мой муж». Я не очень понимаю, что это значит. Это все-таки «комедь», как говорит маленькая Ника. <…> «Мой муж», вероятно, для того, чтобы я ни на что не рассчитывал. Я ни на что и не рассчитываю. Помню ее как «звезду». И все. «Точка».

В письмах Гаршин твердо определил семейное будущее с Анной Андреевной: немедленное заселение в новую квартиру

ведомственного дома, построенного для выдающихся работников здравоохранения. Анна Андреевна стала добиваться выезда в Ленинград. Напрасно отговаривали ее друзья, объясняя, что в разрушенном голодном Ленинграде даже выбитые окна закрыть нечем, а уж строительства новых домов еще долго не предвидится.

Анна Андреевна, возродившаяся после тифа — помолодевшая, в приподнятом настроении невесты, не дождавшись вызова от Гаршина, решила ехать в Москву, а оттуда — в Ленинград. Друзья, кормившие Ахматову во время болезни, преуспели: после тифа она пополнела, отрастающие после бритья волосы — почти сплошь седые, но по-прежнему густые, — стала зачесывать назад пышной копной. Все поражались: вместо полудевушки-полустарушки с пегой челкой над костлявым лицом на них смотрела величественная дама в серебристой седине с гордо вздернутым пухлым подбородком. Екатерина Вторая!

Глава 4
«Никого нет в мире бесприютней И бездомнее, наверно, нет». А.А.

Зимой 1944 года у Анны обострился бронхит, снова забарахлило сердце, и все планы на новую жизнь вдруг испарились в одночасье. Она опять стояла у черты. И вновь Муза дала ей звонкий, прощальной чистотой насыщенный голос:

И комната, в которой я болею,
В последний раз болею на земле,
Как будто упирается в аллею
Высоких белоствольных тополей.
А этот первый — этот самый главный,
В величии своем самодержавный,
Но как заплещет, возликует он,
Когда, минуя тусклое оконце,
Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце,
И смертный уничтожит сон.

Но она снова победила! 13 мая 1944 года Ахматова прилетела из Ташкента в Москву. Здесь выступила на вечере, устроенном в зале Политехнического музея. Прием был такой бурный, что она даже испугалась. При ее появлении зал встал. Говорят, когда Сталин узнал об этом, строго спросил: «Кто организовал вставание?»

Несколько раз из Москвы Ахматова говорила с Владимиром Георгиевичем по телефону и 31 мая выехала в Ленинград.

Близкие люди знали, что она предполагала поселиться с Гаршиным в обещанной ему новой квартире на Кировском проспекте. Однако ни квартиры, ни даже нового дома к приезду Ахматовой, естественно, еще не было, о чем ей робко намекали. Амбициозная дама не желала ввязываться в бессмысленные споры — ей все известно лучше всех, из первых уст. Вместе со своими друзьями Ахматова вышла из поезда на платформу Московского вокзала, и тут произошла встреча, показавшаяся сопровождавшим Анну Андреевну оскорбительным розыгрышем.

Гаршин преподнес ей цветы, поцеловал руку и деликатно поинтересовался:

— Куда вас отвезти, Анна Андреевна?

— Что-то случилось? — не поняла она, настораживаясь.

Он посмотрел как-то удивленно, пожал плечами, нахмурился:

— Ровным счетом ничего. Ничего не произошло. Вы прибыли, и я должен вас куда-то доставить.

Мгновение висела пауза. Для Анны Андреевны что-то прояснилось. Но не до конца. Во всяком случае, она имела полное право вспыхнуть:

— В таком случае — прощайте! Доберусь без вас.

Он откланялся, повернулся и ушел. Анна Андреевна спокойно сообщила ожидавшим ее спутникам:

— Все изменилось. Я еду к Рыбаковым.

С помощью попутчиков Ахматова добралась до дома вдовы и дочери своего старого знакомого А. И. Рыбакова.

Две недели она ждала перевода из Ташкента пенсионного обеспечения, и все это время Гаршин приносил еду в судках из ведомственной столовой. Анна Андреевна благодарила «помощного зверя», но ни о чем не спрашивала. Наконец не выдержала:

— Владимир Георгиевич, может, вы, в конце концов, объясните, что изменило ваше отношение ко мне настолько, что вы забыли сделанное вами мне предложение?

Он смутился, опустив глаза, нервно смял в руках шляпу.

— Ах, понимаете… Я был несколько… Несколько рассеян и под впечатлением момента говорил нечто, возможно, несуразное… Так хотелось видеть вас!

— Что?! — Анна Андреевна, потрясенная, рухнула на стул. — Вы… вы хоть понимаете, в какое неловкое положение меня поставили? Меня! Женщину с таким именем!

— К вашему знаменитому имени возникшая ситуация никакого отношения не имеет, — четко парировал Гаршин.

Она несколько мгновений дышала открытым ртом, успокаивая взрыв ярости. И все же возмущение прорвалось: она высказала все, что копилось в ее душе эти две недели после вокзальной «невстречи».

Бледнея, Гаршин стоял недвижим, потом, найдя в себе силы, молча удалился — не простившись ни с ней, ни с хозяйками. Считается, что после этой сцены Ахматова навсегда вычеркнула его из жизни.

Немного позже ситуация прояснилась. Поговаривали, что, не ставя никого в известность, Гаршин женился на своей молоденькой медсестре! Но сплетни исказили реальность — его новая жена, доктор наук, была немногим младше Ахматовой. Однако это не уменьшило страданий обманутой влюбленной. Со временем выяснились и другие подробности жизни Гаршина…

В конце сентября 1941 года, когда Ахматова уехала в эвакуацию в Ташкент, Владимир Георгиевич остался в Ленинграде. Остался с городом, где жил еще звук их «шагов в эрмитажных залах». Друзья и сослуживцы вспоминали Гаршина, собравшего все свои силы для жизни и работы в блокадном городе. Он стал, по сути дела, главным патологоанатомом Ленинграда. К его прозекторской свозили трупы из военных госпиталей и со всех краев города. Он преподавал, проводил вскрытия, вел научную работу. Он проводил на фронт сыновей, пережил смерть жены, перенес тяжелую форму дистрофии. Он испытал на себе, как мучительна пытка голодом, записал наблюдения: «суживается круг интересов, и у человека как бы «тускнеет» сознание под властным и неумолимым желанием — инстинктом сохранения жизни». Как биолог, профессор Гаршин понимал это, как врач — сострадал людям, как интеллигент — был унижен и стыдился этих перемен в себе. В нечеловеческих условиях он старался помогать друзьям.

Сознание голодающего и созерцающего смерть нашло спасение в страсти более сильной, побеждающей смерть, — коллекционер Гаршин превратился в фанатика. Во время блокады он одержимо занимался коллекционированием, пользуясь возможностью дешево приобретать ценности у тех, кто был готов менять их на хлеб. Им руководили не алчность и не жажда наживы — мощная сила всепоглощающей идеи, спасающая психику человека, ежедневно разгребающего завалы трупов, хоронящего родных и близких. Знакомая Ахматовой поделилась с ней: с тех пор как она случайно сказала Гаршину, что имеет коллекцию старинных монет, он совсем перестал говорить с ней об Анне Андреевне, поглощенный мыслями о коллекции.

Война в какой-то степени парализовала душу Владимира Георгиевича, он чувствовал теперь себя иным, самому себе неизвестным, с чужой эмоциональной жизнью. Привыкший принимать на себя тяжесть горя и ужаса родственников умерших, Гаршин ощущал, что нынче «все меры превзойдены». Невыносимая боль перешла в душевную анестезию.

Ахматова, жившая в Ташкенте в постоянной тревоге об оставшихся за тремя фронтами «городе и друге», все же не могла осознать до конца меры страданий людей, мучительно умирающих в осажденном городе…

О состоянии Гаршина после расставания с Ахматовой можно судить по его письму от 26 июня 1944 года, адресованному Щепкиной-Куперник и Зелениной: «…Жизнь сейчас на переломе. В эти дни переезжаю на старое пепелище — домой на Троицкую (я жил три года в лаборатории). Кончается своеобразный период.

Дома, где все связано с Татьяной Владимировной, мне тяжело. Мира нет в душе, не знаю, будет ли. И это не дает возможности создавать что-то новое. Как-то сразу пришла психологическая старость, а впрочем, и пора: мне сейчас 57 лет. Дело не в годах, а в отношении к жизни и людям. Отошли, отпали мелочи и суетность, очистились отношения к людям…»

Кто-то из недоброжелателей рассказал Ахматовой, что Гаршин для пополнения своей коллекции занимался в блокаду «кабальными» обменами. Она искренне поверила этому.

В материалах НКВД, основанных на донесениях осведомителей, зафиксировано: «В эвакуацию уезжала невенчанной женой профессора Гаршина — ему посвящено много строк в «Поэме без героя». Он посылал ей деньги в Ташкент до 1944 года, а когда она вернулась в Ленинград, встретил ее холодно, даже к себе не пригласил. Жить было негде, но сжалился Пунин и пригласил на свою жилплощадь».

Если душевную слабость доктора Гаршина можно было понять, то его измены Анна простить не могла. Она убедила себя в том, что Гаршин сошел с ума. 6 августа 1944 года она послала своей московской подруге Н. А. Ольшевской телеграмму: «Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».

Владимир Георгиевич Гаршин остался в поэзии Анны Ахматовой. Остался в явных посвящениях и скрытых аллюзиях.

…А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет, —
Уже бредет как призрак по окрайнам,
По закоулкам и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем,
С оскалом волчьим… Боже, Боже, Боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!

Оставь мне жалость хоть… Считается, что больше они не виделись. Но судьба поставила в финале этой истории выразительную точку. 20 апреля 1956 года Ахматова, перебирая реликвии, заметила на брошке-камее под названием «Клеопатра», подаренной Гаршиным, глубокую трещину. Позже оказалось, что именно этот день стал днем его смерти.

Незадолго до кончины он записал в своем дневнике: «На стереотипный вопрос о том, как я себя чувствую, мне хотелось бы ответить словами Анны Андреевны:

И была эта тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут».

Глава 5
«Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда». А.А.

Ахматова снова поселилась у Пунина — вернее, по месту законной прописки, в Фонтанном доме. Только теперь у Анны Андреевны было большое пособие и привилегии — правительство оценило ее военный патриотизм. Она награждена медалью «За оборону Ленинграда». Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. В 1945 году вернулся Лев Гумилев. Из ссылки, которую он отбывал с 1939 года, ему удалось добровольцем вырваться на фронт и вернуться из побежденного Берлина с наградой.

Осенью 1945 года, после семилетнего отсутствия, даже не предупредив телеграммой, внешне почти неузнаваемый, Лев возник в дверях квартиры Фонтанного дома. Они стояли друг против друга — мать и сын, с трудом пробиваясь сквозь незнакомые черты. Лев не узнавал в седой, величественной женщине с поднятыми надо лбом волосами и осанистой фигурой худую, издерганную мать. Казалось, Ахматова возродилась из пепла для новой жизни. А она с комком в горле хоронила в памяти кудрявого мальчика, которого вместе с Николаем навещала в Бежецке тогда — на сломе хребта Российской истории. И все твердила крутившиеся в памяти строки «Колыбельной», написанной в 1915 году:

Младший сын был ростом с пальчик, —
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да Хранит святой Егорий
Твоего отца.

Про горе накаркала, да и святого Егория зря просила — в бою Николая уберег, а от красной нечисти, видно, не было у небесной рати заслона. Мальчонку совсем не узнать — грубое, заросшее лицо, ввалившиеся, настороженные, с закоренелой злостью глаза.

— Левушка! Едва узнала… — Она неловко обняла его поверх шинели и вещмешка. Пахнуло чужим — немытым телом, задубелой одеждой.

— Да и ты изменилась… — Он скребанул небритой щекой ее губы.

— Заходи… Тебе, наверно, воды согреть надо?

— Не суетись, я сейчас к Витьке пойду. Он на войне ногу потерял.

И ушел сын, прихватив из вещмешка пару банок американской тушенки.

Анна опустилась на стул у двери, еще ловя витавшее на лестнице эхо своего голоса:

— Ты надолго… Долго… долго…

Всегда он уходил надолго. Лев менялся на воле, но не по отношению к матери. Ожесточаясь, отдаляясь внутренне, он становился все более чужим и вместе с тем приближался, проявлялся в крошечных деталях тот навсегда потерянный пятилетний малыш, осторожно трогающий маленькими пальчиками Георгиевские кресты отца.

Сразу же, не выраженная словами, определилась линия отношений: мать — холеная, задобренная властями советская барынька и сын — каторжник, изгой, гнивший в лагерях по ее милости, всеми забытый, никому не нужный. Сорокадвухлетний человек с искореженной психикой, измученный физически и душевно, не был готов к проживанию в чужой, по сути, семье, давно уже невзлюбив всех ее членов. Возвращение долгожданного сына больше встревожило, чем порадовало Анну Андреевну — холодком отстраненности и даже враждебности веяло от этого измученного мужчины…

Лев поспешил уйти к оставшимся в живых друзьям, а она металась по квартире, пытаясь сообразить, как все же надлежит отметить встречу. Тут позвонили из посольства — ласковый голос просил о встрече: с Ахматовой желал познакомиться литературовед Исайя Берлин. Благодаря хорошему знанию русского языка тридцатишестилетний Исайя Берлин осенью 1945 года появился в Москве в ранге второго секретаря британского посольства. Составляемые им еженедельные аналитические сводки по публикациям советской прессы с большим интересом изучал премьер-министр Великобритании У. Черчилль. В России Берлин встречался с выдающимися деятелями культуры —

Сергеем Эйзенштейном, Борисом Пастернаком, теперь пришла очередь Анны Ахматовой.

Анна Андреевна, в растрепанных чувствах в связи с приездом сына, не колеблясь, ответила спокойному, бархатному голосу в трубке: «Приходите прямо сейчас!»

Пришли двое — советский «переводчик» с тем самым голосом и светскими манерами и коренастый, хронически улыбчивый чернявый юноша-джентльмен с цветком фуксии, который представился: «Берлин!»

Исайя — человек блестящей эрудиции, остроумия и всепокоряющего обаяния — был на двадцать лет моложе Ахматовой. Непревзойденный собеседник, он считался специалистом по общественному мнению. Встреча с ярчайшей представительницей российской культуры была для него чрезвычайно важна. Открывшая Берлину дверь женщина в сиянии серебристого нимба, укутанная в белую шаль, показалась ему в ночной гулкой квартире темного, разрушенного города духом самой всепобеждающей поэзии. Целуя руку, он слегка задержал в своей ее пальцы, с явным удовольствием эстета оценивая их длину и форму.

Редко кто мог устоять против обаяния Берлина, и не было мужчин, способных сопротивляться чарам Акумы, если она этого хотела. И он, и она отдавали себе отчет в том, что контакты с иностранцами в послевоенном Ленинграде для таких заметных людей, как гость и его хозяйка, не могли проходить без надзора НКВД.

Во время беседы Берлин с ужасом услышал, как кто-то во дворе зовет его по имени. Оказалось, это Рэндальф Черчилль — сын Уинстона Черчилля, журналист, изрядно подвыпивший, разыскивал приятеля. Момент опасный и для Берлина, и для Ахматовой. Ведь за мокрыми кустами сквера наверняка дежурил «топтун». Личную встречу еще можно было бы «пропустить», но пьяного сына премьер-министра, кричащего ночью во дворе, сложно не заметить. «Переводчик» замял инцидент, исчезнув вместе с громкоголосым англичанином, тем более что Исайя прекрасно говорил по-русски.

Оставшись вдвоем, Исайя и Анна открыли в себе несокрушимую силу взаимопритяжения, отметающую всякую осторожность, пренебрегающую чувством опасности. Беседа уносила в ирреальные пространства. Огромное впечатление произвел этот гость из другого мира на Анну Андреевну. Исайя Берлин воплощал для нее свободный, отвергнутый ею и все же предвкушаемый Запад. Ахматова воплощала для него порабощенную, заблудшую, но все еще поэтическую Россию —

великую русскую душу. Они провели ночь в разговорах, загипнотизированные абсурдностью происходящего: коммуналка внутри старинного дворца; агенты, следившие за входом; сын Ахматовой, только что вышедший на свободу; сын Черчилля, нашедший Берлина у Ахматовой…

Исайя успел заворожить Анну, она же сделала все, чтобы произвести ошеломляющее впечатление: читала Шекспира по-английски, Данте по-итальянски, свои стихи — на родном языке…

Расстались они, переполненные эмоциями. В три часа ночи домой вернулся Лев, весьма подозрительно отнесшийся к гостю матери. Иностранный журналист поспешил откланяться, успев принять приглашение Анны на следующий вечер. В гостинице он признался Рэндальфу: «Я, кажется, влюблен!» Острое и взаимное чувство запечатлено в творчестве обоих.

Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,

А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.

Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.

Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.

Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.

И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.

Как ни ссылайся на поэтическую гиперболу, но охватившую двоих любовную лихорадку нельзя не заметить.

Вопреки советам доброжелателей, упрекам сына в легкомыслии и собственным опасениям, Анна принимала Берлина еще несколько раз — как она указывает, всего было пять встреч.

Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, —

Тень призрака тебя и день, и ночь тревожит.

Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.

Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла…
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.

И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.

Стихи пронзительно любовные, но ничто в них не выдало происшедшего между двумя бросившимися друг к другу людьми. Анна утверждала, что Берлин был последним из тех, кто оставил след в ее сердце. Когда самого Берлина спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать…» — изящный выход из положения. Анна же отрицала все, однако сборник «Цветет шиповник» посвятила Берлину и в «Поэме без героя» отвела ему роль Гостя из будущего, близкой души, данной ей судьбой. Впрочем, это так искусно зашифровано, что подозревать можно и Берлина, и Гаршина. Однако, как считала Ахматова, встреча с Исайей имела для нее самые зловещие последствия.

Глава 6
«Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх». А.А.

В сентябре 1946 года вышло постановление ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Журналы клеймились за то, что предоставляют свои страницы двум идеологически вредным писателям — Зощенко и Ахматовой. Меньше чем через месяц Ахматова была исключена из Союза писателей, лишена продовольственных карточек, а ее книгу, находившуюся в печати, уничтожили.

По словам Ахматовой, многие писатели, намеревавшиеся по окончании войны вернуться в Россию, после этого постановления решение свое изменили. Таким образом, как полагала она, постыдное постановление стало началом холодной войны. В этом Ахматова была убеждена так же незыблемо, как и в том, что саму холодную войну вызвала ее встреча с Исайей Берлиным, которую она считала роковой, имеющей космическое значение. Не сомневалась Ахматова и в том, что все дальнейшие неприятности ее семьи также спровоцированы явлением Берлина. Это не мнительность — это особое поэтическое мировосприятие частных событий в сочленении с глобальными, космическими. Почти все ее личные поэтические драмы, ставшие предметом поэзии, связаны с высшими силами, управляющими Вселенной. Это укрупняет масштаб события, сводит в единоборстве человека и его судьбу, земное и божественное. Но иногда великая Ахматова все же переходила границу, преувеличивая свою роль в мировой истории.

Убежденность Ахматовой в причине гонений весьма сомнительна. Конечно, контакты с Берлиным не украсили «патриотический облик советской писательницы». Но основы холодной войны лежали далеко в стороне от лирической связи «двух одиночеств». Истинный смысл постановления крылся в стремлении урезонить поэтессу, получившую невероятную популярность в послевоенные годы. На выступлениях Ахматовой и Зощенко собирались толпы жаждущих. Ахматову, оказывается, не забыли не только «обломки прошлого» — ее стихи пришлись по душе новому поколению, не «западавшему» на ура-патриотические фальшивки. Такая популярность литераторов из интеллигенции вовсе не радовала ни их конкурентов из рядов «новой поэзии», ни идеологических наставников, ратовавших за приоритет пролетарского искусства над «отголосками постыдного

прошлого».

Постановление, в сущности, означало «гражданскую смерть» — лишение пособий, возможности печататься, выступать, всяких иных привилегий и вывод из членов СП СССР.

К чести Ахматовой, надо сказать — она не была столь женственна, чтобы закатывать истерики в кабинетах начальников СП, падать духом, восставать против очевидного. Не была и столь наивной, чтобы обращаться в качестве защиты к гласу общественности или влиятельных знакомых. Презрение к власти и самоуважение ожесточали ее, а вместе с ними росло желание работать, несмотря на запреты и удушающую блокировку писательских возможностей. Дух противоречия, частенько мешавший приспосабливаться, оказался полезным оружием в «смирительные» времена. Заткнули рот? Так надо погромче «кричать» — в избытке бумага, жадна и восприимчива память. Анна Андреевна, как всегда в тяжелые моменты, переживала творческий подъем. В это время она с увлечением работала над своим центральным произведением — «Поэмой без героя», для которой собирала многое из того, что копилось в подвалах памяти. «Досье» на «кровавых палачей» все росло…

Муж Вали Срезневской, профессор-психиатр Военно-медицинской академии, погиб на фронте еще в 1942 году. А в 1946 году В. С. Срезневскую арестовали.

— Что случилось? — выспрашивала ошарашенная Анна Андреевна соседку Вали.

— А ничего. Пришли ночью, забрали. Все обыкновенно. Хорошо, дочку оставили. Она мне и сообщила: «Сказала мать что-то не то, вот кто-то и стукнул».

Анна задумалась: у кого узнавать про Валю, куда ее дело развернется?

Осудили Срезневскую на семь лет лагерей, все эти годы Анна через дочку передавала подруге деньги и посылки. Валерия Тюльпанова-Срезневская была одной из самых близких людей для Ахматовой. «На земле только три человека говорят мне «ты»: Валя, Ирка и младшая Акума» (Валя — В. Срезневская, Ирка — Ирина Пунина, младшая Акума — Анна Каминская), — утверждала Анна Андреевна.

С 1949 года Анна Андреевна активно втянулась в переводы — корейские поэты, Виктор Гюго, Рабиндранат Тагор, письма Рубенса… Раньше она отказывалась переводить, считая, что ничтожная подсобная работа отнимает время от собственных стихов и унижает достоинство поэта. Теперь переводить взялись самые уважаемые Ахматовой люди. Пришлось и ей «впрячься» в

нелюбимое дело — оно давало и заработок, и относительно официальный статус. А в издательствах поклонницы поэзии Ахматовой старались принять ее работу и оплатить по высшему разряду.

После Постановления Ахматова оказалась в полнейшей изоляции — с теми, кто не отвернулся от нее, она сама старалась не встречаться, чтобы не повредить их репутации. Критика ополчилась на «чуждый элемент», что было даже смешно при волне народной любви, хлынувшей на опальную Ахматову. Жесткое Постановление почти причисляло ее к рангу «врагов народа» — читай — гонимых героев. Лишившись милости властей, она приобрела венец мученичества, пришедшийся Российской Музе как нельзя впору. К ней, гонимой, люди продолжали приходить, приносить продукты, а по почте любимой поэтессе присылали продуктовые карточки и письма с самыми теплыми словами.

Итак, Анна была обречена на молчание, жизнь впроголодь и нищенство. Ее ненависть уже перекипела после арестов сына, теперь она отливалась в тяжкие плиты — нетленные, на века. Но стихи не писались, Ахматова не торопила Музу. Та знала, когда приходить. Пока же дано было «приморской девчонке» время на то, чтобы заняться самообразованием.

Лев жил с матерью. Окончив ЛГУ, он поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР по специальности история цивилизации хунну и древних монголов. Вскоре его из аспирантуры исключили — Ленинградский университет не место для детей врагов народа! Не ожидавший иного поворота научной карьеры, Лев устроился библиотекарем в Ленинградскую городскую психотерапевтическую больницу. Это дало ему возможность снабжать мать самыми ценными исследованиями. В 1948 году Льву Николаевичу все же удалось защитить кандидатскую диссертацию.

В августе 1949 года был снова арестован Николай Пунин, 6 ноября — Гумилев. Льва Николаевича увезли в Москву. Анна Андреевна каждый месяц ездила на Лубянку, затем к Лефортовской тюрьме. Вскоре стало известно, что совещанием МГБ Лев Гумилев приговорен к десяти годам ссылки. «В 1935-м — сидел за себя, в 1938-м — за папу, в 1949-м — за маму», — с горькой насмешкой констатировал он.

Пунину, так же приговоренному к лагерям на десять лет, но по обвинению в принадлежности к антисоветской группе, уже не суждено было выйти на волю. Он скончался в лагере от разрыва сердца. В 1953 году Акума, никем не оповещенная о беде, почуяла

ее своим мистическим «шестым чувством». Именно в этот день она написала:

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено, и песнь моя несется
В глухую ночь, где больше нет тебя.

Он так долго был рядом с Анной Андреевной и в радости и в горе, что его уход казался невероятным. Где бы и с кем бы она ни была, знала — где-то на этой земле есть человек, который всегда отзовется. Но Николай Николаевич подвел — ушел раньше, бросил, несмотря на предсказание цыганки, обещавшей Анне любовь «черноглазого красавца» до гроба. Как знать, возможно, последние мысли этого незаурядно преданного и доброго человека были устремлены к ней?

В июле 1950 года к Сталину поступила докладная записка министра Госбезопасности СССР В. С. Абакумова «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой».

Что произошло в коверных и подковерных кремлевскоэмгабэшных играх? Пока не ясно. И вероятнее всего, останется загадкой навсегда. Возможно, Сталин понимал, что после скандала с «Доктором Живаго», отказа Пастернака от Нобелевской премии и преждевременной смерти писателя, вызвавшей международный резонанс, надо быть более аккуратными с людьми такого масштаба. Тем более что лояльность Ахматовой пока не давала повода к прямому обвинению. Правда, обвинения любого рода тогда стряпались без проблем — достаточно выбить свидетельские показания из близких, и поэтесса окажется резидентом любой вражеской разведки. Этим приемом решили не пользоваться. Напротив, председатель Союза писателей СССР К. Федин объяснил, что патриотические военные стихи Ахматовой, ее всенародная многолетняя популярность дают основание «вылепить из нее полноценного советского писателя».

Представим такой эпизод в узком кругу кремлевских книголюбов под председательством ведущего специалиста по языковедению И. В. Сталина:

— В нашем поэтическом цехе нужны сильные, хорошо зарекомендовавшие себя товарищи. Главное — способные вести себя достойно нашей общественной идеологии и морали и прислушиваться к мнению партии, — вкрадчиво, но твердо заметил Федин. — Товарищ Ахматова своими искренними

обращениями к Иосифу Виссарионовичу по поводу смягчения участи сына показала свою веру в справедливость вождя… А этот Лев Гумилев — фанатик каких-то ископаемых племен, совершенно отрешенный от реальной жизни книжный червь. Недавно, практически после защиты кандидатской диссертации, был арестован и приговорен еще к десяти годам ИТР. Чего мы добьемся этим шагом, товарищи? Хотим нажить врага в лице его матери? Вместо того, чтобы дать запутавшейся женщине повод задуматься и мудро направить ее в ряды современных, я бы сказал — подлинно народных поэтов?

— И вы, Константин Александрович, как академик АН СССР, как первый секретарь и председатель правления Союза писателей СССР полагаете, что в ранг народного поэта страны может быть возведен человек, чей муж был расстрелян за руководство антигосударственным заговором? — ухмыльнулся Жданов. — Не слишком ли либерально для столь жесткой обстановки?

— Бывший муж! Что говорит в пользу Ахматовой, оформившей развод с идейно неустойчивым человеком, — заметил кто-то из задних рядов.

— Бывший или нет — не принципиально. У нас всегда кто-то бывший. Но дорожки выбирают разные. Нам пора обратить внимание на выращенных партией подлинно идеологических поэтов… — раздался голос литератора-партийца, — авторов типа Серафимовича, поэтов Демьяна Бедного, Кондрата Крапивы.

— Мне кажется, я доказал свою непримиримость к литературным подонкам в деле Пастернака. — Федин активно участвовал в травле Б. Л. Пастернака и был причастен к высылке А. И. Солженицына. — И прошу не забывать, что свои карточки в голодные годы люди приносили Ахматовой, а не Демьяну Бедному или Кондрату Крапиве.

— Да и не вам, смею заметить, уважаемый Константин Александрович!

…Прения готовы были разгореться, но стук трубки вождя установил тишину. Тогда прозвучал внушительный, почти ласковый голос:

— Я бы не стал пренебрегать народной любовью, а? Особенно когда речь идет о красивой женщине и патриоте. Как вы думаете, товарищи?

Сдержанные улыбки и аплодисменты поддержали мудрую мысль…

Возможно, все было совсем не так. Известно лишь, что Федин относился к давнишним, еще дореволюционным поклонникам Ахматовой. На каком-то банкете в двадцатые годы она даже сподобилась послать ему загадочный взгляд, означающий

возможность продолжения знакомства. Известно так же, что Ахматова считала Сталина если не своим покровителем, то и не ярым врагом. Была уверена и с гордостью повторяла, что военный самолет, вывезший ее из окруженного Ленинграда, прислал сам Сталин.

В любом случае, с докладной Абакумова произошел перевертыш: «Казнить нельзя. Помиловать!» В январе 1951 года президиум Союза советских писателей восстановил Анну Ахматову в правах члена СП. Запрет с ее имени был снова снят. К тому же она повела себя очень правильно во время встречи с иностранной делегацией. Приехавшие из Оксфорда господа пожелали познакомиться с опальными Зощенко и Ахматовой. Анну Андреевну спросили, что она думает о Постановлении — и она, памятуя о том, что среди иностранцев и пасущих их чинов МГБ полно стукачей, бодро, не колеблясь, ответила: «С Постановлением согласна». Больше ей вопросов не задавали. Зощенко же начал что-то пространно объяснять — и этим навредил себе еще больше.

Глава 7
«Какая есть. Желаю вам другую, Получше. Больше счастьем не торгую…» А.А.

В конце мая у Анны Андреевны случился первый инфаркт, и поэтесса была направлена в больницу, а потом на восстановление в санаторий «Удельное» под Москвой.

Кроме того, в Союзе писателей было решено выделить Ахматовой, давно отягощенной заболеванием сердца и легких, летний домик в писательском поселке Комарово под Ленинградом. Царское поощрение!

— А у меня усадьба! Личная. В Комарово! — сообщила Анна Андреевна по телефону Фаине Раневской. — Как ты думаешь, княжеский титул последует?

Та помолчала, потом заметила:

— Не знала, что там есть кладбище… Извини, моя мигрень всегда ноет в сторону юмора. Могу только сказать, что если подарок отвалили, исходя из знакомой нам закономерности, следом должны дать под жопу…

В Комарово Анна Андреевна приехала одна с шофером, выделенным СП. Не стала дожидаться Ардовых — кто на съемках, кто на гастролях. Не терпелось посмотреть жилье! И еще море рядом!

Выбралась из «Москвича» — грузная, тяжелоногая, набирая песок в низкие туфли, и увидала зеленый невзрачный домик под соснами. Огляделась: песок и лес торчащих шершавых бревен, высоко где-то раскачивающий колючими шапками. Одиноко, неприглядно. Тяжело села на ступеньки крылечка «усадьбы», с трудом распрямила разнывшиеся за время поездки колени и чуть слезу не пустила: «последний приют» больше походил на ссыльное место, чем на дачу для отдыха. Или собачий домик. И куда подевались воспоминания о «сталинском ампире»? Ну что им стоило хоть загогулину резную над окном прибить? Равнодушной к жилищной эстетике Ахматовой собственный дом хотелось бы видеть повнушительней. Из чувства гармонии. После Фонтанного-то дома…

— Ну как, подходят хоромы? Здесь у всех такие, кто не семейный, — объяснил сопровождавший.

— Хорошая будка. Чего еще надо старой собаке?..

— Ключи дать, аппартаменты смотреть будете?

— Не надо ключей. Чего смотреть? Так беру. — И пошла к машине, жалея, что не дождалась Ардовых.

В Москве печалилась Нине Ольшевской:

— Там сосны, а я к ним в Царском не привыкла. Они ж все солнце заслоняют и шумят, тревожно так, сумрачно. А песок… Из ушей и из носа сыпаться будет. Вдобавок к тому, который Фаина называет «выхлопным».

— Да что вы, Анна Андреевна! Сосновый лес — самый здоровый! Там и воздух, и сушь, и земляника, и грибы, — заверил Алеша Баталов. Он умел говорить очень убедительно.

— Грибы? Вот уж занятие — с моей комплекцией с лукошком по коряжинам прыгать! Все кусты переломаю, — уже улыбалась Анна Андреевна, поверив и в землянику, и в грибы.

К следующему визиту (уже в компании Ардовых, Пуниных) природа выставила иные декорации — праздничные: лес был пронизан солнцем и птичьей трелью, что-то краснело рубиновыми гроздьями в редколистых кустах… А ромашечка! Что за прелесть эта ромашечка!

— Леш, ну ты только глянь! — Анна Андреевна торжественно оборвала последний лепесток: — Лю-бит!

— Кабы один! Тут всего поля не хватит. Придется у вашей крепости наряд выставлять, — с улыбкой опечалился Алексей.

— А вот вам специальный подарочек — не от Союза, а от матушки-природы. — Ольга отошла от крайней сосны, корни которой прикрывала растопыренной юбкой-клёш. — Как подготовились?

— Красота-то писаная! Чудеса в решете. Рыжики? — склонилась Анна Андреевна.

— Лисички. Они стайками растут, никогда червивыми не бывают, а на вкус — сладкие.

Кряхтя, дама в лиловом нарядном платье села прямо на ковер сосновых игл, сняла с шеи иностранной расцветки платок, расстелила на траву и стала собирать в него грибы, осторожно выкручивая ножки, а не вырывая, чтобы не повредить грибницу, — как учили в Слепнево.

Потом аккуратно чистила, затем жарила…

Жизнь среди сосен сложилась: «будка» стала любимым домом «странницы», сосны — подругами. Мебелишку — не богатую, но самую необходимую — в комнатки завезли, книги и вещички Акумы переправили. И не зарастала с тех пор к зеленой Будке народная тропа. Анна Андреевна повадилась собирать лисички, любила застолья и даже проследила, чтобы были посажены цветы — причем многолетние.

В Будке ее опекали Лев Аренс с женой. Аренс, брат первой

жены Николая Пунина, великолепный старик с длинной седой бородой, с раннего лета ежедневно отправлялся на велосипеде купаться в холодном Щучьем озере, расположенном неподалеку…

Именно в Комарове Анна принимала обычно гостей из-за границы, и там же летом 1962 года на даче профессора Алексеева она встретилась с американским поэтом Робертом Фростом…

Осенью следующего года ей передали английский журнал с очерченной карандашом статьей: «В северном вестибюле Национальной галереи в Лондоне, — прочла Анна Андреевна, — открыта серия напольных мозаик Б. В. Анрепа «Современные добродетели». На мозаичном панно «Сострадание» изображена русская поэтесса Анна Ахматова, спасаемая ангелом от ужасов войны». Через час ей уже звонили с поздравлениями из английского посольства.

Анна с успехом встретилась с делегацией английских студентов в ленинградском Доме писателей. Ее стихи знали в переводах, впрочем, эти юные филологи достаточно понимали русский, чтобы послушать, как читает сама Ахматова. Ее голос и облик произвели настолько благородное впечатление, что о выступлении Ахматовой заговорили в верхах. К тому же мозаика Анрепа «Сострадание», изображающая молодую поэтессу под защитой Ангела, вызывала повышенный интерес к этой «посланнице мира». Найдя момент подходящим, Анна Андреевна подала ходатайство по пересмотру уголовных дел Льва Гумилева.

В декабре в качестве делегата Ахматова присутствовала на Втором съезде писателей, а в мае 1956 года, во многом благодаря хлопотам Александра Фадеева, на четыре года раньше срока был освобожден из лагерей ее сын.

Летом 1956 года, когда Ахматова гостила у Ардовых, ей позвонил Исайя Берлин, находящийся в Москве, и попросил о встрече. Разве она могла согласиться теперь, едва вызволив сына? Ахматова отказалась повидаться с Берлиным, но их телефонный разговор и невозможность встречи всколыхнули воспоминания о знакомстве в 1946 году. Теперь единственной формой их общения могла быть «невстреча». И прекрасные свидания в поэтическом пространстве — тогдашнем «виртуале» для умеющих «летать» в сферах вымысла. В цикле «Шиповник цветет», посвященном Исайе Берлину, эта «несостоявшаяся встреча», которая «еще рыдает за углом», будто придала Ахматовой силы вынести все, что бы ни уготовила ей судьба:

Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,

Обещай опять прийти во сне.

Мне с тобою как горе с горою…
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.

Глава 8
«Я над этой колыбелью Наклонилась черной елью». А.А.

Из лагеря Лев вышел с убеждением, что мать ничего не делала для облегчения его участи — ведь ей, такой знаменитой, не смогли бы отказать.

Лев Гумилев, которому было уже под пятьдесят, провел четырнадцать лет своей жизни в лагерях и тюрьмах только лишь потому, что был сыном своих родителей — Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Они с матерью были во многом очень схожи, что не способствовало мирному сосуществованию. Вырвавшись наконец, на свободу, он жаждал жить своим умом. Мать, глубоко обиженная сыновней непочтительностью, тоже с не меньшим упрямством настаивала на своем. Пока они жили вместе, их отношения были очень натянутыми. Никакой материнской радости, о которой Анна Андреевна мечтала, дожидаясь сына из заключения, ей так и не перепало. Даже ощущения родной кровинушки, если честно говорить, не было. Чужой человек — взрослый дядька, ершистый, пожизненно ожесточенный на нее, все делавший наперекор. Конечно, умен, и успехи в науке, несмотря ни на что, — поразительные!

Но убеждение железное: гонения и преследования возвышают поэта, а дарованное ему властью благополучие — не что иное, как подкуп, гарантия лояльности. В лучшем случае. В худшем же — полная, с потрохами, покупка в рабскую зависимость. Предательство идеалов свободы. Закон на все времена один: настоящий поэт может быть только в оппозиции к власти, как отец. В этом Лев не сомневался — он много узнал там, за колючей проволокой, о стойкой вере в свою правду и мужестве отца.

Мать же слишком купалась в собственной славе, собственном благополучии. Она не была уже той беспомощной женщиной, которую Лев Николаевич оставил в ноябре 1949 года, и в опеке сына вовсе не нуждалась. В доме Ардовых в Москве, где часто гостила Ахматова, вокруг нее, будто в свите театральной королевы, шла похожая на придворную суета — все желали попасть в ореол величия поэтессы. В течение долгих месяцев проходила мимо возлежащей на высоких подушках Ахматовой чреда поклонников, записывавшихся на прием заранее. Хотя Анна Андреевна любила застолья, во время которых, взбодренная вином, неизменно блистала, высиживать подолгу за столом ей

было уже трудно…

Лев Николаевич защитил докторскую диссертацию, стал известнейшим ученым-востоковедом. Историей Востока он увлекся, находясь в ссылке в тех краях и записывая на обрывках случайных листов главы будущей диссертации. Ахматова очень гордилась сыном и превозносила его как ученого. Однако получив приличную сумму за перевод В. Гюго, «Москвич» подарила не ему, а сыну Ольшевской актеру Алексею Баталову. Видимо, следуя христианской мудрости: у собственного ребенка возьми половину и отдай чужому. А на самом деле — Алексей казался ближе и «роднее».

Противнее всего, по мнению Льва Николаевича, было то, что его мать, не выносившая ранее ни лести, ни подобострастия, стала воспринимать подобные знаки внимания всерьез. Она, не терпевшая нарушения личного пространства, запросто, с какой-то молодецкой удалью, принимала юных поэтов, которые вошли сначала в ее городской дом, а потом зачастили в Будку, присвоив право являться в любой час и в любом составе. Льва раздражало это панибратство, особенно бесил двадцатилетний нагловатый фотограф Иосиф Бродский, стихи которого мать совершенно безосновательно и обидно для памяти отца нахваливала без всякой меры.

Как ни пристрастен взгляд сына-каторжанина на светское бытие матери, многое в нем справедливо. Пожизненное барство Ахматовой (нарушавшееся лишь периодами глобальной нужды), видимо, не представлявшей другой формы существования, кроме как в окружении преклонения и посторонней заботы, с годами усилилось естественной беспомощностью человека стареющего и плюс осознающего свое величие.

Открылась в стареющей Анне Андреевне и новая черта — прижимистость. Пожалуй, впервые в жизни она самостоятельно стала зарабатывать деньги и тяжело с ними расставалась. Ссылаясь на то, что «скромность и божественная нищета» ее доля, не шиковала с подарками, как это было в те времена, когда раздаривала не заработанное, а доставшееся в дар.

Многих удивляло, что сын Анны Андреевны в своей коммунальной комнатушке, выделенной ему после реабилитации, пользуется самоструганными полками, спит на продавленном трехногом диване, а мать не делает даже попыток скрасить быт немолодого, измученного лагерным нищенством человека.

Но не из-за денег, а из-за королевских повадок Ахматовой начались у нее частые и очень тяжелые ссоры с сыном. После одной из таких сцен у поэтессы случился сердечный приступ. В конце концов они перестали встречаться…

Отдалившегося от Анны Андреевны сына ей заменила обожаемая ею поэтическая молодежь.

Вообще Ахматову крайне интересовало новое поколение. Она заметила, что повсюду появлялись молодые люди, наделенные качествами, которые редко встречались у молодежи ее времени. В Москве, на шумной квартире Ардовых, пока позволяло здоровье, она с удовольствием участвовала в «пирушках» молодых: Алексея Баталова, Михаила и Бориса Ардовых и их друзей. Она часто приговаривала, что, мол, водка полезна сердечникам — расширяет сосуды. В Ленинграде ей приходилось жить по-прежнему в одной квартире с Пуниными, а в 1961 году они все переехали в дом на улице Ленина. Ахматова была очень привязана к Анне Каминской — внучке Пунина, которая пошла по стопам дедушки и матери и готовилась стать искусствоведом. Позднее Ахматова очень симпатизировала Аниному мужу Льву Зыкову и его брату Владимиру. Анины рисунки висели над ее кроватью. Это была ее семья — как ни обосновывай физиологией родственные связи, а духовные-то, выходят, покрепче.

Часть седьмая

Если бы брызги стекла, что когда-то, звеня, разлетелись,
Снова срослись, вот бы что с них уцелело теперь.

Анна Ахматова

Глава 1
«А я уже стою на подступах к чему-то, Что достается всем, но разною ценой…» А.А.

Последние десять лет жизни Ахматовой проходили в ином «театре»: изменился образ героини, декорации, персонажи, да и весь мир: «если раньше я любила архитектуру и воду, то теперь музыку и землю». Она сильна прожитым опытом, она знает, чего стоит и на что способна в этой жизни. Она очень не любит себя молодую, отрекаясь от ее летучего легкомыслия. Но… Кабы не лишние сорок килограммов и полсотни лет, кабы сохранилось то бурное, как в юные лета, кипение крови — была бы «змейка» на людном пляже или в дыму кабаре, «сборища ночные», чреда любовных увлечений, колдовские чары завоевательницы, женские победы, визиты Музы. То есть все вышло бы точно так же с приморской девчонкой, ведь пройти путь с конца к началу с кладезем обретенного опыта, увы, невозможно. И изменить то, с чем явилась на свет, — тоже.

Юному другу Иосифу Бродскому она глухо, но упорно говорила о «безысходной трагедии своей жизни». Эту формулировку, как тяжкое откровение Анны, запомнил и Исайя Берлин. Объяснений от погруженной во мрак страшных воспоминаний поэтессы не следовало.

«Безысходная трагедия»? А как же тогда: «Я благодарна за все, что выпало мне в жизни»?

А как же стремление внести в прожитое коррективы для грядущих исследователей? Причем, не возводя в жизнеобразующий центр судьбы «безысходную трагедию».

Остается полагать, что семидесятилетняя поэтесса либо «интересничала», считая именно эту формулировку самой возвышенной долей поэта, либо, собрав воедино все горести народные, взвалила на свои плечи и последствия Октябрьского переворота, и красный террор, и войны. И еще одно, пожалуй, самое верное толкование: ощущение безысходного трагизма жизни у Анны Ахматовой врожденное, как и особенности ее поэтического дара. Потому и мрачная молчаливость в юные годы, и отчужденность, и постоянное ощущение в себе избранности — не на воспевание радости, а на плач. «Безысходная трагедия» — глубинное мироощущение Ахматовой, тональность звучания «какого-то тайного круга», из которого рождаются стихи.

«Перевалившая» за шестьдесят Анна Андреевна благополучна и покойна. Она пытается новыми глазами пересмотреть прошлое, переворошить полуистлевшие страницы, призвать в свои стихи тени тех, кто, как на карнавале, прошел по сцене ее жизни, отражаясь в разбитых зеркалах времени.

> Если бы брызги стекла, что когда-то, звеня, разлетелись,
> Снова срослись, вот бы что с них уцелело теперь.

«Поэма без героя», создаваемая в течение двадцати двух лет, включает всех действующих лиц ее жизни. Если тут и нет единого героя, то Героиня имеется — сама Анна Ахматова. О ней, отраженной в осколках зеркал, и ведется речь. Прежде всего — о той, какой она хотела бы запечатлеться в памяти читателей современных и будущих. А также о ее столкновениях с Историей, Роком, Судьбой… С совестью, грехом, покаянием. Мучительно засасывающая работа, все более разраставшаяся и требовавшая большего усилия — всей жизни, всего мастерства и юного вдохновения. Часто, задумчиво помолчав, Анна Андреевна коротко, словно выплюнув, произносила: «Гадина». Значит, «беседовала» с неотступно преследующей ее поэмой.

Задумав написать автобиографию, Ахматова старательно исправляла огрехи своей жизни, которые теперь ее злили. А переписав — в переписанное истинно верила. В бабушку — татарскую княжну, в невинную дружбу с чредой воздыхателей, в покаяние и мужество под рвущимися бомбами. С особым, даже акцентированным высокомерием Анна Андреевна гордилась тем, что не отклонила от себя «ни единого удара», выпавшего на долю ее народа…

Возраст дает основания для некой невнятности видения прошлого. Что-то выбивается на первый план, что-то тонет в полутьме, а есть и такое, что и вспоминать нечего. Другое дело — будущее. Для Ахматовой будущее словно стало прозрачным, и она могла с большой уверенностью говорить о нем — в частности, о собственных собраниях сочинений, о памятнике себе, как бы переходя границы ложных запретов скромности. Некий туман покрывал перспективу, не давая разглядеть детали, как на размытом черно-белом фото.

Если безысходная трагедия и угнетала поэтессу, то не в последние десять лет ее насыщенной жизни. Поэтический дар Ахматовой отнюдь не оскудел, он бил и пульсировал до последних дней с неиссякаемой силой. Вынужденная постоянно заниматься переводческой работой, Анна Андреевна все это время не прекращала писать стихи. Именно в этот период появились

многие из лучших ее произведений: некоторые из них посвящены событиям прожитой жизни и людям, с которыми она была знакома, другие представляют собой размышления о вечных вопросах жизни и смерти. И до конца своих дней Ахматова писала о любви — былой и нынешней, случившейся словно впервые.

В шестьдесят семь лет, царственная и величавая, Ахматова казалась человеком, легко несущим бремя судьбы, счастливым тем, что наконец-то дожила до такого дня, когда стала любима если не всеми, то по крайней мере многими людьми не только как поэт, но и как личность.

«Моя слава двадцать пять лет провалялась в канаве», — подсчитала Ахматова, явно поскромничав. Сплюсовав годы гонений и вынужденного молчания, можно было бы претендовать и на сорокалетие «овражного отдыха». Тем не менее затоптанная большевистскими сапогами слава ее не увяла — проросла мощными побегами.

«…К ней приходили почти ежедневно — и в Ленинграде, и в Комарове. Не говоря уже о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называлось «ахматовкой»… — вспоминал Бродский. — Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и — воспользуюсь ее собственным выражением — беспастушна. Близкие знакомые называли ее «королева-бродяга», и действительно в ее облике — особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры — было нечто от странствующей, бесприютной государыни. Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали ее по мере сил…

Существование это было не слишком комфортабельное, но тем не менее все-таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она любила многих. То есть каким-то образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю и этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих — почти всех — его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших…»

Серебряную королеву окружал цвет интеллигенции Москвы и Ленинграда, и в любом обществе, ненавязчиво, нисколько не акцентируя свою особость, Анна Андреевна могла завязать и поддержать любой разговор — ее познания удивляли эрудитов. А

в безапелляционности суждений — будь то отрицание поэзии Бунина, ирония по поводу пастернаковского «Живаго» или насмешливая отдаленность от Хемингуэя — открывались зерна глубинного вкуса и мудрости.

В частых сравнениях внешнего образа Ахматовой с Екатериной Второй — небольшая натяжка. Запомнившие Ахматову в те годы пишут, что без определения «царственная» трудно обойтись, вспоминая ту спокойную, совершенно естественную, ненаигранную величавость, которая в последние годы стала свойственна ей и в походке, и в жесте, и в повороте головы. Преклонение свиты выражалось в том, как внимательно ее слушали, как слушала она перед тем, как вынести вердикт. Когда Анна Андреевна делала шаг к двери, казалось, что дверь должна перед ней сама отвориться, если направлялась к креслу — оно должно было придвинуться. На сцене принято говорить: «короля играет свита». В случае Ахматовой свита обожателей в самом деле была, стулья пододвигали, двери распахивали. И, затаив дыхание, ждали высочайших суждений.

Неторопливая, грациозная, как и в молодости, с осанкой высокородной персоны, медленной, значительной речью, Анна земли русской невольно обращала на себя внимание, заставляла к себе прислушиваться. Охотно, по любой просьбе, читала свои стихи, вызывая истинное преклонение слушателей любого возраста. У нее по-прежнему были чрезвычайно красивые и выразительные кисти рук, движения которых хотелось зарисовывать. На нее вообще хотелось смотреть. И не следует удивляться юным влюбленностям в поэтессу, сопровождавшим ее до конца дней. Врожденный женский магнетизм, отшлифованный умом и талантом, не оставлял равнодушным, невзирая на возраст. Однако частые сравнения с Екатериной Второй Ахматову злили: «Терпеть ее не могу. Вообще не люблю знаменитых женщин. В них есть что-то от плохого театра». Верное наблюдение. Театр Ахматовой спасала «драматургия» — вызывающий искреннее преклонение масштаб ее поэзии.

В Ленинграде Анна Андреевна, тянувшаяся к молодежи, особенно сдружилась с тремя молодыми поэтами: Анатолием Найманом, Иосифом Бродским и Дмитрием Бобышевым. Теперь, в не столь суровое время, одни шли к Ахматовой на поклон со своими стихами, и она выслушивала их и читала им собственные сочинения, другие приходили за советом или чтобы расспросить ее о тех, с кем она общалась в начале века, о тех, кто погиб на войне или в лагерях, то есть о людях, живую связь с которыми она собою являла.

Иосиф Бродский — в то время двадцатиоднолетний фотограф

какого-то журнала, приглашенный другом в Комарово, попал в Будку к Ахматовой случайно…

«Однажды, когда мы завтракали на веранде, произошла любопытная беседа. Ахматова вдруг говорит: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои произведения». Я, конечно, взвился, заверещал, что все наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы меня в основном привлекало чисто человеческое, а не поэтическое общение. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. «Сероглазый король» был решительно не для меня, как и «перчатка с левой руки». Все эти вирши не представлялись мне шедеврами. Так я думал, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние. (…) Однажды, когда я вечером возвращался от нее в поезде один, мне припомнились какие-то строчки ее стихов, и внезапно завеса спала. Я осознал, с кем я имею дело.

Мы сразу понравились друг другу; наши беседы были в большей степени болтовней, чем разговорами о поэзии. Ей было за 70; она перенесла уже два инфаркта, и врачи прописали ей пешие прогулки. Она была высока ростом и имела поистине королевскую осанку. Увидев ее, легко было понять, почему Россией управляли в свое время императрицы. У нее был большой кот по имени Глюк, который однажды пропал, и семья, с которой она жила на даче, составляла объявление о потере. Она спросила: «Ну, как вы напишете — «Пропало полтора кота»? И это «полтора кота» стало прозвищем, которым она называла меня, говоря с моими друзьями.

Я всегда привозил ей пластинки с записями классической музыки и начал знакомить ее с американской поэзией — например, показал ей стихи Роберта Фроста. Потом мы с несколькими знакомыми сняли дачу неподалеку, и я проводил там осенние месяцы, так что мы виделись ежедневно. Она часто приглашала нас к обеду — нас было четверо — и называла нас волшебным хором. Когда она умерла, волшебный хор потерял свой купол…»

Ахматова тяжело переживала опалу Бродского, но провидчески ободряла: «А они отличную биографию нашему Полторакота лепят!»

Первую свою дочь Бродский назвал Анной. У него много стихов, посвященных Ахматовой. С поразительной точностью поэт и друг попал в мистическую сердцевину ее кармической судьбы. Изречение «Бог сохраняет все» сопровождало Ахматову до последних мгновений земного пути. В июле 1989 года уже лауреат Нобелевской премии, далеко не мальчишка, написал

стихи «К столетию Анны Ахматовой» — давно покоившейся поэтессы:

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем, что жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

Глава 2
«Вот она, плодоносная осень! Поздновато ее привели». А.А.

Смерть Сталина Анна всегда праздновала как важное историческое и личное событие — освобождение России от главного кровавого палача. Правда, долгожданная кончина вождя 5 марта 1953 года особо не изменила писательского положения Ахматовой. Но годы «оттепели» принесли облегчение — стали печататься подборки стихов в периодике, сборники. В 1960 году журнал «Воздушные пути» даже опубликовал «Поэму без героя» — произведение сложное и во многом совершенно «не советское».

Либерализм властей дошел до того, что несмотря на изданный в Мюнхене «Реквием» (с пометкой «печатается без ведома автора»), Ахматова получила возможность выезжать за границу — неожиданная радость после стольких лет личного «железного занавеса». Писательские делегации периодически посещали зарубежные конгрессы. Ахматова же последний раз была за границей в 1911 году. А тут, более чем через полстолетия, в 1964 году поступило личное приглашение в Италию для присуждения русской поэтессе международной поэтической премии «Этна-Таормина». Анна Андреевна надеялась, что сможет поехать туда вместе с Ниной Ольшевской, которая рядом с Ахматовой казалась вполне еще молодой женщиной. Но осенью у Ольшевской случился удар, и в декабре в Таормину Анна Андреевна отправилась с Ириной Пуниной.

К тому времени Ахматова завершила воспоминания о Модильяни и предоставила итальянцам возможность их опубликовать в преддверии предстоящего визита. В это же время шли разговоры о присуждении ей Нобелевской премии, сопровождавшиеся слухами и домыслами. Настроение было победное.

Торжественный прием в сицилийском городе Таормина был великолепен… Эх, ну почему лет на двадцать не раньше? Вес большой, сердце слабое, а еще предстояло подняться по высокой, длинной лестнице. Раньше бы взлетела птицей, заставив толпу с открытыми ртами восхищаться своей грацией. Итальянцы любезно предложили вознести грузную даму с одышкой прямо в кресле. Она отказалась и, мысленно попросив помощи Господа, преодолела крутую лестницу. Преодолев же, уже дважды победительница (и по стихам, и по борьбе со ступенями) со всеми почестями получила надлежащие дипломы.

Затем Анна Андреевна почти целый месяц путешествовала по Италии. И снова — без всякого удовольствия. В первую поездку, пятьдесят лет назад, она с трудом переваривала туристические красоты из-за беременности, теперь усталость мешала впечатлениям. Во время поездки стало известно, что 15 декабря 1964 года Оксфордский университет за научные работы в области пушкиноведения присвоил Ахматовой почетную степень доктора наук. Посыпались запоздалые признания! Хорошо хоть не посмертные. Иезуитское изобретение — «посмертная слава». Предстояла новая поездка, силы были на исходе. Но пропустить события, венчавшие всю ее жизнь, Анна Андреевна не могла, несмотря на опасения врачей и близких. В Оксфорд Ахматова отправилась в сопровождении внучки Пунина Анны Каминской, с которой очень дружила. В Оксфорде, в Шелдонском театре, облаченная в алую докторскую мантию и шапочку со смешной кисточкой, Ахматова слушала приветственную речь на латыни, где она сравнивалась с Сафо. Одновременно с ней чествовали другого поэта — Зигфрида Сассуна. Потом в номере отеля «Рэндолф» Ахматова, окруженная цветами, принимала посетителей, по одному или по двое сразу, как это обычно бывало в Москве и Комарове. Все коридоры гостиницы были заполнены говорящими по-русски. Они приехали отовсюду, чтобы посмотреть на торжество, а если возможно, повидаться лично с Анной Андреевной: друзья, которые покинули Россию еще в двадцатые годы и даже раньше; исследователи ее поэзии или творчества ее современников; русские, для которых она была живой связью с их юностью и страной, куда им не суждено было вернуться.

На обратном пути Ахматова, желая избежать утомительных пересадок с поезда на пароход и обратно на поезд, решила пересечь Ла-Манш в спальным вагоне поезда, идущего прямо до Парижа, и уже оттуда отправиться в Москву. В Париже она задержалась на несколько дней. Лондон ее нежданно удивил, а Париж во многих отношениях разочаровал. Это уже была не та элегантнейшая из всех мировых столиц, где они с Модильяни сидели на скамейке в парке и читали друг другу Верлена. Уличная толпа казалась безликой и могла с одинаковым успехом принадлежать и Лондону, и Риму, и даже Москве. А всякую элегантность в теперешнем Париже она находила претенциозной. Изменился и цвет города — его чистили, наводили музейный лоск, истребляя вековую патину, составлявшую чуть ли не главную прелесть его исторической ауры…

В 1922 году мир признал Модильяни великим художником. Его картины продаются на аукционах за пятнадцать и более

миллионов долларов. Анна задумалась над ниспосланными ей судьбой встречами и решила не оставить без внимания историю, которая, несомненно, станет лакомым куском для исследователей. Тогда она призналась: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак…» Замечание верное: два юных существа, влюбленных в тот момент друг в друга больше, чем в свой дар, не были опалены дыханием искусства. Они были опалены страстью, а то, что эта «лав стори» — лишь предыстория обильной событиями жизни Анны и нещадно короткого бытия Модильяни, никто из них не задумывался, да и понять не смог бы.

Образ будущего, пугавшего «страшным бодлеровским Парижем», возник, конечно, постфактум — в трагическом шлейфе кончины Амадео. Это уже пережившая многое и многое понявшая Анна напишет в черновом варианте «Поэмы без героя»:

В черноватом Париж тумане.
И, наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить беспокойство
И быть многих бедствий виной…

Поэтический образ тени трагического гения обвинен во многих бедствиях. Однако вряд ли Модильяни хоть в чем-то мешал Анне Андреевне — блудной жене, вернувшейся из прогулки по Парижу через три месяца. Лишь украшал своей посмертной славой полутайные слухи о короткой связи с Ахматовой. И не в ту цветущую парижскую весну, а много позже, продиктованные Музой, легли на затененный траурным пеплом белый лист ее тетради слова: «И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак…»

К приезду в Париж Ахматовой с молниеносной быстротой был издан ее первый прижизненный и самый объемный сборник «Бег времени» — с портретом, сделанным Модильяни, на белой суперобложке.

Здесь Анна встретилась со многими давними друзьями и даже с героем своего мимолетного легкого романа — графом Зубовым, первым богачом Петербурга, заваливавшим двадцатипятилетнюю красавицу, приму «Бродячей собаки» подарками и розами. Они не виделись полстолетия. Граф был старше Анны на пять лет — холеный европейский господин без возраста. На прощание Анна Андреевна, подав пухлую руку для поцелуя, сказала совсем просто, словно жила по соседству: «Позвоните мне еще». И глядя вслед своему старенькому поклоннику, с неким удивлением пробормотала: «Ну вот, привел Господь еще раз нам свидеться». Их отношения, тщательно скрываемые пять десятилетий, так и остались тайной.

В Лондоне, спустя почти двадцать лет после роковой встречи в 1945 году, Ахматова вновь увиделась с Исайей Берлином. Когда они остались наедине, она посмотрела с подозрительностью:

— Сэр Исайя, у меня остается вопрос… Раньше я была знаменита в России, но не за границей. И вдруг посыпалось: Италия, Оксфорд… Ваших рук дело?

Берлин — ушастый, подвижный, но все столь же обаятельный, обремененный регалиями и титулами, — скромно улыбнулся:

— Признаться, я несколько обескуражен вашей верой в мое могущество, Анна.

Ахматова заглянула в его искрящиеся насмешливые глаза:

— А разговоры о Нобелевской премии? И здесь вы совершенно ни при чем?

— О, нобелевка! Это другое дело. Сожалею, что не ношу фамилию Нобель. Поверьте, я ни секунды не колебался бы в выборе лауреата…

На пути к вокзалу Анна Андреевна попросила шофера остановиться у тупика Фальгьера. Долго смотрела, опустив стекло, на непрезентабельный дом и окна на втором этаже. Сказала только: «Здесь жил в 1911 году Модильяни. Мы часто встречались с ним».

…Анреп не решался прийти с визитом, сознавая, что изменился до неузнаваемости. Но именно его Ахматова более всего хотела видеть. Внешность — что она теперь значит? В конце концов, ведь и «Аннушка» уже не та высокая девушка с темной челкой и эффектной хрупкостью гибкого тела.

И встреча состоялась.

Самое место сейчас вспомнить написанную Борисом Анрепом «Сказку о Черном кольце» и узнать, чем она закончилась…

«Во время Второй мировой войны, когда я лежал без сознания, контуженный бомбежкой, кольцо, подаренное Анной,

было похищено. В глубине души все еще болела незаживающая рана. Жизнь сосредоточилась на художественной работе, на мозаике. Но в сердце прошлое смутно жило, и кольцо мысленно было со мной «всегда».

В 1945 году и эта война кончилась. Я послал Анне Андреевне фотографию в красках моей мозаики Христа: «Cor sacrum». Его грудь вскрыта, и видно Его пламенное Сердце. Я не знал ее адреса и послал в Союз писателей в Ленинграде с просьбой переслать конверт по ее адресу. На фотографии я написал: «На добрую память». Ответа не было, и я не знал, получила ли она пакет.

Жизнь текла. Я работал в Лондоне, я работал в Париже, я работал в Ирландии. Мозаика требовала много напряжения и тяжелого труда. Благодаря дружескому содействию Г. П. Струве я читал почти все, что Анна Андреевна печатала и что печаталось за границей. И эти стихи волновали меня так же сильно, как раньше, — может быть, сильнее. Острые страдания, которые я когда-то переживал от потери черного кольца, смягчились мало-помалу в тихую скорбь. Но чувство вины продолжало мучить.

В 1965 году состоялось чествование Анны Андреевны в Оксфорде. Приехали даже из Америки. Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж, где меня ждали, привести в порядок дела, так как я должен был прекратить по состоянию здоровья мозаичные работы и проститься со своей парижской студией.

Образ Анны Андреевны, какою я помнил ее в 1917 году, оставался таким же очаровательным, свежим, стройным, юным. Я спрашивал себя, было ли прилично с моей стороны уехать из Лондона. Я оказался трусом и бежал, чтобы Анна Андреевна не спросила о кольце. Увидеть ее? «Мою Россию!» Не лучше ли сохранить мои воспоминания о ней, как она была? Теперь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.

Так мои мысли путались, студили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело…

Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: «Вы Борис Васильевич Анреп?» — «Да, это я». — «Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами, не отходите». — «Буду очень рад». Через минуту тот же важный голос: «Анна Андреевна подходит к телефону». — «Слушаю». — «Борис Васильевич, вы?» — «Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос». — «Я только что приехала,

хочу вас видеть, можете приехать ко мне сейчас?» — «Сейчас, увы, не могу: жду ломовых, они должны увезти мою мозаику». — «Да, я слышала (?), в пять часов я занята». — «А вы не хотели бы позавтракать со мной или пообедать где-нибудь в ресторане?» — «Что вы, это совсем невозможно (?). Приходите в восемь часов вечера». — «Приду, конечно, приду».

Ломовые приехали. Весь день я был сам не свой — увидеть Анну Андреевну после сорока восьми лет разлуки и молчания! О чем говорить? Сколько было пережито. Сколько страдания! И общего, и личного. Воспоминания болезненно возникали, теснились бессвязно, искаженные провалами памяти. Что я скажу о черном кольце? Что мне сказать? Не уберег сокровища. Нет сил признаться. Принести цветы — банально. Но все-таки пошел в цветочный магазин и заказал послать немедленно букет роз в Hotel Napoleon, близко от Arc de Triomphe.

Гостиница была полна советскими. Молодая, очень милая девушка подошла ко мне. «Вы господин Анреп?» — «Да». — «Анна Андреевна вас ждет, я проведу вас к ней». Мы подошли к лифту. «Я видела ваши мозаики в Лондоне, мне особенно понравились сделанные вами работы в Вестминстерском соборе». Это была Аня Каминская, внучка Н. Н. Пунина, мужа Анны Андреевны. Она сопровождала Анну Андреевну в ее путешествии.

Мы поднялись на второй этаж, Аня открыла дверь в комнату Анны Андреевны и тотчас же исчезла. В кресле сидела величественная полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.

«Екатерина Великая», — подумал я.

— Входите, Борис Васильевич.

Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже оставалось холодным.

— Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии.

— Англичане очень милы, а «торжество» — вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: «Это мои похороны». Разве такие торжества для поэтов?

— Это вашим поклонникам нужно, им хочется высказаться, выразить свое уважение.

Мы заговорили о современных поэтах. Только бы не перейти на личные темы!

— Кого вы цените?

Анна Андреевна поморщилась и молчала.

— Мандельштама, Бродского?

— О да, Бродский! Ведь он мой ученик. Она заговорила о Недоброво:

— Вы дали его письма к вам Струве. Скажите мне, к каким

годам относятся эти письма?

— Все письма до 1914 года, и в них ничего нет, решительно ничего. А у вас, Анна Андреевна, не сохранились его письма?

— Я их все сожгла.

— Как жаль.

Я боялся продолжать разговор о Недоброво, но Анна Андреевна, очевидно, желала этого.

— Николай Владимирович был замечательный критик, он прекрасно написал критическую статью про мои стихи, он не только понимал меня лучше, чем кто-либо, но он предсказал дальнейшее развитие моей поэзии. Лозинский тоже писал про меня, но это было не то!

Я слушал, изредка поддерживая разговор, но в голове было полное безмыслие, сердце стучало, в горле пересохло — вот-вот сейчас заговорит о кольце. Надо продолжать литературный разговор!

— А где похоронена Любовь Александровна?

— Похоронена на кладбище в Сан-Ремо. Вы знаете, — сказала Анна Андреевна после минуты молчания, — я никогда не читала «Юдифи» Недоброво.

Я замер. Она желает напомнить о 13 февраля 1916 года, когда мы вместе слушали «Юдифь», когда она отдала мне свое черное кольцо! Это вызов! «Хорошо, — что-то зло шевельнулось во мне, — я его принимаю. Неужели она не видит, в каком я состоянии?»

— «Юдифь», — сказал я равнодушно, — очень академично выработанное произведение, весьма искусное стихосложение, но в общем довольно скучное. Все же это вещь, достойная внимания, она, наверное, войдет в собрание его стихотворений, которое, надеюсь, Струве издаст.

— Струве, — отвлеклась Анна Андреевна, — он много работает, он литературовед, но он поддерживает холодную войну, а я решительно против холодной войны.

— По-моему, Анна Андреевна, Струве главным образом интересуется современной русской литературой.

— А вы читали «Реквием»?

— Да, это великое трагическое произведение, написано вашей кровью, больно читать.

— Хотите, я вам прочту свои последние стихи, вы, может быть, сравните их с «Юдифью» Недоброво, они на библейский сюжет: Саул, неверная жена, Давид.

Анна Андреевна открыла маленькую записную книжку и певучим голосом стала читать. Певучее чтение мне казалось вытьем, я так давно не слыхал ничего подобного. После

«Реквиема» мне казалась вся затея упражнением в стихописании. Я не вникал в слова.

— Ну вот, что вы думаете?

— Как всё — очень хорошо.

— Совсем не хорошо, — сказала Анна Андреевна с раздражением.

Я чувствовал, что надо сказать что-то умное, и не мог выжать ни слова.

— Очень объективно.

— Да, объективно.

Я не знал, что можно добавить к этому глупому замечанию, и молчал.

— Как вы живете, Анна Андреевна? — нашелся я.

— Переводами, — сказала она, поняв мой вопрос в простом материальном смысле. — Я перевожу поэтов древних времен.

— Вы сами переводите? — удивился я.

— Нет, конечно; несколько специалистов дают мне дословные переводы, я их перекладываю в русские стихи.

— Вы всегда в Ленинграде, где вы отдыхаете?

— У меня дача в Финляндии, я там отдыхаю. Вы помните, вы прислали мне цветную фотографию вашей мозаики Христа? Она долго была на моем столе, а потом исчезла.

Тут я мог просто сказать, что такая же судьба постигла ее кольцо. Но фотография — одно, кольцо — другое! Я ничего не сказал. Я чувствовал себя не по себе, надо идти.

— Я боюсь вас утомить, Анна Андреевна, я пойду.

— Нет, нет, мне видеть вас большой отдых, вы совсем не изменились. — Я сгорал от стыда.

— В личное одолжение, посидите еще двадцать минут.

— Конечно, Анна Андреевна, сами скажите, когда мне надо уходить.

Разговор не клеился. Анна Андреевна чего-то ждала.

— Как вы пережили осаду Ленинграда?

— Меня спас Сталин (это было известно всем), он благоволил ко мне и прислал за мной самолет, на котором я улетела из Ленинграда. Позднее он свою милость превратил в равнодушие или, может быть, в ненависть. — Опять молчание. — Ну, теперь идите, благодарю, что пришли. Напишите хоть на Новый год.

Анна Андреевна величественно поднялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене.

— Прощайте. — Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор в полудурмане, повернул не туда, куда надо, добрался кое-как до выхода, долго шел по Champs Elysees (Елисейские Поля) и до

ночи сидел в кафе. Тысячу раз я спрашивал себя: зачем? зачем? Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес еще больший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен. Пока я думал, что я еще могу сказать или спросить о поэтах-современниках, она воскликнула: «Борис Васильевич, не задавайте мне, как все другие, этих глупых вопросов!» Ее горячая душа искала быть просто человеком, другом, женщиной. Прорваться сквозь лес, выросший между нами. Но на мне лежал тяжелый гробовой камень. На мне и на всем прошлом, и не было сил воскреснуть.

Во время нашего разговора дверь в соседнюю комнату оставалась приоткрытой, кое-когда был слышен легкий шорох. Кто там? Может быть, политический контроль, может быть, свой человек — не знаю. Это невидимое присутствие было мне неприятно. Было ясно, что кто-то подслушивал наш разговор. Не это ли помешало нашей последней встрече превратиться в теплую душевную беседу? Я ищу себе оправдания, не так ли? Я его не нахожу…»

В этом эпизоде заметно и то, что не мог заметить Анреп: облегчение Ахматовой после того, как выяснилось, что Анреп отдал Струве письма об Ахматовой, предшествующие их личной встрече. А позднюю переписку она осмотрительно сожгла. Как поступала со всеми любовными письмами, способными приоткрыть нечто большее, чем стихи. И еще одно — вся история с бабушкиным кольцом скорее всего оказалась мистификацией, в которую больше верил до конца жизни потрясенный даром Анны Анреп, чем сама дарительница. Не слишком-то она дорожила этим оберегом, если и Гумилеву на фронт не дала, осенив его крестным знаменем, и про столь важный подарок Анрепу даже упомянуть забыла.

Глава 3
«И кажется такой нетрудной, Белея в чаще изумрудной, Дорога не скажу куда…» А.А.

В стихах последних лет Ахматова чаще оглядывалась на дни ранней царскосельской юности, чем на ужасные времена, последовавшие за ними. В одном стихотворении 1958 года она называет себя «наследницей» Царского. «Приморский сонет», написанный в Комарове, смыкает начало и конец жизни:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

В июне 1964 года Ахматова уехала в Комарово отмечать свое семидесятипятилетие. Ожидался большой съезд московских друзей. Дача утопала в цветах — сирень в вазах, банках, ведрах, кастрюлях. Комаровская почтальонша не слезала с велосипеда, доставляя пачки поздравительных телеграмм. Званых гостей не было — только свои, но и они, не поместившись в комнате, устроили «пикник» на природе. За столом Ахматова сидела в нарядном платье и с новой прической. Глаза у нее сияли. Можно не сомневаться: рядом был тот, к которому сейчас рвалось ее сердце, и Муза ночами нашептывала:

Так уж глаза опускали,

Бросив цветы на кровать,
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.

Лето стояло великолепное, она много гуляла по лесу с Ниной Ольшевской, заядлым грибником, и часто (это Ахматова особенно любила) разводила средь бела дня костер.

Огонь почти прозрачный, будто неземной — райский. Словно не жжет, не палит, а лишь заманивает. Проясняет, открывает дорогу… В таком эфирном пламени унеслись в небеса слова ее первой синей тетради. Стихи к Амедео и много еще чего, не подлежащего хранению здесь — на земле. *Там* — надежнее. Бог сохраняет все.

Печалило лишь отсутствие «Полторакота» — Иосифа Бродского. Да еще многих тех, кто стоял тенями вокруг, соединяя два мира — «тот» и «этот», все более сближавшиеся и не пугавшие Анну Андреевну чужеродностью. Иногда, особенно во сне, она путала, где находится, и, кажется, привыкла к легкости «перехода границы» и обратимости разлуки. Слова «навсегда», «никогда», которыми ранее запугивала в стихах судьбу, одомашнились, прижились.

В конце лета ушла из жизни Валя Срезневская.

Ахматова «отправила» подруге послание:

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой, — в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг…
Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.

Конец лета, как обычно, Ахматова провела в Комарове. Погода испортилась, она чувствовала усталость, не могла заставить себя выйти на прогулку. В сентябре переехала оттуда в

Москву. И здесь не стало легче… Да еще эти поездки за границу — в Италию, Лондон, Париж…

В начале 1966 года «скорая помощь» диагностировала у больной сердечный приступ и увезла в больницу. В конце февраля, выписавшись из больницы, Ахматова поселилась у Ардовых. Вместе с Ниной Ольшевской, которая все еще не могла оправиться после случившегося у нее год назад инсульта, они собрались ехать в подмосковный санаторий. Добирались на машине. Ахматова в те дни читала сценарий фильма «В прошлом году в Мариенбаде», и едва она увидела здание санатория, тут же окрестила его Мариенбадом. Она шутила и веселила Нину, словно отгоняя мрачные предчувствия. Пыталась превратить пугающий всех мрак расставания в ритуал обычный и даже забавный.

Ахматова часто скрытничала, не любила исповедальных разговоров и тем более старалась не выплескивать на ближних своих тревог. Сейчас можно было бы вспомнить, что, в течение тринадцати лет отмечая смерть Сталина, она робко пошучивала: «Хорошо, меня с собой не прихватил. Ведь ему там без меня, наверно, скучно будет. Сейчас покручивает ус и хмурится: заждался!»

Утром 5 марта, в субботу, на второй или третий день пребывания в санатории, Ольшевская на несколько минут покинула комнату. Было время завтрака, Ахматова пожаловалась, что чай холодный. Когда же Нина вернулась, ее попросили не входить в комнату. Через несколько минут, после недолгой битвы за жизнь, Ахматова скончалась. Вышло именно так — Сталин таки послал за ней. Она ушла в день его смерти, который всегда отмечала как всеобщий праздник освобождения из мрака.

Тело Ахматовой, прежде чем отправить в Ленинград, поместили в московском морге, который, как это ни удивительно, оказался при больнице, расположенной в здании старого Шереметевского дворца. И здесь на фронтоне был виден герб с девизом, сопровождавшим Анну чуть ли не всю жизнь, — «Deus conservat omnia».

Похоронные хлопоты осложнялись и затягивались из-за выходных дней и предстоящего праздника 8 марта. Когда Иосиф Бродский с Владимиром Зыковым пришли на комаровское кладбище, чтобы подобрать место для могилы, мужики с лопатами были пьяны и веселы — предстоял сбор цветов со свежих могил для праздничной продажи.

Согласно завещанию Ахматовой ее отпевали в Никольском соборе в Ленинграде. Здесь в боковом приделе и поставили гроб с телом, сотни человек пришли попрощаться с ней — кто-то в

последний раз, но для большинства молодых людей это была одновременно первая и последняя встреча. Об официальной части похорон, проходившей в Союзе писателей (в еще одном дворце Шереметева), сообщалось в газетах. Толпы заполнили церковь и близлежащие улицы. По пути в Комарово на несколько минут задержались в скорбном молчании у Фонтанного дома.

Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца… Я нищей
В него вошла и нищей выхожу…

Затем самые близкие поехали за город, чтобы проводить тело Ахматовой к месту последнего упокоения — среди соснового леса, ведущего к озеру.

Эпилог

Белым-бело, радостно и светло — завтра Рождество! Анна сидела под старым дубом в Царском. Теперь знала точно — старику триста шестьдесят пять лет. Сам сказал, роняя золотистые желуди ей под ноги. Ноги… Странное слово, и к чему оно? Так невесомо, так прозрачно тело… Сегодня Святки — их с Коленькой день. Царскосельский парк бел и светел, даже нимфы в деревянных клетках просвечиваются белизной. Сквозь руки Анны скользят снежинки — их не задерживает ни связанный моток синей шерсти, ни крючок, которым она ловко работает. Длинная белая аллея, уводящая к Царскосельскому пруду, начинается здесь, прямо перед скамейкой. Анна вглядывается в кружение туманного вихря — там, у пруда, и наконец различает крошечный силуэт, движущийся невесомо из белого тоннеля. Он приближается, обозначаются родные черты, жесткая шинель и… Что это? Ах, тот самый букет! Кажется, георгины «белый лебедь».

— Орхидеи из Патагонии! Тебе. — Он взял ее невесомую руку, заглянул в лунные глаза. — Простила?

— Да. Простил? — Она взяла цветы.

— Простил.

— Бог сохраняет все. Я жалела те бедные белые георгины, которыми ты исхлестал свои сапоги.

— Ты не особенно жалостлива. Была… А я — глуп. Человеческая глупость — одно из лучших изобретений высшего разума. Мудрая безошибочность — это же вечная скука, никогда не ошибаться — пытка. В тот день у Гостиного Двора… Ведь все было так просто… Так элементарно просто!

— Если бы… Если бы только знать… — Анна закрепила петлю и встряхнула связанный шарф. — Вот тут есть ниточка, за которую потянуть — и все можно распутать.

— Мы тянули за разные… И запутались сами. Я ведь многое понял… — Гумилев привычно повертел шеей. — Зачем было таскать эти жесткие воротники! — Он сорвал и отбросил крахмальную «удавку». Анна впервые заметила, как тонка и беззащитна его шея, и быстро окутала ее мягким шарфом. Задержалась у самого лица. — Твой цвет — к глазам.

— Хорошо… Почему я все время делал не то, что было надо?.. Мечтал о набедренной повязке и втискивался в узкие смокинги, до одурения думал о жирафах на озере Чад, жрецах, паладинах «зеленого храма»… Жадно, взахлеб хотел жить и лез на рожон… Искал всю жизнь тебя — *тебя*! — и бежал прочь!.. А знаешь почему? Просто не мог дотянуться… Или боялся

дотянуться. Я же хотел быть великаном, чтобы забыть о том, что пигмей.

— Верно, мне нужен был великан. Великаном был только ты. Разве тогда я могла знать это? Могла знать, что самый главный и нужный был ты. С годами я вспоминала о тебе чаще, чем о других мужчинах. И иначе. Ловила себя на том, что в прожитой жизни меня волнует только то, что касается нас — остальное в тумане. И… знаешь…

— Знаю. Тот клоун у моря был я. Но в другом… Как объяснить — в другом измерении… Во всей этой многолюдной труппе было только двое актеров — *ты* и *я*!

— Так и должно быть. Только мы. — Она положила голову на его плечо с жестким погоном, взяла за руки. — Какая сложная, запутанная жизнь… Теперь покойно… Это вечность, я знаю.

Он молчал, не решаясь заговорить. Долго, долго, мягко и бесшумно падала мелкая искристая крошка. Так бы и сидеть всегда, не разжимая рук.

— Скажи, ты боялся? Боялся, когда… Я знаю, ты смеялся, докурил папиросу. Чекисты получили урок. Маленький. Благодаря твоей папиросе.

Он опустил голову.

— Вначале я захлебнулся злостью и гордостью — хотелось петь, и я пел! Ты не знаешь — африканский танец победы. — Гумилев захохотал. — Они подумали, я ругаюсь. Один из солдат — у него еще звезда на фуражке была вырезана криво из красной тряпки, и рожа, как вымя, — двинул меня прикладом в зубы. Очки они раздавили еще раньше… И тут я засмеялся! А потом — так страшно затосковал: в его глазках я увидел знакомое выражение — голод! Голод и зависть. Вечная вражда дикаря и господина. Пожрать и отнять бусы… Так ведь я же хотел дать ему хлеб, землю, достойную жизнь… Но кто-то решил, что нам лучше убить друг друга… И так будет долго.

— Ты был без меня…

— Я привык быть без тебя, когда трудно. И когда смешно.

— Прости, прости…

— Так было надо… Очень скоро я попал в эту аллею — вот эту, царскосельскую, и увидел дуб, нашу скамейку. Только тебя на ней не было… И не было еще много лет… Я сидел один и думал, думал… Понял, что горести жизни, радости — все, ради чего, кажется, только и стоит жить, — всего лишь игра, экзамен на человеческое достоинство. Тебе пришлось трудно — у тебя был мучительный дар, дар-мучитель. Твоя Муза кормилась твоей кровью. А для этого пришлось мучить меня. Да и я сам изобретал себе пыточные аппараты. Как у Кафки. Чтобы открывать доступ к

Поэзии. Она у меня тоже была с норовом…

Анна поняла: Николай говорит сам с собой — привык к одиночеству.

— Коля! Теперь ты дождался! Мы неразлучны. Говорить буду я. Много говорить. — Она задумалась, начать надо было с самого главного. — Собственно, давно стало ясно: разлука — это иллюзия. Один из трюков пространства. А как иначе? Зачем тогда мудрить всю жизнь — если за пределами земного бедлама нет такого местечка, где можно встретиться и хорошенько поговорить? Зачем все? Когда было трудно или страшно, или даже стыдно — я думала: придет время, вот уж мы наболтаемся! Я даже немного радовалась, что мне перепало столько тумаков — есть хоть что рассказать, в чем покаяться.

— Главное — твои стихи, Аня! Ты же сумела огласить крики тех, кому не был дан голос. Ты сумела дать понять людям, что страдание за правое дело, за добро — высшее предназначение человека. — Николай помрачнел. — А не смерть от каких-то там жестоких людоедов.

— Людоеды, большевики… какая разница. Зло столико. Но добра больше…

— Ты поняла это раньше!

Анна рассмеялась:

— Мне же был отпущен долгий срок на раздумья! Больше двух твоих жизней.

…Они сидели, тесно прижавшись, боясь разжать руки. Николай решился:

— Анна… А ведь я продолжаю писать стихи. Совсем другие. Но у меня их сразу забирают и отсылают кому-то. Не знаю, кто это несчастный малый.

— Я тоже помню только то, что писала до… До того, как перешла границу. Да, да — все помню! В день твоего пятидесятилетия 15 апреля 1936 года написала, послушай:

Из тюремных ворот,
Из-за охтинских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный, Несуженый,
Приди ко мне ужинать.

— Я приходил. Ты не видела меня.

— Я знала.

— Смотри — звезда. Рождество, Аня. Нам пора. — Николай стал прозрачным, словно сгусток тумана, но не отпускал ее руки. — Я приду. Встретимся в наш день, на этой скамейке.

Поток воздуха подхватил Анну и медленно стал поднимать к ветвям дуба. Она видела спину Николая, все более истончавшуюся. И закричала:

— Я слышала во сне твой голос! Вскочила босая — за окном холодно, сыро, мелкий дождь… Николай, Коленька! Послушай, услышь меня! Услышь!..

Никого уже не было в аллее — растаяли тени, и скамейка исчезла. Ворона чистила клюв, выбивая о ветку дробь. Качались на ветке синицы. Только в тишине — прозрачной и гулкой весомо падали слова:

Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи
И, увы, прокурорские речи,
Все уходит — мне снишься ты,
Доплясавший свое пред ковчегом.
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом,
Голос твой из недр темноты.
И по имени — как неустанно
Вслух зовешь меня снова… «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, — «Ты».

Она улыбнулась — вороний клюв так явственно выстукивал «Deus conservat omnia», словно ставил несмываемую печать.

© Бояджиева Л., 2011.
© ООО «Издательство Астрель», 2011.